ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

NiZHNY NOVGOROD 1(24)/2019

Андрей ИУДИН
Нижний Новгород
4

Надежда КНЯЗЕВА
Арзамас
90

Владимир АЛЕЙНИКОВ
Коктебель
95

Павел КРУСАНОВ
Санкт-Петербург
104

Евгений СТЕПАНОВ
Москва
164

Елена КРЮКОВА
Нижний Новгород
170

Валерий СУХОВ
Пенза
177

Николай СИМОНОВ
Нижний Новгород
188

Александр ФИГАРЕВ
Нижний Новгород
189

Валерий ШАМШУРИН
Нижний Новгород
190

Василий АВЧЕНКО
Владивосток
191

Герман САДУЛАЕВ
Санкт-Петербург
201

Алексей ШОРОХОВ
Москва
218

Марина КУЛАКОВА
Нижний Новгород
221

Эдуард Кузнецов
Нижний Новгород
224

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Андрей ИУДИН
СВЕТ ЗНОБЯЩИЙ 4

Поэзия

Надежда КНЯЗЕВА
ОТКРОЙ МЕНЯ. Я КНИГА. МНЕ ТЕМНО 90
Владимир АЛЕЙНИКОВ
...И ЕСЛИ РЕЧЬ – В НЕЙ КЛЮЧ И КЛИЧ 95
Татьяна КАДНИКОВА
НЕБО СНОВА ИДЁТ К ЗЕМЛЕ… 100

Проза

Павел КРУСАНОВ
КОНЕЦ РЕЗИДЕНТА 104
Марина РЯБОЧЕНКО
ТОСКА СМЕРТНАЯ 116
Астрид ХАЛСТРЕМ
ЧЕМОДАН ЛЮБВИ 121
ОДНАЖДЫ В ХОСТЕЛЕ 127
ЧАЙ С ЗЕМЛЯНИЧНЫМ ВАРЕНЬЕМ 135
ПЕТЬКА, ВИТЬКА, ЛИЛЬКА И ЖИЗНЬ 138
Юрий БАБИН
ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ 146
Андрей КОРОБОВ-ЛАТЫНЦЕВ
АНАБАСИС 152
Сергей ТУЛУПОВ
СОВЕСТЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ 155
Михаил ЧИЖОВ
ОБМАНУЛ 157

Поэзия

Евгений СТЕПАНОВ
И НОЧЬЮ, И ДНЕМ 164
Елена КРЮКОВА
ПРОСТИ МНЕ 170
Валерий СУХОВ
ДУШУ ЛЕЧИТ МНЕ РУССКИЙ СНЕГ 177

Вехи памяти

«КОГДА, ПОЭТ, ТВОЙ СТИХ НЕ БРЕШЕТ...»
К 100-летию со дня рождения Александра ЛЮКИНА 183
Юрий АДРИАНОВ 185
Георгий ВОЛКОВ 185
Владимир ЖИЛЬЦОВ 186
Александр КОЛЕСОВ 186
Александр ПЛОТНИКОВ 187
Галина РЯБОВА 187
Николай СИМОНОВ 188
Юрий СИМОНОВ 189
Александр ФИГАРЕВ 189
Валерий ШАМШУРИН 190

Публицистика

Василий АВЧЕНКО
ТВОРЦЫ ДОРОГ
Алексей Маресьев и Николай Заболоцкий: два строителя Аэрограда на Амуре 191
Герман САДУЛАЕВ
НЕЖНОСТЬ В ПАЛЕОЛИТЕ
Из цикла «Симбиотическая антропология. Записки дилетанта» 201
Алексей ШОРОХОВ
«ФАРТУК МЯСНИКА», ОН ЖЕ – «ЮНИОН ДЖЕК»
Фильм Black ‘47 и брезгливость к английскому флагу 218
Марина КУЛАКОВА
РУССКИЙ МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР СКВОЗЬ «НЕНАСТЬЕ» 221

Литпроцесс

Эдуард КУЗНЕЦОВ
«СИЖУ, ПИШУ НА ВАС ПАРОДИИ…» О творчестве Николая Симонова 224

Стихи по кругу

Марина КУЛАКОВА 232
Пётр РОДИН 233
Валерий СКОБЛО 234
Михаил СВЕТЛАНИН 235
Венок Борису Корнилову
Олег РЯБОВ 237
Николай СИМОНОВ 237
Владимир МАХИН 238
Анатолий ГРИНЕС 238

Проза

Андрей ИУДИН

Родился в 1953 году в Горьком. Окончил Горьковский госуниверситет, работал инженером-программистом, вздымщиком на Урале, журналистом, редактором газет.

Автор романов «Инсайт» и «Морф», публиковался в журнале «Дружба народов», коллективных сборниках. Редактор альманаха «Земляки», шеф-редактор журнала «Нижний Новгород».

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

СВЕТ ЗНОБЯЩИЙ

Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?

I. Отсюда

Вечерняя электричка тянулась на север, разбрасывая по сумеречным полустанкам последние горстки пассажиров. Вагон почти опустел, и Рыжий перебрался на угловое сидение у тамбура. Глядеть в окно надоело, дремать тоже, но он все равно прикрывал глаза, чтобы не встречаться взглядом с мужичком в кургузом пиджачке. Тот сидел через ряд у самого прохода, и всякий раз, размыкая веки, Рыжий натыкался на его взгляд. Лицо мужичка было засаленное, в трехдневной щетине, глазки блестели, будто он только что проснулся и готов улыбнуться и услышать что-нибудь приятное. Общаться охоты не было, и Рыжий опять зажмуривался.

Все же он задремал, и вдруг открыл глаза: на него смотрел не мужичок. Невысокий кудлатый паренек задержался в проходе и, повернув голову по-птичьи, разглядывал Рыжего с птичьим же интересом. Следом и обступая паренька, из дверей тамбура наталкивались еще и еще; натолкалось человек восемь.

Кудлатый приподнял ладонь, как бы решая, погладить Рыжего по лицу или ударить. Ударил. Подождал.

– Я думал, рыжие злые. – Погладил.

От своры отделились двое.

– Встань-ка…

В пах уткнулось острие сапожного шила, да Рыжий и не дергался. На сиденье вытряхнули пакет с колбасой и минералкой, забрали часы,

зашарили в карманах ветровки: мобильник, складной нож, несколько мятых купюр – кудлатый глянул вскользь, опять уставился на Рыжего. Чем-то тот его зацепил.

– Думаешь, все?

– Все… – промямлил Рыжий.

– Не ври, не ври, – паренек заулыбался, приглашал поиграть. – Все – это когда ничего не осталось. Совсем ничего.

– Ну вот же – все…

– Это – тьфу, это барахло у всех есть. А что-нибудь, что только у тебя?

В дальнем конце вагона хлопнули двери тамбура.

– Леха маякует, – сказал кто-то из своры.

– Вот отгадай загадку, – кудлатый наставил палец в глаз Рыжему, в его улыбке светилась тихая детская хитрость. – У каждого есть то, чего у других нет ни у кого, да. Забрать это можно, а попользоваться…

– Леха маякует, – повторил кто-то. Свора нетерпеливо топталась.

Кудлатый оглянулся. Рыжий смотрел на его палец.

– Ладно, пошли... А ты думай пока.

Они двинулись в следующий вагон.

– Посиди, – подал голос засаленный мужичок, когда двери за ними захлопнулись. – Посиди хоть, что ли… – Будто приглашал соседа поскучать на скамейке.

Рыжий сел.

– За грибами едешь?

– Ага…

– И чего теперь?

Рыжий молчал, пытался соображать.

Мужичок покивал с пониманием.

– Не повезло… Ладно еще отвлекли Копчика, там дела поинтересней, видать.

– Дела?

– Может, девок углядели, – пожал плечами мужичок. – Может, ловят кого. Они тут часто шарят. Перегон-то длинный, вот и не спешат, тебя на потом оставили. А так бы….

– Что – так бы?

– А хрен его знает, чего ему взбредет. Копчик просто так не отвяжется – раз уж глаз положил…

– Да чего я им еще-то? – затосковал Рыжий. – Все же забрали…

– Сторонний ты, они ж видят. И рыжий уж очень. А Копчик такой, ему только привязаться. И этот, с шилом, – тот еще ухарь.

Пожилая тетка с двумя сумками, сидевшая в середине салона, поднялась с места, проколыхалась мимо них на выход.

– Станция? – встрепенулся Рыжий.

– Не, долго еще.

– А она куда?

– В другой вагон. В свидетели – кому охота?

– В свидетели?

– Ну да, – вздохнул мужичок. – Ходи потом, оглядывайся.

Еще двое поднялись и вышли в тамбур, глядя перед собой, крутя в пальцах сигареты. Ухнула межвагонная дверь. Последний пассажир спал, привалившись к стеклу, виднелся один затылок. Рыжего поразило, как пусто и холодно в освещенном вагоне. Мужичок тоже оглянулся, словно спохватившись.

– Тоже покурить, что ли…

– Постой, – вскочил Рыжий. – Менты тут есть? Должны же?

– Когда есть – этих нет. И наоборот. – Мужичок помолчал. – Можно, конечно, машинисту по связи – чтоб на станцию передал, да толку-то? Перегон длинный – пока доедешь, и заявителя не найдешь.

– В смысле?

– Один заявил, да, пока ехали, на ходу спрыгнул. Так и не нашли.

– На ходу? А как он двери-то открыл?

– Может, со страху, в горячке чего не сотворишь. А может, помогли. – Мужичок подумал. – Или через резину вышел. Ну, ладно…

– Погоди, погоди, – уцепился Рыжий. – Это как – через резину?

– Между вагонами гармошка резиновая, раздвинул – и выходи. Стоп-кран только…

Мужичок уже вставал, нашаривая сигареты, но перехватил взгляд Рыжего – тот смотрел ему за спину в дальний конец вагона, на раздвигающиеся двери. Не договорив, сел, отвернулся к окну.

Рыжий не помнил, как оказался в тамбуре, в лязгающем переходе. В ушах сдавило, как под водой. Уже выдираясь из тесной резиновой щели, подумал, что надо было дернуть стоп-кран. Но эту мысль тут же выдуло из головы. Гул и ветер облепили его, он прыгнул и полетел, молясь, чтобы не врезаться во встречный столб.

В тот момент он пережил нечто постороннее, похожее на воспоминание. Словно уже летел так однажды, двадцать лет назад, не в этой жизни, не в жизни вообще. Жизнь наступила потом, когда он прилетел, родился. И вот сейчас летит опять – будто, выпав из электрички, ее резинового лона, выпал из мира, из собственного существования и не обрел другого, не коснулся земли. Это была не мысль и не чувство, да и само переживание было как будто не его (он просто летел во мгле и гуле и боялся разбиться). Словно кто-то чиркнул впотьмах зажигалкой, тьма отпрянула и тут же сомкнулась, не занялся огонек. И лишь тающие искры на сетчатке, томление памяти…

Он приземлился под насыпью, ноги включились сами, еще в воздухе, пытаясь бежать, вломился в густой орешник, зажмурился, спасая глаза, повалился в жестких стволах. Сознание как будто пригасло; в этом пригашенном состоянии выбрался из орешника на мглистый просвет.

Ночь была не такой непроглядной, как из окна электрички, он различил насыпь (далеко же он прыгнул) и рельсы на ней. Рельсы не гудели. А должны гудеть? Рыжий вгляделся вдоль полотна, ища огни уходящего поезда. Их не было, нигде ни искры, только чахлый месяц да крупицы звезд над черной каймой леса куда ни глянь.

Тишина свалилась на него, давила, уменьшая в размерах. Он двинулся вслед поезду, спохватился – там те, от кого он едва спасся. Побрел в обратную сторону. Болело в правой лодыжке: похоже, приземлился не совсем удачно. Еще как удачно, сказал он себе, – не врезался в какую-нибудь опору, не разбился, не поломался, спасибо орешнику… Подумал – и разом засаднили ободранные руки, заныли ушибы в плече и в боку: стволы кустарника хоть и спружинили, но и прошлись по телу живыми палками, наверняка под одеждой будут сплошные синяки. Ладно, зарастет, нога вот только…

Все не мог приноровиться идти по шпалам, частил шаги. Попробовал шагать через одну – охнул, присел, схватился за рельс. В лодыжке дергало, будто через нее протаскивали раскаленную проволоку. Переждал, дыша сквозь зубы. Вот уже полегче, полегче, еще немножко посидеть… Нет, надо идти, а то потом не встанешь.

Стиснув зубы, поднялся, ступил… терпимо, терпимо. Отряхнул ладонь от ржавчины. Откуда ржавчина – рельсы же вроде не ржавеют? Или сверху не ржавеют, под колесами? Так сверху же и опирался, когда вставал… непонятно. В темноте не разглядишь, а на ощупь как будто ржавчина. Да какая тебе разница, шагай давай – ночевать тут собрался?

Теперь он двигался по краю полотна, левой ногой ступая по концам шпал, зато правой – по ровному щебню. Главное, не заступать за бровку, на скат насыпи – там ступня норовила подвернуться, и он шипел от боли.

Он старался выдерживать направление, строго параллельно рельсам. Жаль, рельсы не блестели – луна висела у него за плечом, а не светила навстречу. Рыжий оглянулся: позади рельсы тоже не блестели. Луна слабая, рельсы ржавые… Как же они ржавые, если по ним ходят поезда? Хотел еще раз потрогать рельс… не стал наклоняться, тревожить больную ногу. И себя пустыми мыслями. Надо идти.

Он впервые задумался – куда? Перегон тут длинный, сказал тот засаленный мужичок. Сколько он пробредет до ближайшей станции с такой ногой? А ему и не обязательно до станции – до какой-нибудь деревушки, до жилья, до будки обходчика или переезда, где ходят машины, – в общем, до людей.

Он шел, хромая, по хрусткому щебню и старался не думать, что это хрустит в лодыжке. С болью уже как бы свыкся, но этот хруст… И сойти с насыпи нельзя: споткнешься в потемках на первой же кочке и не встанешь.

Он шел, и вокруг ничего не менялось. По обе стороны насыпи тянулись островки кустарника, за ними – стена леса. Шел, зажатый этими стенами, как в ущелье, и от невозможности свернуть подступало чувство, что идет не туда. Идет не по своей воле, куда ему не надо. Куда *не ему* надо, чтобы он шел.

Ничего, куда-нибудь придет, а там уж… Он притерпелся и к боли, и к хромоте, и к тишине ночи, и к комарам: отъединился, ехал в своем укромном теле; тело шло, и он в нем – пассажир в поезде…

из одного поезда тебя уже вытряхнули. смотри, как бы и из этого

Несуразная мысль. Кто его вытряхнет – никого вокруг.

Слишком уж никого…

ты затем и ехал, чтобы никого не видеть, отдохнуть от всех, вот и получил – как всегда

Он остановился: какой-то звук просочился сквозь похрустывание щебня под ногами. Замер. Ждал, не повторится ли.

Ныли комары – может, это? Что он мог услышать – машину, голос, гудок локомотива? Не получалось определить, слишком слабым или далеким был звук.

Какая-нибудь птица, филин, еще кто-нибудь… не люди, подумал Рыжий и поймал себя странном чувстве – будто пытался себя успокоить. Будто не к людям шел, терзая больную ногу, не от них ждал помощи, не хотел их встретить. Или вправду не хотел – здесь, в глуши?

В лесу бойся человека, говаривал дед. Тот был охотник, последний в роду, ни зятю его, ни внуку эта страсть не передалась, дедом и кончилась. А тут – гены, что ли, проснулись?

Он все стоял на насыпи, не решаясь шагнуть, хрустнуть щебенкой. Чувствовал, как жар тела растворяется в ночной прохладе. Подумалось: а если сейчас вот так же – слушают его? Может, сойти с насыпи, тут его легче заметить… А дальше что – затаиться в кустах? Шиза какая-то.

Двинулся с места, в ноге плеснулась боль, но он был готов: ничего, разойдется. Старался слушать, не пропустить, если опять… Чертова щебенка, хрустит на всю округу.

Сперва останавливался, вслушивался, потом перестал – далеко уже ушел, не крадутся же за ним по кустам. Переключился на поврежденную ногу, та болела, всхлипывала при каждом шаге… но терпимо, терпимо – если вот так полегоньку, в полтяжести (и ступней чуть внутрь, носком наружу), не останавливаясь… Замер.

На этот раз он застал звук. Далекий, похожий на завывание двигателя, будто где-то по лесным ухабам ползла машина. Оборвался.

Кто может разъезжать по лесу ночью? Охотники, рыбаки? Браконьеры? (Все охотники браконьеры, говаривал дед.) Завалили какого-нибудь лося, ослепив фарами, загрузились мешками с мясом… обрадуются они ему? А может, вообще бандиты с трупом.

Так уж и бандиты, посмеялся над собой Рыжий. Не слишком уверенно. Здесь, в чаще, в давящей ночной глухоте и после того, что произошло с ним самим, предположение не казалось совсем уж невероятным. Мало того, следом выскочило еще худшее: Копчик со своей сворой. Вышли на ближней станции, сели на машину и теперь ищут его. (*Копчик просто так не отвяжется*, сказал мужичонка в вагоне.)

Да ладно, дался ты им... И потом, машине нужна дорога, ничего похожего ему пока не попадалось (если только не проглядел в темноте). В любом случае машина где-то далеко, а уж вблизи он ее сразу услышит.

Двинулся опять, с остановками на прослушку. Лес молчал: ни птицы, ни шороха. Подумалось: странно, сколько он идет – и ни одного поезда. А может, и не странно, он что, расписание составлял? Да и сколько он идет, не знал, оставшись без часов и мобильника. Казалось – долго...

Остановился отлить. Справа от насыпи деревья как будто расступались, между ними угадывался прогал. Может, просека, подумал Рыжий. Или какой-нибудь заброшенный лесной проселок.

И услышал голос.

На этот раз был уверен, что не почудилось. Голос был отдаленный, неразборчивый, но определенно человеческий. Как будто восклицание, даже показалось – веселое восклицание… или короткий смешок. Ответного смеха он не уловил, может, ответили вполголоса. Звук повторился – тот же, веселый, но уже потише. Как бывает, когда кто-то не может расстаться с удачной шуткой и повторяет, досмеивается.

Рыжий подумал про костер. Ночь была не холодная, но огонь – это не только тепло. Он ощутил, как давит на него темнота, как он устал быть один, как просто устал, как болит нога.

Сколько еще брести по этому полотну? А если нога не выдержит, и он свалится здесь, под насыпью, и будет лежать, а над ним будут проходить поезда, мелькая яркими окнами и опять оставляя его в темноте. А там сидят у костра, шутят, недалеко, можно дойти. И с чего он взял, что это бандиты? В том голосе не было ничего угрожающего – кто-то смеялся и все. Ни пьяного галдежа, ни дурных выкриков. Он подберется поближе и послушает, поглядит. Его не заметят. В случае чего можно и вернуться.

Он сошел насыпи и стал пробираться между кустами. Ощутил под ногами что-то вроде заросшей колеи. По ней и побрел, то и дело путаясь в траве, угадывая стерегущие выбоины, страшась оступиться. Лес сомкнулся, оставив над головой рваную тропинку неба. Она как бы тоже его вела – сверху. Прерывалась, пропадала за кронами – но вела.

Временами угадывались голоса, тихие, как дыхание. И хорошо, что тихие – нормальным людям зачем орать. Пошутили и беседуют ни о чем, коротают ночь. Грибники, наверное. Он вот тоже так думал: приехать на ночь, костерок в лесу; а на рассвете собирать – *милое дело*…

Сам он не грибник, но слышал от отчима, тот как-то звал (налаживал отношения): мол, ночь у костерка, душевное общение (не всухую, с намеком), а со светом – милое дело, и гриб, мол, крепче и душистее, и шляпки виднее, пока солнце не бликует. Рыжий, понятно, не клюнул. Бодаться с отчимом он давно перестал и от матпомощи не отказывался (своей-то зарплаты только на съемную комнату и хватило бы), однако сам ничего не просил и сближения избегал. Словом, нашел нужную дистанцию, на ней и держался. А насчет грибов как-то вспомнил, несколько дней носил в себе эту мысль, выращивал, взял да и подорвался – вдруг, один. А с кем ему? кто ему нужен? Он – кому? Мышка, сестра, не в счет: мелка еще, ей в лесу неинтересно, да с ним и не отпустят. Да ему и самому хотелось в одиночку, тут чудился привкус приключения. Не авантюры, нет, он не стремился себя испытать, не искал экстрима. Но что-то в этом (костер, ночь, рассвет в лесу, и – один…) веяло свежестью, гладило по душе. Может, просто хотел оказаться один по-настоящему. Собственно, он и так был один, так себя чувствовал – в съемной ли своей комнатенке, куда спрятался от всех, сбежав из института в академический отпуск, и куда нет-нет да и сунется глухая хозяйка, в офисном ли улье, где верстал унылую городскую газету с ее унылыми приложениями от девяти утра до шести вечера (иногда позже – срочно в номер! из подкомитета городской думы!), на неизбежном унылом междусобойчике после работы, да просто на городской улице… Словно ты переходишь от вывески к вывеске, и под каждой какие-то люди, и тебя окликают, чего-то от тебя ждут: что ты что-то сделаешь, купишь, скажешь впопад, выкажешь лояльность, попадешь в такт. И он делал, покупал, говорил и выказывал, не противясь, не протестуя, и все равно оставался один. Словно того, что он делал, говорил и выказывал, было недостаточно – чтобы стать своим, одним из. И люди это чувствовали, и он чувствовал. Может, потому и запала и привилась эта мысль – поехать в лес. Где нет вывесок и людей под ними. Где от него не ждут, а он не пытается. Просто сам – и никого. Где еще, как не в лесу? И поехал по грибы.

И вот приехал.

– Слышишь? – донесся голос. Тихий, приглушенный чащей, но вполне отчетливый. Ответа не было, вслушивались.

Рыжий замер, как пойманный, так внезапно получилось. До сих пор была тишина, только шорох его ковылянья да нытье комаров. В лесу комаров стало больше – сейчас уже не ныли, завывали, будто хотели выдать его. Он думал, что еще далеко, что загодя увидит костер. Лишь сейчас различил разжижение тьмы впереди.

Там, за лежащий поперек дороги сосенкой (теперь различал и ее; еще немного – и споткнулся бы, *загремел*), на левой стороне прогала деревья проступали четче, подкрашенные бликами от костра – похоже, слабого, догорающего. Самого костра он не видел, тот был заглублен в лес, с правой стороны. Но фигуру, выходящую из чащи, различил хорошо. И успел, сдвинулся вбок, под деревья.

– Эй, кто тут? – Человек стоял на дороге спиной к Рыжему и светил фонарем в противоположную сторону, правую рука была в кармане куртки.

– Да еж какой-нибудь, – ворчнули от костра. – Или енот...

Человек с фонарем повернулся и посветил в сторону Рыжего. Луч не достал, запнулся о лежащее дерево.

– Айда к нам! – весело позвал первый. Вынул руку из кармана, опустил, пустую, неловко, словно не знал, как пристроить. – Давай не менжуйся, а то закусь стынет… и к закуси есть! – Подождал, послушал.

– Да хорош батарейку жечь! Говорю, енот, пожрать унюхал.

– Ну и ладно. – Первый погасил фонарь, вернулся к костру.

Рыжий тоже унюхал: запах горячей тушенки. Он застыл в неудобной позе и не знал, как поступить. Его услышали. Если двинется, услышат опять, начнут искать, убежать он не сможет. Сколько он так продержится в неподвижности (боялся даже присесть – лодыжка)? Может, не прятаться, выйти? Теперь, когда сразу не отозвался, будет выглядеть подозрительно... Нет, тут другое, что-то еще… Запах тушенки лез в нос, в горло, мешал соображать (сейчас они едят эту тушенку). Они и его звали (на тушенку), человек с фонарем, – голос веселый, дружеский, ничего угрожающего. Похоже, даже чуть стеснялся (обращался к лесу, где, может, и нет никого), и руку висела неловко… Он словно показывал, что рука пустая. Что в ней нет… оружия?

Человеку без оружия придет в голову показывать, что он без оружия? Если пришло, значит… Перед тем как показать пустую руку, он держал ее в кармане.

Уходить! Немедленно, скорее... Тише!..

Но Рыжий уже ступил, зацепил какую-то ветку.

– Слышал? – спросил за толщей чащи первый, с фонарем – Рыжий узнал голос. – Еноты так не шуршат…

В ответ молчали. Вслушивались. Рыжий замер, боялся дышать. Боялся, что нога не выдержит.

В просветах листвы скользнули искринки света: первый опять зашарил фонарем. Он Рыжий не думал, что они так близко. Теперь, казалось, слышит их дыхание.

– Шуршат, – ответил после паузы второй голос. – И по деревьям лазят. И банки катают.

– Какие еще банки?

– Такие. – Легонько звякнуло. Жестяная банка, сообразил Рыжий, из-под тушенки. Пустая, отброшенная ногой. – Лижут и катают. Так что ты, это, не шмальни спросонок-то.

Молчание.

– Не нравится мне тут, – сказал наконец первый.

– Тебе нигде не нравится. Чего бы под крышей не заночевать.

– Да говорю же, не могу я этих брошенных халупах… Как в гробу спать. Думал в лесу – укромней как-то.

– Ну вот и спи, раз укромней.

– Да хрен тут уснешь. Еноты эти твои… комары… И дым им по хрену!

Рыжий боялся упасть. И переменить позу боялся.

– Во, опять... Еноты?

Как они услышали? Он не шелохнулся, не думал даже. Может, правда, енот?

Второй опять возник на дороге. Он светил в сторону Рыжего, руки не разглядеть. Глаз фонаря придвинулся. Рыжий, сжав зубы, медленно отшагнул, сдвинулся в чащу.

– Смотри там… на медведя не наскочи, – донеслось от костра.

– Не бренчи!.. – Фонарь остановился. – Какие еще медведи?

– А хрен их знает. Лес и лес.

– Ты нарочно, да? – Луч качнулся, отступил за деревья. – На нервах играешь?

– Да сиди себе спокойно. Он к огню не полезет, понюхает издали... Ты доел, что ли?

– Нет, тебе оставил! – Звякнула о землю вторая банка. – Задолбали твои посмехушечки!

– Ладно, не дергайся.

– Сам не дергайся. «Медведь, медведь…» А если не медведь?

– Ну, может, лось. Гляди, за лосиху примет. Они в это время бешеные.

– Довести меня хочешь?

– Молчу, молчу. Спать лучше пойду.

Лязгнула дверца машины, скрипнула откинутая спинка сиденья.

– Спать он собрался, – клокотнул первый. – А я, значит, так и сиди один до утра?

– Кто ж заставляет, и ты ложись. Да спрячь дуру-то, медведю она – только насмешить.

– Ничего, пусть смеется. Сам же сказал, он на огонь не полезет. Зато если не медведь… поглядим, кто посмеется.

– Много ты здесь людей видел. Три дня ездим, сколько бензина сожгли, а всей добычи полмешка картошки. Вернемся – еще и за тушенку вычтут… Тут днем-то никого не увидишь, а уж ночью, да в лесу…

– Может, тут в лесу и сидят.

– Может, и сидят. Только я думаю, тогда давно бы прямо из лесу нас и шарахнули, на свету-то. Тут уж стереги, не стереги…

– Было бы чем шарахнуть.

– А думаешь, нечем? Ладно, сплю я… Закроюсь-ка, от комаров.

Минуту было тихо.

– Накрутил меня, а сам дрыхнуть? А я тут маячь, да? Все, вставай, поехали!

– Куда поехали?

– А мне один хрен! От твоих медведей… с енотами. Хоть в поле, и то лучше. Там хоть чего-то видно.

– Сдурел? Чего там разглядишь?

– Говорил я тебе – не играй на нервах! Говорил?

– Да шутил я, шутил!

– Вот там пошутишь. Поехали. Или я один, точно говорю!

– Тьфу!

У костра завозились, заныл двигатель. В гущу деревьев уперлись лучи фар, нашаривая проход. На проселок выбралась дребезжащая легковушка, переваливаясь на ухабах, поползла в темноту.

Рыжий осел, завалился набок.

Лежать было легко.

Звук машины растворился темноте, Рыжий все вслушивался, ощущая угасающий запах тушенки, тлеющих головешек. Он слегка подзяб, в лесу как будто посвежело Он бы еще подождал (вдруг хитрость, вернутся?), но сколько ждать? Поднялся с трудом, с болью. Выбрался на проселок, обогнул упавшее дерево. Из чащи просквозил зрачок догорающего огнища. Крадучись и припадая на больную ногу, Рыжий приблизился. Сразу углядел жестяные банки, две, закопченные, их грели на костре. Больно нагнувшись, поднял одну. Внутрь была запихана хлебная корка, ею выбирали остатки жира. Он бросил банку, потом опять поднял. Вытащил раскисшую корку и съел, стряхнув с нее какого-то жучка. Вторая банка была выскребена начисто. Пошарил еще вокруг: только пара окурков.

Он устал идти, устал стоять. Хотел есть, хотел пить. Оставаться у костра казалось опасным (если все же вернутся… он боялся этих людей). Забраться в чащу? Вспомнил про медведей. И про звук, который им почудился, (*не его* звук – он знал точно).

Рыжий привалился спиной к комлю сосны, хвойная подстилка между корней была уже примята чужим задом; смотрел, как гаснут угли, как блики отползают от его ног. У костра валялся заготовленный на ночь сушняк, но он не поднялся и не подбросил в огонь. Боль в ноге пульсировала и стихала, он слушал тьму за спиной и стерег звук крадущейся обратно машины, и думал, что утром вернется к железной дороге и добредет до станции, при свете, при ярком солнце… и мысли тоже стихали, гасли, как угли костра.

У Рыжего шарили за пазухой, грубо, не таясь. Вытряхнули руку из кармана (во сне он озяб, скукожился), вторую.

– Ну, ну, не придурай. Вижу, что проснулся. – Грабитель был крупный – настолько, что нож в его руке выглядел необязательным. Один, и машины вблизи не видно. Похоже, не из тех... – Ты кто?

– Человек! – сорвалось с языка: опять его обыскивают, опять под ножом. Прозвучало жалко, по-детски.

– Еще вопрос, человек ли. Откуда взялся?

– С электрички…

– Во как. Прямо на электричке, значит, сюда и заехал… – Грабитель пожевал губами, сидя на корточках. – А дружки где?

– Какие дружки?

– Дурочку не валяй. – Сопя, распрямил тело, возвысился – темный мужичище в рассветном лесу, сам как дерево. В отросшей щетине на впалых щеках, с тощим рюкзаком за спиной.

Рыжий принялся объяснять, что был один, ехал за грибами, что ограбили, – вышло какое-то нытье. Замолчал.

– Ограбили, значит. – Пустые карманы Рыжего вроде бы подтверждали версию. – Ну, ну… Так и где они?

– Кто?

– Дружки твои. Которые ограбили, – мужичище катнул ногой пустую жестянку. – С которыми тушенку не поделили.

– Да не знаю я их, не видел, темно же… они на машине были. А я с электрички… На станцию шел.

Мужик пожевал губами, словно не мог понять – смеется над ним Рыжий или просто дурачок.

– Ладно, пошли.

– Куда, на станцию?

– На станцию, – повел ножом.

Рыжий почти встал – и завалился, шипя сквозь зубы.

– Ты чего это?

– Нога… подвернул, видно…

– Сильно болит? – посочувствовал мужик, наклоняясь. – Покажика… тут, что ли? – хватанул за лодыжку. Рыжий взвыл. Мужик отдернул руку.

– Ну, ну… – Вид у него был озадаченный, чуть ли не виноватый. – Ничего, разойдется потихоньку…

– Не могу я идти! Не видишь, не могу?

– Подохнешь в лесу, – мужик пожевал губами. – Или, – насторожился опять, – дружков ждешь? Заедут за тобой?

– Да какие дружки?! – заорал Рыжий, плеснув бессилием, болью, отчаянием. – Один я, один! На электричке ехал, чуть не убили меня, спрыгнул!.. Что тут непонятного-то?

– А то. – Мужик качнул головой, будто устал слушать вранье. – Не ходят электрички. Давно уже не ходят.

– Как это не ходят? По ночам, в смысле, не ходят? Так я – на вечерней, на последней…

– Совсем не ходят. Ни днем ни ночью. Ни летом ни зимой.

– Да как это? А я на чем…

Мужик молчал, в глазах скользнула скупая жалость.

Сумасшедший, догадался Рыжий. И принимает за сумасшедшего его.

Один, в лесу – против психа с ножом. И не убежать.

– Пошли, – сказал мужик, затыкая нож под куртку. Лучше было его не злить.

Рыжий сумел подняться, устоял, держась за сосну. Ступить он боялся.

– Надо, надо. – Мужик взял его локоть, не вырваться. – Ничего, потихоньку… – И сперва вприпрыжку, затем припадая на больную ногу, то на пятку, то на носок, Рыжий поволокся за психом. Тот вел за локоть, как на поводке, но не подгонял, через поваленное дерево перевел, подпирая. Они идут к железной дороге, подумал Рыжий, может, правда на станцию?

Вышли к путям. Рыжий повис в руке конвоира, сел на насыпь.

– Не могу, погоди…

Тот подумал, отпустил.

– Недолго только. А то сильней разболится.

Рыжий уловил сочувствие в его голос, попытался закрепить контакт.

– Ничего, потерплю… По насыпи полегче будет, не то что по лесу ковылять.

– Лесом и пойдем.

– Почему лесом – мы же на станцию идем? Лесом ближе, что ли?

Мужик пожевал губами.

– Ладно, посидели...

– Да постой, куда? Мне на электричку надо!

– Не ходят электрички, – усмехнулся терпеливо, как малому ребенку. – Ты на рельсы глянь.

Солнце уже взошло, пробивало верхушки деревьев, плескало по насыпи. Рельсы, бурые, чужие в этих лужах веселого света, тянулись, ползли куда-то по выветренным костям шпал. Пропадали в проросшей сквозь щебень траве.

Рыжий тронул, ощутил налет окиси, влажный от росы. Его охватил страх, уже не перед этим мужиком – перед тем, что крылось за его словами.

– Как это? – пробормотал угасшим голосом. – Где ж они ходят?..

– Нигде. Чего им ходить? Отходили, хватит. – Мужик кивнул вдаль, на опоры контактной сети: некоторые покосились, провисшие провода местами оборвались и перехлестнулись. Скривился: – Наплодили красоты… А земля, значит, лечи. Она-то залечит, ей не впервой... не мешали б только.

– Так тут – совсем ничего? – цеплялся за непонимание Рыжий. – Ни электричек, ни поездов? Люди же добираются как-то?

– На дрезинах забирались пару раз. Пришлось рельсы поворошить от греха. А так – добрым людям зачем ездить? На машинах вот еще… тоже добора не жди. Скорей бы уж бензин кончился, находят же где-то.

– Но автобус-то ходит какой-нибудь? Рейсовый?

– Ты еще про самолет спроси! – фыркнул мужик. – Про интернет с телевизором!

– При чем тут интернет? – взвился Рыжий. – Мне домой надо!..

– Тихо! – мужик стиснул ему локоть. Оглянулся, пригасил голос. – Все, пошли.

Они перебрались через насыпь и опять углубились в лес, то обходя густые заросли, то продираясь между ветвями. Рыжий все безнадежнее тормозил, не отставал от своего вожатого лишь потому, что тот почти уже волок его, не давая упасть. Выбрались на заброшенную тропу, не то на заросший проселок, и Рыжий сел опять. – Не могу...

Мужик, поколебавшись, отпустил его локоть. Выудил из рюкзака пластиковую бутылку с водой, обшарпанную до непрозрачности, полил на лодыжку Рыжему.

– Похолоднее бы… но хоть чуть полегчает. Натирать, правда, будет, но ничего, дойти только.

Боль и вправду немного пригасла.

– Пить хочешь? – Пока Рыжий пил, мужик отошел к ближайшей сосне, вернулся с двумя грибами. – Подкрепись-ка.

– Сырыми, что ли? – От грибов исходил сытный лесной дух; в промытом водой желудке замутило от пустоты.

– И что? Это ж белый. Соли только нет.

Рыжий откусил от ножки, пожевал. Грибы был маленькие, плотные. Схрумкал и второй. Спохватился:

– А ты сам-то?

– Мне не надо.

– Почему не надо?

Сытым мужик не выглядел.

– Не ем я.

– Грибы не ешь? – забеспокоился Рыжий.

– Совсем не ем. Просто не ем, и все.

– Совсем? И давно?

– Третью неделю, – мужик пожал плечами, но в голосе скользнуло что-то вроде гордости. – Лишнее это.

– Лишнее?.. – Рыжий не знал, что подумать. Он слыхал о голодании, модной блажи сдвинутых на похудании теток. Но этот подсушенный, жесткий, как сосновый ствол, мужик избытком жира никак не страдал. Псих, напомнил себе Рыжий – но без уверенности. После того как увидел ржавые рельсы, он уже ни в чем не был уверен. Но бывают ведь и не буйные психи – свихнутся на каком-нибудь пунктике, а в остальном люди как люди. Этот даже заботу проявляет…

– А то. Душу тяжелит, ум заземляет. Не сердцем, а брюхом живем...

Похоже, мужик был не прочь порассуждать на эту тему. Пусть говорит, подумал Рыжий, лишь бы не вставать подольше. Он боялся шевельнуть ногой. Надо поддержать разговор, проявить заинтересованность.

– И долго так собираешься?

– Да пора уж совсем. Другие вон сразу перестают – забили на брюхо и не вспоминают. А я все тянул – то отварчиком, то водичкой травной побалуюсь. Слаб, грязи на мне много. Но теперь все, не поддамся. Светлые вон и воды не пьют, Странник говорит. Но то Светлые…

– Это кто – в смысле продвинутые?

– Продвинутые – это продвинутые. А Светлые – это уже Светлые. Которые перешли уже.

– Куда перешли?

– К свету ближе. – Мужик пожевал губами. – Ну… в другое измерение, проще говоря.

– Святые, что ли?

– Может, и святые.

– Ты их видел?

– Как их там разглядишь. Если только сами явятся. Да чего им сюда – с нами Странник сам говорит.

– Он тоже из них?

– Он у них вроде за главного.

– А его-то вы видите?

– Когда зовет, видим.

– И что же он говорит? Как там – в другом измерении?

– Там все по-другому. И все сразу, – мужик сдвинул брови, словно припоминая. – И прошлое, и будущее – все тут, сейчас. И туннели везде.

– Что за туннели?

– А через всю Вселенную, как дырки в сыре. Утром спросонок дверь в ванную откроешь, шагнешь не глядя – и на Марсе оказался, в одних трусах. Так что глядеть надо... – Мужик усмехнулся скупо, как бы разбавляя шуткой лекцию для неподготовленной аудитории. Но говорил серьезно.

– А прошлое и будущее сразу – это как? И мертвые, и кто не родился еще – все вместе, что ли? А ты сам какой – прошлый или будущий? Или всякий? Тогда сколько там тебя?

– Тут я пока не очень … – мужик вздохнул. – Когда Странник объясняет, вроде все ясно. А как сам задумаешься – опять непонятно…. Видно, рано еще понимать, черный эфир мешает, выжигать надо.

– Чем выжигать?

– Добрыми мыслями. – Мужик сдвинул брови, будто мобилизуя эти самые мысли.

– Так этот Странник, – поспешил заполнить паузу Рыжий, – он сам-то уже в том измерении? Оттуда объясняет?

– Почему оттуда. Он и здесь, и там.

– Как это?

– Ну, когда видно его, значит здесь. А не видишь – значит, там… Но это для нас только. А так он везде где надо. Ему это просто.

– А что он еще объясняет?

– А всё. Как живем, как надо жить. Что жили брюхом, братьев меньших убивали, трупами питались, планету изгадили, изгрызли как крысы… Вот и получили. Теперь друг друга жрут. Ничего, скоро дожрут, никого не останется, Думали, все можно, все с рук сойдет! А вот реки повернем! а вот атомную бомбу сделаем! а вот в космос залезем и всю Землю на прицел возьмем! Додуматься же надо – собственную мать на прицел! Земля им теперь жизни не даст, стряхнет всю нечисть, задушит, смоет, голодом уморит. Долго она терпела… Ведь сколько твердили, веками уговаривали – одумайтесь, будет вам Судный день, содрогнетесь! Какое там… Вот и получили.

– Постой, постой… Что получили? – Рыжий ощутил тревожное чувство, какой-то подспудный сдвиг в мыслях: словно сами собой заполнялись пустые клетки кроссворда и уже брезжит недописанное слово. И он не хочет его читать. – Что-то случилось… там? – Он едва не сказал *в мире*. – С ними? – Едва не сказал *с человечеством*.

– Как что? Ты откуда свалился?

И опять странный спутник, он уже не воспринимался как враг, как конвоир, смотрел с непониманием, настороженно, хотя и с сочувствием тоже.

– С электрички, говоришь?

Упорствовать, укреплять его подозрения? Но и солгать Рыжий не знал, как правильно, чему поверит этот мужик, живущий в каком-то своем, потрясенном мире. Мире, который навязывал теперь и Рыжему. В который Рыжий не верил, был не готов поверить, но…

рельсы… ржавые рельсы, скрытые травой

Может, и правда что-то с памятью?

– Вроде так помнится, – промямлил Рыжий, – что с электрички… Прыгнул, упал…

Получилось, что и не солгал, и как бы не настаивает, не уверен.

– Упал, значит… – Взгляд мужика заострился. – А я так думаю, это тебе дружки по голове дали. Приехали вместе, не поделили чего-то, слово за слово… Вспомнил теперь?

Колол взглядом, как иглой.

– А-а, ладно, – махнул рукой, выдернул иглу. – Это я так, на всякий случай. Врать вроде не врешь – шел ты от насыпи, тут по следам все сходится. И бензином не воняешь, а они на машине были. Выходит, и вправду сам по себе. Да и не похож ты на них… Другого духу. Вот только где ты электричку взял?.. – Мужик покрутил головой. – Крепко же твоей башке досталось!

– Ну вот, – осторожно обиделся Рыжий, – а то все – «дружки» да «дружки»… А кто они, эти, на машине-то?

– Опять не знаешь? – удивился спутник. – Рейдеры.

– Это которые предприятия захватывают?

– Какие еще предприятия? – вздохнул мужик, устал удивляться тупости парнишки. – Нет больше никаких предприятий, и слава богу. А эти – бандюки они, отморозки. Только и шарят, где бы чего да кого.

– Рейдеры… – пробормотал Рыжий. Еще одна заполненная клетка кроссворда, еще один штрих к бредовой догадке. – Это как в «Фоллауте», что ли?

– Чего-чего?

– Ну, игра такая, компьютерная. Там банды рейдеров по пустыне шарят.

– А-а… Только компьютерам твоим тоже хана, кончилось их время. Вот рейдеры еще бродят, да... Ничего, недолго им – сами передохнут, друг друга перережут. – Мужик спохватился, поправился: – В смысле жаль их, конечно, тоже живые души… – Сдвинул брови. – Ладно, заболтались. Пошли.

Идти было очень трудно, но остановиться вожатый не давал. С Рыжим творилось что-то – с телом, с головой. В лодыжке потрескивало, искрило болью, эти искры пронизывали тело снизу доверху и вспыхивали под черепом. Временами чудилось, он бредет в светящемся облаке, что его тело растворяется в нем, что оно само и есть это облако, и тогда боль стихала. Затем восприятие возвращалось, и с ним боль.

Рыжий не пытался запомнить дорогу, в какой-то момент лишь отметил, что они опять сошли с тропинки. То ли он шел все медленнее, то ли вожатый стал нетерпеливее – теперь он почти нес парня, прижимая к себе, и в минуты прояснения Рыжий вплотную видел его черствый заветренный профиль и застывший, исподлобья, взгляд – словно тот к чему-то прислушивался.

Рыжий свалился опять.

– Погоди… – взмолился.

Мужик смотрел сквозь него, слушал... Расслабился, кивнул:

– Здесь можно.

Дал Рыжему бутылку с водой. Сам пить не стал, плеснул ему на лодыжку.

Рыжий лежал, весь в испарине. В неподвижности боль сладко стихала, будто уходила с потом. Мысль, что придется снова вставать, была невыносимой.

– Далеко еще?

– Не очень. Как идти будем.

– А чего мы через чащу ломимся, разве дорог нет?

– Эх, ты, головушка худая…– Мужик присел, скрестив ноги. – Как тебя звать-то, хоть помнишь?

– Елисей.

– Ишь ты… Дома небось Рыжиком звали, – ухмыльнулся с простодушной проницательностью, – маленького-то?

– Лисенком, – неожиданно признался Рыжий. – Рыжий – это потом, в школе… и вообще.

– Рыжий лис, значит. Хитрый зверь... а в голове дырка. Дороги-то нынче не для добрых людей.

– Ну, если что, спрячемся.

– С тобой спрячешься.

– Да что ж, одни бандиты кругом, что ли? Нормальных людей не осталось?

– Нормальных… Когда они были нормальными-то? А были бы – разве так бы все повернулось?

– Ну да… – не решился уточнять Рыжий. – А тебя как зовут?

– Меня-то? – мужик замялся. – Лучезаром пока.

– Как это «пока»?

– Да какой из меня Лучезар? Черного эфира полно… Рано мне такое имя, не стою я его. Пожадничал, когда назвался, слишком уж замахнулся. Поменять надо. Мне бы для начала Ладимир или Добромысл… не решу вот никак. Как думаешь?

– Постой, постой, так ты имя сам, что ли, выбирал?

– Ну да. Перерождаться ж надо. А как переродишься с прежним именем – оно ж все твою старую грязь на себе тащит.

– А как раньше звали?

– Алик.

– Альберт, значит.

– Да какой Альберт! – мужик махнул рукой. – По паспорту только, а так… Алик и есть, самый натуральный. Был в смысле.

– Водочкой увлекался? – догадался Рыжий. – Алкоголик?

– И это тоже. Но только до первой белочки, а потом как отшибло. Я тогда в жэке был сантехником, бутылки каждый день совали, а я их раздавал на работе, так коситься стали, но принимали, конечно. Я и перестал бутылки брать, деньгами только. Но тут другой бес подстерег – на автоматах повадился играть. Сутками не вылезал: сбегаешь, займешь, пока еще давали, и назад. Ну и доигрался… В общем, на пустыре каком-то лежу, не помню, как забрел… и никто мне не нужен, и сам себе не нужен. Трындец полный. Все, что мог и не мог, спустил, и квартира уже не моя, инструмент свой и тот просадил, взаймы и сотни не дадут. И тут мыслишка: а если б дали, что – опять играть? Зачем? Чтобы выиграть? А зачем?

Вот ты скажи мне – зачем играют? Ради денег, что ли? Не-ет, – Лучезар разгорячился, себя же обличая, – я тебе скажу зачем! Чтобы судьбу одурачить, хитрее всех оказаться, самого Бога лохануть. Тут даже не жадность – гордыня! – Потряс кулаком. – Но это я сейчас понимаю, а тогда… Лежу на земле, в бурьяне каком-то, и ночь давно, коленки стынут – а мне все равно. Ничего не нужно, не грустно, не страшно вовсе, что жить, что умереть – все по барабану, все – никак. Пусто, тихо… Шорох почудился – бомжи, верно. Сейчас обшмонают, ничего не найдут, может, прирежут со зла – а мне не жалко. И голос: «Пойдешь?» Я глаза скосил, а темно, звезды чуть видно, – вроде тень какая-то. «Зачем?» – «Какая тебе разница?» А никакой, думаю. Мне что лежать, что идти, что жить, что не жить – все без разницы. Только земля холодит что-то… Пойду, говорю. Куда идти-то? – «А тебе надо, чтоб непременно куда-то?» – «Да нет, – говорю, – никуда мне не надо». – «Вот и не думай, тогда не собьешься. Просто иди и все. И назад не оборачивайся, а то останешься». Я встал – никого вроде. Так и не понял, был тут кто, нет ли... Да какая разница? Я и пошел.

– Как же ты пошел, не зная куда надо?

– А в том и дело, что я шел не куда надо, а просто. Сказано же было: не думай. Если б думал куда, не дошел бы. А тут не умом шел, умом-то в два счет заблудишь, он на это мастер.

– Вроде как – ноги сами привели?

– При чем ноги? То, что главное, то и привело.

– А что главное?

Лучезар подумал.

– Сердце. Душа. Бог, может… Слов много, а все про одно. То, что мы в себе глушим, слышать не хотим. Кто водкой, кто блудом, кто деньгами да чинами… Только глядим, чего бы хапнуть, как еще себя ублажить да над ближним вознестись. А все ради чего? Лишь бы забыться, не слышать, как внутри скребет, плачет: куда ж ты, зачем тебе это все? А дальше-то что? Только рано или поздно оно, главное это, все равно достучится, хоть на миг, да услышишь. И если сам уши не заткнешь, страху не поддашься, за слепоту свою не уцепишься – то и поведет. Мне-то вот повезло – ни бояться, ни терять нечего было. Вот и повело… и привело.

– И долго шел?

– Не помню. Дня три, может.

– И все время не знал куда?

– Да пойми ты, если бы я думал, куда мне надо, – точно бы сбился. А так шел себе и шел. И пусто, легко в голове, будто она для чего-то важного очищается. Я и не останавливался, боялся это бездумье расплескать. Из города вышел, вдоль шоссе побрел, потом проселки, деревушки какие-то. В брюхе звенит – а пусть себе как хочет, мне отвлекаться нельзя. Оно и присмирело, отключилось вроде. Я и пил-то всего раза два – из колонки на окраине да в лесу из родничка. Подвернулись – вот и попил, а самому искать, думать о воде нельзя, ум проснется – с пути уведет. Не спал, не прилег ни разу. Споткнешься, свалишься в темноте – и один страшок: не думать, не думать. Только мыслишке поддашься, поймешь, что сил нет, – и все, не встанешь. Под конец шел уже как в облаке, легкость такая, будто сам – облачко, плывешь себе над землей... И хорошо, покойно.

Знакомое состояние, насторожился Рыжий. Похожее он ощутил, когда Лучезар тащил его через чащу и боль, наконец, отступала.

– …И пришел ведь! – сам себе подивился Лучезар. – А почему? – воодушевясь, с назиданием. – А потому что *путь* меня вел. Это тебе не на работу постылую, не на базар за картошкой, не к соседке на перепихон, когда все наперед знаешь, что и почем. Тут – *путь*! Его умом не углядеть. Не нашего ума это дело. *Путь* – он оттуда, – Лучезар воздел указательный палец. – Не он для нас – мы для него. – Помолчал.

– Предназначение? – спешно поддакнул Рыжий. – Смысл жизни?

– Смысл твой – это от мысли, – отвел Лучезар строго, – опять, значит, от ума. С ним ухо востро, в любую дырку влезет – только дай порулить. А сам-то ум – брюху шестерка, оттого слепой, дальше брюха не видит, глаза только застит всякими ложными надобностями. Нет, умом *пути* не найдешь, тут он первый враг. Вот и выходит, чтобы путь увидеть – ум-то пригасить надо, пришибить его малость. Обычно человек сам такого не может, и в голову не придет. Но если на роду написано – то путь сам его найдет. Может, так тряхнет, что небо с овчинку… Вот как меня. Чуешь?

Уставился на Рыжего: дошло ли?

– Я это к чему. Вот тебе память-то отшибло – может, не зря? Чтобы ум осадить, голову прочистить? Может, путь тебя ищет?

Рыжий не знал, что сказать. Не спорить же, что с памятью у него все в порядке, вот – с умом… Или наоборот? Уже сам не был уверен. Если по уму, то теперь, задним числом, он ясно видел, что грибная эта затея была блажью с самого начала. Какой нормальный сорвется на ночь глядя, наугад, в незнакомые края, в неведомый лес? И дались ему эти грибы, он в них понимает – только белый от мухомора и отличит. И ведь были сомнения, были! Но – порыв, эйфория собственной лихости, сумасбродства… (Вот-вот – *с ума*…) Как же – он, ботан, мышь офисный, с девяти до шести за компьютером, и дома тоже с восьми до мушек в глазах – в двадцать лет очки пора подбирать, – а тут сам, один, на ночь глядя! – а запросто, делов-то! Опять же ночевка в лесу – тут чудился некий поступок, авантюра. Но это теперь, задним умом, понятно, – а где он раньше был, ум?

И правда, подумал с тоской, маясь под взглядом Лучезара, – будто отключили его, ум этот самый…

– Какой путь, куда? – только и смог пробормотать.

– Опять за свое, – вздохнул Лучезар. – Ты вопросов не задавай. Иди знай, не оглядывайся. Вставай вот.

– Да куда ты меня тащишь?

– Куда, куда – в становье... – Рука Лучезара замерла на мгновение на плече Рыжего, лицо опять стало отстраненным, *слушающим*. Добавил, сомневаясь – то ли в слышанном, то ли в своих словах: – К свету, надо быть…

Лучезар заблудился, понял Рыжий. Они опять шли не по тропинке, мало того, и по чаще двигались не напрямую, несколько раз меняли направление – Рыжий заметил это по смещению теней на освещенных участках. Был еще в состоянии замечать, *облачность* никак не приходила, не спешила растворить стонущее тело. Отчаясь терпеть бесконечную муку, уже решился спросить – зацепил ступней за ветку, взвыл… Лучезар как ждал:

– Тихо! – зажал ему рот ладонью. – Молчи.

Рыжий умолк, молчал, прискакивая на одной ноге, пока Лучезар тащил его еще с полсотни метров. (И опять свернул, показалось Рыжему… или слепили слезы?)

Опустил на землю в гуще кустарника.

– Отпыхни пока.

– А там сразу нельзя было? Да что ты все слушаешь?

Лучезар пожал плечами, полез в рюкзак за бутылкой. Но видно было по сжатым губам, по тихим рукам – он настороже.

– А ты, – вдруг спросил, – ничего?..

– Нога болит, – огрызнулся Рыжий.

– Не про то я! – оборвал Лучезар, качнул головой: – Там, чего-то…

Рыжий прислушался.

– Ничего вроде…

– Да не ушами слушай-то.

– Как это – не ушами?

– Нутром, нутром, – Лучезар постучал себя по животу, под курткой обрисовалась рукоятка ножа. – Просто чувствуй – и все.

Рыжий прислушался опять. Сквозь утихающую боль ему почудился на миг какой-то звук. То ли дрожь ветвей в глубине леса, то ли трепет расслабленных вен, уставших гнать кровь по его измученному телу…

Лучше не слушать, не накручивать себя.

– Ничего. А ты слышишь? Что?

– Вроде как принюхивается кто-то, кружит… Ищет.

– Кого – нас?

– Не знаю. Далеко сейчас. Может, и чудится…

Лучезар вроде как расслабился, и Рыжий спросил:

– А как это – не ушами? Ты телепат, что ли?

– Все телепаты. Сердце вещун, когда чистое. Только мне еще до чистоты-то… – Лучезар вздохнул. – Оттого и шарахаемся то в одну, то в другую сторону, не прямо. Как услышу посильней – значит, близко, сворачивать надо, отдалиться. Только потише станет, ага, оторвались вроде – а тут опять, с другой стороны, еще сильней… На машине, что ли, кружат? Свернем – опять потише будто… вот как здесь. И не пойму уже – мерещится ли, нет ли? Мало свету во мне, черный эфир застит. Вот и подумал, если тебя вправду путь зовет – может, ты почутче моего, услышишь? Опять же, молодой, грязи на душе меньше…

– Так ты потому…– захлебнулся обидой Рыжий, – потому меня кругами таскаешь? Почудилось тебе? А про ногу мою не подумал?

– Ноге твоей помогут, если живым добредешь. Лучше от куста шарахнуться, чем из-за куста в тебя шарахнут.

– Пока мы тут кружим, я, может, от боли помру!

– От боли не помирают, – ободрил Лучезар. – Они-то знают… и уж пользуются.

– Пользуются? – запнулся Рыжий. – Рейдеры? Думаешь, они? За нами?

– Наследили мы, они не дураки же. На машине в лес не заедешь, вот и мотаются вокруг, где еще проехать можно, хотят понять, куда идем.

– Да на кой мы им сдались, что им надо-то?

– Что людям вечно надо – поймать да хапнуть, да сожрать кого-нибудь... А может, – Лучезар нахмурился, – про становье пронюхали – думают, приведем. Ага, становье им подавай… сейчас.

– Вот!.. – насторожился. – Опять… не слышишь?

Рыжий замер.

Теперь и ему показалось: отдаленное шевеление.

– Не ушами, не ушами – нутром… Глаза закрой.

Рыжий зажмурился.

он оказался не параноиком, они и в самом деле охотились за ним

Что за дурацкая фраза пришла на ум?

Он вспомнил: это из «Фоллаута», доброго старого «Фоллаута». Мальчишкой он часами, пока не мать не выключала компьютер, бродил по его апокалиптическому миру, сражаясь с мутантами и бандитами. Эта фраза – эпитафия на могильной плите.

Там, на кладбищах, были и другие забавные вроде: *Он слишком много болтал, и ему сделали еще один рот*.

Или: *Здесь лежит Джон Ист. Простите, что не встаю.*

Сейчас они не казались смешными.

Что за дурь лезет в голову?

Он понял, и по спине пробежал озноб, будто сзади на него упала чья-то тень. Враждебный мир этого мужика становился и его реальностью, обволакивал противящиеся сознание, опутывал плющом, прорастал корешками.

– Нутром… – прошелестел Лучезар.

Рыжему показалось: среди лесной свежести вдруг потянуло чем-то знакомым, городским. В ноздрях щекотнуло, и на какое-то мгновение он ощутил запах автомобильного выхлопа… Открыл глаза.

Чепуха. Галлюцинация. Он накрутил себя до видений, он не спал толком вторые сутки, он выпрыгнул из электрички, он вымотан болью, голодом, россказнями этого психа.

Сантехник Алик, зло подумал Рыжий. Свихнувшийся алкаш и игрок, нахватавшийся где-то эзотерических бредней. Представил его с вантузом на плече, рассуждающим о грехах человечества

– Чуешь? – Лучезар ждал подтверждения..

– Нет, – мотнул головой Рыжий. Если тот решит, что опасность близко, придется опять вставать и идти. Но он и правда ничего не чувствовал.

Несколько секунд Лучезар смотрел на него. Затем поднялся на ноги.

– Пошли.

– Уже? Погоди еще… – В неподвижности нога занемела и почти не тревожила. При мысли о предстоящей боли он едва не заплакал.

– Надо идти.

– Не пойду! – вдруг взбунтовался Рыжий. – Больно мне, понимаешь? Не могу я! Не пойду, и все!

– Сдохнешь здесь.

– Вот и сдохну… хоть умереть спокойно, не мучиться.

здесь лежит Джон Ист. простите, что не встаю

– Спокойно не получится, – мягко, словно вразумляя ребенка, сказал Лучезар. – Они спрашивать начнут. И что ты им расскажешь? Про электричку?

– Да чего меня спрашивать? Не знаю я ничего!

– То-то и оно, что ничего. А они опять будут спрашивать.

– Как это «опять»? – Рыжий почувствовал, как протянуло холодком по взмокшей спине. – Пытать, что ли?

Лучезар смотрел как на дурачка.

– Да чего ж это… звери, что ли, совсем?

– Зверей зачем обижать? Рейдеры и есть. С ними и про ногу забудешь. Лучше уж сейчас потерпеть.

Лучезар протянул руку, и Рыжий ухватился за нее.

Рыжий не помнил, сколько смог пройти на своих ногах. Теперь Лучезар нес его, перевалив через плечо, как мешок картошки. Не сказать чтобы нога пребывала в покое, но по крайней мере боль Рыжий доставлял себе не сам. Он слышал дыхание Лучезара: оно было напряженным, но ровным.

Лучезар задержался у огромного дуба, не спуская парня на землю, привалился боком к стволу.

Слушает погоню? Рыжий спросил бы, но боялся помешать. Или все же устал? Подпитывается от дерева? Рыжий читал где-то, что деревья обладают своей энергией, и как-то даже пробовал подзарядиться, но ничего не понял.

Лучезар оторвался от ствола и двинулся дальше.

– Слышишь, да?.. – не утерпел Рыжий. – Близко?

Лучезар буркнул непонятное. Бережет дыхание? Он начал потеть, Рыжий чувствовал запах.

Тычась носом в тощий рюкзак с ободранными ремешками на клапанах, он смотрел вниз на задники резиновых сапог Лучезара. Те мельтешили перед глазами, как два маятника в противофазе, глубоко вминаясь в лесную подстилку.

Лучезар сменил направление, но кажется, неудачно. Через полсотни метров они уперлись в болото: Рыжий понял это, поворачиваясь вместе с Лучезаром, пока тот оглядывался, решал, в какую сторону свернуть. Свернул влево.

– Может, отдохнешь?

– Нельзя, – выдохнул Лучезар. Голос был хрипловатым. Устал, понял Рыжий.

Для человека, который три недели не ест, а до этого сидел на травяной водичке, он в потрясающей форме. Но долго ли он продержится, прежде чем выдохнется окончательно и они свалятся оба? И если их найдут…

– Слушай, – в отчаянии залепетал Рыжий, – да сколько их там?.. Может, двое-трое? Отобьемся, а? Нож у тебя…

– Нельзя убивать, – прохрипел Лучезар.

Отойдя от болота, они пересекли то ли заросший проселок, то ли остатки просеки и углубились в чащу. Попали в бурелом, и по тому, с каким шумом и треском, напрямик, преодолевал его Лучезар, Рыжий понял: тот выдыхается. Наконец, у какой-то ложбинки Лучезар остановился, ссадил парня на землю. Некоторое время вслушивался, тоже сел.

– Отстали? – спросил Рыжий.

– Стихло вроде… Не чую пока.

– А где они, в какой стороне?

– Не пойму… – дышал Лучезар тяжело, с присвистом. – Чую – близко, сворачиваю. Не помогает – значит, не туда свернул. Стихает – значит, правильно, от них… Но… – покрутил головой с удивлением. – Никогда еще так сильно не слышал. Отмывается, что ли, потихоньку?

– Что отмывается?

– Черный эфир, что ж еще-то. Грязь с души, если попросту. Слышь, Лисей… – Лучезар запнулся, – а ты меня, это… хорошо видишь?

– Ну да, – растерялся Рыжий. – А что?

– А, ладно, – тот махнул рукой, жалея, что спросил. – Гордыня все... – Полез за бутылкой, протянул Рыжему. Сам отхлебнул чуть, задержал воду во рту, жмурился, прежде чем сглотнуть.

– Лучезар, – спросил Рыжий, – а что значит – убивать нельзя? А если – нас?

– Никого нельзя.

– Так что, пусть убивают?

– Ага! – Лучезар уже отдышался и оживился, словно ждал этого вопроса. – Вот тут-то все и спотыкаются. Отсюда все зло и плодится. Как же так – меня можно, а мне нельзя? Да за правое дело! какой тут грех? То есть грех, конечно, – так ведь и обстоятельства особые, уж Бог вникнет да простит, отмолю. А не тут-то было! – Он опять впал в назидательный тон и одновременно походил на школьника, у доски отвечающего надежно затверженный урок. – Вот как только ты так подумал, про особые-то обстоятельства, как мыслишку эту запустил, так и покатило. Сразу ты как бы сам особый стал, возгордился, значит. Бог, выходит, всем грешить заповедал, да твои обстоятельства и не предусмотрел. Простоват он, Бог-то. Ну да ты ему потом объяснишь, повинишься, конечно, он и учтет. А пока, мол, по обстоятельствам, в виде исключения. А обстоятельства всегда найдутся. Вот и получили – уж такие обстоятельства!..

– Значит, когда тебя убивают, то пусть – лишь бы самому не согрешить? Это Странник так говорит? – прервал его Рыжий. Испугался своего раздражения.

– Нет, Странник так не говорит. Он говорит, если точно знаешь, что деваться некуда, то можно. Когда не по злобе, не со страху, а с плачущим сердцем… Только я думаю, он сам это говорит с плачущим сердцем, да… От жалости, от непонимания нашего – вот и щадит нас. Не скажешь же человеку: подставь, мол, горло под нож. Это значит за него выбор сделать, тоже как бы грех. Нет, тут каждый сам должен решать. Я вот решил – нельзя.

– Так убьют же!

– Так это здесь убьют. А здесь все не кончается же. Там же не кончилось.

– Как это, – поперхнулся Рыжий. – Здесь что, другая жизнь, что ли? *Вообще* другая?

– А ты не понял?

Рыжий помолчал, переваривая. Не получалось.

– Ну, ладно… А если не тебя – рядом кого-нибудь? Меня, например, резать будут? Так и будешь смотреть?

Лучезар ответил не сразу.

– Кабы знать… Как тут поручишься? А нельзя… ох, нельзя.

– Что ж такое? – нервничал Рыжий. – А хоть поранить, пугнуть можно?

– Этих ножом не напугаешь. А поранить? – Лучезар поколебался. – Нет, мучение человеку… да и умереть может. Нельзя, пока живой.

– Как это – пока живой? А мертвых можно резать?

– А чего ему? Душе не больно, и телу вреда никакого. Неприятно, конечно.

– Неприятно? – поразился Рыжий. – Ты сам резал, что ли?

– Да было дело. Тут одни на дрезине приехали, тогда еще рельсы не сообразили разобрать, да на других рейдеров наткнулись, те на машине были. Не поладили чего-то, два трупа у полотна остались, еще один в лесу, заполз да и кончился. Мы их и повесили, а стволы – в болото.

– Куда повесили?

– Двоих там же, на опоре, а третьего на шоссе, откуда на машинах приезжают. Далеко пришлось тащить... Там на столбе и повесили. Ну и покромсали сперва – живым для острастки. Только не помогло, все равно приезжают.

– Это тоже Странник придумал?

– Его там не было, он потом узнал. Посочувствовал только. Мы же не со зла. Чего на них злиться, на мертвых? А без гнева, без гордыни… – Лучезар замолк.

– …С плачущим сердцем? – не удержался Рыжий.

Лучезар не отвечал. Вслушивался – не то в окружающий мир, не то в себя с каким-то болезненным напряжением. Взгляд остекленел.

– Что? – напрягся Рыжий. – Идут?

– Не знаю… – голос Лучезара был растерянный, виноватый. – Не слышу.

– Так и хорошо, что не слышишь, – значит, нету никого.

– Да если бы!.. Раньше слышал – что есть. И если нет их – тоже слышал. А сейчас – как обрезало. *Оглох* я, понимаешь? И-эх!.. – грохнул себя кулаком в темя.

– Ты чего? – струсил Рыжий.

– А того! Чуть свет забрезжил, только-только слышать начал… и на тебе! Возгордился! Тебя вот поучать взялся!

– Да ничего такого…

– Поучал, поучал! О гордыне рассуждаю, а сам-то! Уже и переход себе возомнил: видишь, не видишь меня!.. Чуть не в Светлые собрался… вот тебе и переход. Поделом мне, поделом… Мне-то поделом, а тебе за что? Нарвемся – на мне ведь грех будет! Может, они вон там в кустах сейчас, или там… – Лучезар вскочил, заоглядывался. – Эх, пересидеть бы до ночи…

– А далеко еще?

– Далеко не далеко – да как идти теперь, *глухим-то*? Дальше болото опять, надо справа обходить. А там выруб старый и дорога. Вот его бы проскочить… Как нога-то?

– Ничего… не чувствую вроде, – не шевелясь, он действительно не чувствовал боли, только горячее онемение.

– Ну-ка, – Лучезар склонился посмотреть, но тронуть не решился. Рыжий тоже не решался – видно было, как распухла лодыжка под носком. – Да… – качнул головой Лучезар, – и засиживаться-то нельзя…

– Ну, проскочим… – Рыжий прикусил язык, сообразив, что проскакивать он будет верхом на Лучезаре. – В смысле они же на машине – услышим.

– Место открытое, не спрячешься там...

Лучезар распрямился и поднял лицо к небу. Напрягся, замер, то ли мольбой, то ли усилием пытаясь вернуть утраченную способность. Неприятно было видеть застывшую на его жестком лице жалкую, детскую гримасу. Рыжий тоже напряг слух, но различил лишь шелест листвы – к полудню поднялся ветерок. Он ощутил тревогу, даже страх, но это чувство было уже привычным, и не распознать, есть ли у страха конкретный, сиюминутный источник.

Поднял глаза на Лучезара. Тот еще цепенел – в надежде, в надсаде, со стиснутыми кулаками…

– Ладно, пошли, – тряхнул головой. – Урок мне. Дай бог не последний.

Его лицо уже ничего не выражало.

И опять Рыжий ехал задом наперед и, глядя на мельтешащие внизу сапоги Лучезара, на оставляемые ими вмятины. Беспокойство нарастало, должно быть, оттого, что он не видел, куда они идут. Лес кончился неожиданно, деревья отступили, и, заметив внизу давние, но еще глубокие, не заплывшие колеи от лесовозов, он подумал, что вот так и устроена жизнь – никогда не угадаешь, что случится завтра, зато можешь сколько угодно глядеть назад и грызть себя за собственную глупость.

Лучезар нес его через заброшенный выруб, усеянный ворохами гнилых сучьев и раскатившимися штабелями неошкуренных бревен. Перекинутый через его плечо, Рыжий поневоле смотрел назад и увидел рейдеров первым.

Острая звездочка кольнула в глаза и погасла – на лобовом стекле старой «Нивы», впяченной задом под деревья за мыском опушки, откуда они только что вышли. Людей он не увидел и подумал, что машина брошена здесь давным-давно, но тут «Нива» тронулась с места, и Рыжий понял, что враги уже заметили их. «Нива» выползла на проселок и двинулась в их сторону.

– Лучезар!.. – Но тот и сам уже оборачивался на нытье двигателя.

Машина съехала с проселка и приближалась к ним через выруб, давя кусты и валежник. За лобовым стеклом Рыжий успел разглядеть двоих, прежде Лучезар вместе с ним развернулся, и он оказался к машине задом. Зато теперь увидел весь выруб сразу, огромный, и дальнюю кромку леса и понял, что им не уйти.

Двигатель позади смолк, лязгнули дверцы.

– Гуляем, мужики? – Голос был веселый и чуть запыхавшийся, будто говоривший догонял их бегом, а не машине.

Лучезар не ответил, Рыжий ощутил, как задеревенели его плечи.

– Битый небитого везет, а? Чего это с ним? – Теперь голос показался знакомым.

Рыжий сполз с Лучезара, как с дерева, ему удалось встать рядом и не покачнуться.

Мужчина лет тридцати, с неопределенной улыбкой на курносой физиономии, остановился в нескольких метрах от них. Второй, тощий и пожилой, с морщинистым лицом, наблюдал от машины. Голоса он пока не подавал, но Рыжий уже не сомневался, что узнает и его.

Лучезар молчал, и в его молчании была безысходность. То же чувство испытал Рыжий, глядя на курносого. Вот так же тот стоял на ночном проселке, уговаривая его выйти из чащи. Но там был лишь темный силуэт, теперь Рыжий видел его в деталях при свете дня: невысокого, с красными от недосыпа глазами и раздражением на коже носа, какое бывает от частого сморкания. В старых берцах с оторванными крючками для шнуровки, в дешевой куртке из кожзаменителя, покрытого трещинками, как налипшей паутиной, с воровато-шалой улыбкой на круглом лице, он выглядел скорее пародией на угрюмых рейдеров, которых Рыжий когда-то пачками убивал на виртуальных пустошах «Фоллаута».

Правую руку курносый держал в кармане, и это была не игра.

– Далеко собрались? Садись, подвезем.

Лучезар перетаптывался с понурым видом.

– Ну, чего молчим? Стесняемся, что ли?

– Мы… за грибами! – пискнул Рыжий, не выдержав немоты.

– За грибами? Верхом друг на дружке ездите? – развеселился курносый. – Сверху виднее, да? Это вы как – нá спор или по очереди?

Рыжий ощутил, как губы против воли разъезжаются в усмешке. Что-то булькнуло в горле Лучезара. Ухмылялся и морщинистый, что стоял у машины.

– Ладно, пошли… – давясь нервным смешком, пробормотал Лучезар. Он повернулся, и Рыжий шагнул за ним, не понимая, на что тот надеется – что вот так, под общее веселье, их и отпустят? На втором шагу он свалился.

– Гриб нашел? Эй, а ты куда? – Еще досмеиваясь, курносый вынул руку из кармана. – Стоять! – Лучезар остановился. – Чего там у тебя в сидоре? Кидай сюда. – Лучезар бросил ему рюкзак, и курносый поймал его левой рукой; в правой был пистолет. – Ну-ка…

Вытряхнул из рюкзака бутылку, открыл, понюхал.

– Вода… слюней, небось, напускали. А жратвы с собой нет – значит, база близко, туда, небось, шли…

– Положи бугая, – подал голос морщинистый, стоявший у машины.

– Ага. Лежать команда!

Лучезар опустился на колени и лег.

– Мордой вниз! Руки вытяни!

Курносый подошел и обхлопал его по бокам. Задрал куртку, вытащил нож. Уставился с удивлением.

– Что за хрень – самоделка, что ли? – Швырнул нож в сторону и рукоятью пистолета ударил Лучезара по почкам. Потом еще и еще, с каждым ударом улыбаясь все шире. Лучезар утробно всхрюкивал.

Разгоряченно дыша, курносый повернулся к Рыжему.

– А ты чего разлегся? Тебе команды не было.

Упираясь руками в землю и отставив больную ногу, Рыжий начал вставать. Едва выпрямился – курносый толкнул, свалил на спину. Пошарил по карманам, ничего не нашел. Веселье не сходило с его лица, губы разъезжались, будто улыбка мешала закрыть рот.

– Болит? – кивнул на раздувшуюся лодыжку. Наступил, с интересом наблюдая за Рыжим; тот дышал сквозь зубы, комкая трухлявые ветки в горсти. Курносый отпустил, придавил посильнее, отпустил.

– Так куда, говоришь, шли?

– Не знаю… – пробормотал Рыжий.– Я тут… случайно, с электрички!

– С электрички? – распотешился курносый. – Точно – не с Луны?

– Долбанутый, – заключил морщинистый. – Кончи его, бугай быстрей расколется.

– Не, это он хитрит, рыжие хитрые… Это игра такая. Поиграет и скажет, верно? – Курносый подмигнул Рыжему, надавил. – Так с электрички, говоришь? А дальше верхом? И куда ехал?

– Не знаю я… – простонал Рыжий, взмывая и ухая вниз на волнах боли. – В становье… – Он подумал, что предает Лучезара, но слово уже вылетело.

– Молодец! А теперь гляди сюда.

Курносый наставил ствол ему в глаз.

– Что видишь?

– Смерть… – Это слово тоже выскочило само. То, что за ним стояло, огромное, неохватное сознанием, не могло умещаться в этой маленькой черной точке.

– Верно… а чью? Ты? Он?

– Не знаю…

– А я тебе помогу, – подбодрил курносый, лаская пальцем спусковой крючок. – Ну, говори скорей: куда шли? Или он скажет. Кто первый скажет, тот и жив.

– Раз, два… – Палец с грязным ногтем тихонько потянул спуск. Рыжий зачарованно смотрел, чувствуя, как остановилось время – просто прервалось, иссякло, как вода в кране.

– Три!

Пистолет дрогнул, и Рыжий ослеп от боли. Ему показалось, курносый промахнулся и пуля вошла в лодыжку. Но это была не пуля – каблук курносого. Выстрела не было.

– Смотри, как дергается! – Курносый нашагивал, гвоздил каблуком по лодыжке, будто норовя растоптать юркую мышь.

– Да кончай уже, – проворчал морщинистый. – Детский сад какой-то.

Это и вправду походило на детскую игру в наступалки, только Рыжий играл в нее лежа: отползал, вился ужом, пытаясь спрятать от ударов травмированную ногу. Играло в игру лишь его тело: сознание дробилось, не поспевало за рефлексами, и Рыжий, в очередном провале боли и крика, не заметил, как это произошло. Должно быть, его мучитель в азарте забыл про осторожность, и Рыжий, брыкнув здоровой ногой, попал по руке с пистолетом. Пуля ушла в землю рядом с берцом курносого, тот на мгновение замер, и Рыжий увидел, как тускнеет улыбка на его губах.

И как за спиной его, будто разбуженный выстрелом, встает с земли Лучезар.

– Эй!.. – крикнул морщинистый, вырывая руку из кармана.

Курносый обернулся, но не успел выстрелить: еще не распрямившийся до конца Лучезар перехватил его кисть, и пистолет выпал. Сграбастав по-медвежьи, Лучезар сдавил рейдера в объятиях и развернул спиной ко второму.

– Отпусти его, сука, – сказал морщинистый, медленно приближаясь. Стрелять он не спешил, не желая попасть в напарника. И оставался спокоен.

– Стой там… – проклокотал Лучезар. – Задавлю.

Курносый молотил его кулаками по спине, по затылку. Лучезар напрягся, давя ему ребра, курносый взвыл и обвис.

– А мне хрен с ним, дави. Он мне самому надоел. – Второй пожал плечами, остановился. Перевел ствол на Рыжего. – И чего теперь? Ты моего, я – твоего… Тебе твой тоже надоел?

– Ы-ы-ы… – родился звук, бессмысленный, тоскливый. Рыжий не сразу понял, что родился он в глотке Лучезара, – тот, мыча, с натугой боли в поврежденной спине, еще крепче сдавил курносого, отрывая его от земли. Загораживаясь им как щитом, двинулся на морщинистого, на его ствол.

Ствол качнулся, и Рыжий мгновенно заполз за Лучезара.

– Ы-ы-ы!.. – Мычание переходило в вой. Лучезар, пошатываясь, откинувшись назад под тяжестью живой ноши, шел на морщинистого, давя этим воем.

Тот отступал, выцеливая.

– Ы-ы-у-у!..

Выстрел был почти не слышен. Над плечом Лучезара брызнуло, будто лопнул на солнце веселый красный пузырь, тело в его руках дернулось. Лучезара продолжал идти, рейдер выстрелил еще два раза, продолжая пятиться. Затем бросился к машине, разрывая дистанцию. Лучезар качнулся вперед и, пробежав два шага, упал в обнимку со своей ношей. Рейдер этого не видел. Он добежал до машины и развернулся за открытой дверцей, утвердив на ней обе руки с пистолетом, чтобы стрелять с упора.

Рыжий выстрелил раньше. Он не помнил, как подобрал пистолет курносого, просто тот был в руке, и палец давил на спуск, и пистолет дергался. Сперва осыпалось лобовое стекло «Нивы», затем в дверце, за которой укрывался рейдер, возникла черная точка, и тот отшатнулся. Рыжий продолжал стрелять. Рейдера развернуло, будто кто-то сзади рванул его за плечо, и бросило спиной на машину. Левая рука обвисла, но он тут же втиснулся внутрь и, хватаясь растопыренной ладонью с пистолетом то за руль, то за рычаг коробки передач, дернул машину с места. «Нива» крутанулась и, лязгая незакрытой дверцей, поскакала по валежнику прочь.

Рыжий целился вслед, не соображая, остались ли патроны в обойме, вообще ничего не соображая. Потом пополз. Под локтями хрустели ветки, нога волочилась дергающим якорем боли. В ушах еще отдавался вой Лучезара, и, лишь добравшись до двух окровавленных, так и не разлепившихся тел, Рыжий понял, что подвывает он сам, потому что он один тут живой.

Он задрал голову и завыл в полный голос. Солнце склонилось и заглянуло в глаза, и он заскользил по волнам боли и света, проваливаясь и возносясь в слепящую глубину.

Ему открылось ночное небо. Он лежал на спине и смотрел на звезды, боясь воспоминать. Но уже проступали по краю зрения черные контуры крон, и возвращалось понимание, что все предыдущее – не сон, как и этот лес, эта ночь, и он в них один.

Не один.

Кто-то стоял в изголовье.

С гибелью Лучезара воспоминания обрывались – в памяти не осталось ничего, кроме боли и пылающей пелены перед глазами. Он падал куда-то сквозь слепящее облако – и вот вынырнул, и ему открылись звезды.

Облако померкло, но не рассеялось совсем, съежилось в неясный клочок тумана у его изголовья, напоминающий человеческий силуэт.

Возможно, он умирает и так выглядит смерть. А может, уже умер.

Да, умер, оттого и не чувствует боли.

Эта мысль несла успокоение. Все страшное уже случилось, вообще все случилось, и дальнейшее не требует ни воли, ни усилий.

Силуэт в изголовье сохранял неподвижность. Чтобы разглядеть его лучше, пришлось бы повернуть голову; но это было не нужно; глаза сами вернулись к звездам.

Он мог смотреть на них вечно.

И продолжал смотреть, когда кто-то склонился к его лицу, и звезды просвечивали сквозь него, как сквозь легкую дымку.

Звезды были рядом. Он мог затеряться в них.

не один

Кто это подумал? Он ощутил беспокойство, угрозу желанному оцепенению. Звезды потускнели в своей прекрасной глубине, он уже едва различал их, нависший над ним клок тумана густел на глазах, в нем возникали тени, и то, что напоминало смутное отражение, обретало телесность, становилось лицом.

Значит, так выглядит смерть?

Звезды померкли, и Рыжий вглядывался в проступающие черты, ему больше некуда было смотреть. На него повеяло теплом, и он ощутил вдруг, как ему холодно. К глазам прихлынули слеза, звезды вспыхнули вновь и придвинулись, и обступили его, согревая.

II. Там

Когда Рыжий открыл глаза, был ясный солнечный день. Он лежал посреди небольшой поляны на припеке, и его одежда была липкой от пота. Из золы угасшего костра еще выбивались дымки дотлевающих углей. Какой-то человек стоял поодаль спиной к нему, запрокинув голову и подставив лицо солнцу.

Рыжий вспомнил свое ночное видение. Сейчас, при ярком солнечном свете, оно и осталось лишь видением, незначащим сном. Он не умер – боль в лодыжке, хотя и не сильная, и запах собственного пота делали этот факт неопровержимым.

Все не кончилось.

Рыжий приподнялся на локте, ощутив похрустывание веток: он лежал на ложе из лапника, прикрытого ветхой дерюжкой. Человек обернулся; Рыжий видел его против солнца: темный силуэт, опушённый светящимся ореолом, затененное лицо.

Человек подошел и уронил на Рыжего тень.

Это был Лучезар.

Это не мог быть он.

– Ты умер, – сказал Рыжий.

– Ну, ну…– Человек присел перед ним на корточки.

Это был не тот Лучезар.

Его лицо изменилось – казалось, от долгого стояния под солнцем оно так напиталось светом, что выглядело размытым и сквозь верхний полупрозрачный слой кожи, как сквозь растопленный воск, проступали обновленные, непривычные черты. Нежные в своей свежести, еще не затвердевшие и в то же время более тонкие и одухотворенные, они накладывались на его прежний облик, вызывая ощущение двойственности, неокончательности – как если бы Рыжий застал момент, когда художник, убирая с рисунка случайное и приблизительное, дополняя и акцентируя главное, начитает превращать набросок в портрет. Рыжий словно прозревал будущего Лучезара, еще не состоявшегося, но каким ему предстоит стать.

– Попей, – Лучезар (если это он) поднес к его губам пластиковую бутылку. Он улыбнулся – *двойной* улыбкой, от которой Рыжего пробрала дрожь. Это зрение, подумал он, я смотрю против солнца. Но бутылку он видел ясно – обшарпанную, ту самую.

– Вы же оба… мертвые лежали…

По лицу Лучезара скользнула тень.

– Пей… – Вода была ледяной, Рыжий закашлялся. Когда опять поднял глаза, ощущение двойственности ушло. Лицо Лучезара было прежним – жесткое, простецкое . Он опять подтолкнул бутылку. Рыжий схватился, ощутил его руку. Рука была теплой.

– Мертвые… я видел… – хлюпнул носом. – Подполз… лежите оба…

– Ну, ну…

– В крови, в обнимку… – частил, не отнимал руки. – Я думал… Он стрелял, стрелял... Кровь – фонтаном!..

– Не моя. Дружка его. В шею ему, в артерию….

– А тебя… как же? Он стрелял, стрелял!..

– Рано мне, значит, – вздохнул Лучезар. – Тут уж стреляй не стреляй... Задел, правда, малость. – На плече его брезентовой куртки махрилась краями дырка, зато сама куртка смотрелась теперь почище. – Ничего, заросло уже, рука вот только не очень – зацепило там чего-то. Да тут еще… – Лучезар наклонил голову, и Рыжий разглядел рваную в запекшейся корке проплешину над ухом. – Я и отключился.

– Господи, – ужаснулся Рыжий, – как голова-то не треснула… – прикусил язык.

– Может, и треснула, болит то и дело. Да ну ее, – Лучезар махнул рукой.

– Слушай-ка… – вспомнил Рыжий. – А пистолет там остался – подобрали?

– Ага, Илия вот тоже интересовался. Оба вы… – усмехнулся. – В болоте пистолет, где ему и место. Ты-то как? Нога?

– Поменьше вроде, – Рыжий прислушался, пошевелил с опаской. Лодыжка была стянута тряпкой, толсто намотанной и завязанной узлом. Тряпка была мокрая и теплая, из-под нее торчали пучки какой-то травы.

– Вот и ладно, – Лучезар полил на тряпку из бутылки.

– Что – опять идти? – встрепенулся Рыжий.

– Пришли уже.

– Пришли? Ты же говорил – становье...

– Становье и есть.

– Да где же? – Рыжий сел, закрутил головой. – Лес и лес...

– А ты чего ждал?

– Ну, жилье какое-то… не под кустом же живете?

– А под кустом чем плохо?

Шутит, что ли, подумал Рыжий.

– А люди где? Они тут есть вообще?

– Появился – есть, – пожал плечами Лучезар. – Не появился – нет, значит.

– Как это? – не понял Рыжий. – Вы что, друг другом не интересуетесь?

– Зачем? Мы сюда не в гости друг к другу шли – к свету. К себе, считай.

– Но вот ты же мной интересуешься.

– Тебе помощь нужна.

– Помощь? – Рыжий немного обиделся. Ему казалось, после пережитого ими вместе он вправе рассчитывать на нечто большее, чем дежурное сочувствие.

– Ну да… – Лучезар помялся. – Опять же, виноват я перед тобой. Обманом завлек, видишь, как вышло…

– Обманом? Как это?

– Ну, надо было сказать, куда идем.

– Так ты и сказал.

– Это уж потом… а надо было сразу. А сперва-то ты думал, мы на станцию идем. Получается, не сам ты путь выбрал, сбил я тебя. А не сбей, глядишь, по-другому бы все легло…

– То есть надо было бросить меня, так, что ли?

– Зачем бросить? Только я не с того начал. С обмана начал. Вот и выходит, что не сам ты сюда пришел, не своим путем.

– Да какая разница…

– Разница? А вот подумай-ка – скажи я тебе сразу, куда идем, ты бы согласился? Нет, конечно. Не поверил бы, заартачился, вопросы стал задавать. Еще и сам побрел бы – до своей станции… пока не свалился. Не так разве?

– Ну, наверное, – пожал плечами Рыжий. – Время бы потеряли.

– Вот! Так и надо было – чтобы потеряли. Пока дошло бы до тебя да смирился бы, да пока дотащились бы до выруба – может, и вовсе к вечеру... И не было бы там рейдеров.

– С чего ты решил?

– Не было бы, – повторил Лучезар, с тихой тоской, с верой. – Мой грех, мой! А где один – там и второй на хвосте. Возгордился, поучать вздумал – чутье и отшибло. Не услышал я их… вот и наскочили. Все одно к одному.

– Да ладно, – Рыжего уже тревожило его упрямство. – Ты же как лучше хотел. Пришли и пришли.

– Неправильно пришли, – мотнул головой Лучезар. – На мне вина. И кровь на мне теперь.

– Ты-то тут при чем? Ты же не стрелял. Не поступился принципами, – не удержался Рыжий. – Да и вообще… Один бандит другого угрохал – туда ему и дорога. Жаль, второй живым ушел.

– Ушел-то ушел, а живой ли теперь – мы не знаем. Попал ты в него, на земле кровь осталась. Вот и выходит, стрелял ты, а кровь – на мне. Обоих.

– Да почему?

– Не сбей я тебя с пути, скажи все по правде – и не было бы всего этого. А так…

– Я по своей воле стрелял. И сейчас, если б встретил, не задумался.

– Не готов ты еще к таким встречам, мало пути прошел, только встал на него. А я тебе и срезал его по глупости...

– Да что ты заладил, – разозлился Рыжий, – «сбил, срезал»… Не знаю я никакого пути, может, и нет его.

– Нет пути? – Лучезар помолчал, качнулся на корточках. – Сам-то веришь, что говоришь?

Рыжий запнулся под его взглядом.

– А что тогда есть? – Черты Лучезара опять размывались, будто в зеркале, замутненном дыханием… и тут же это ощущение ушло. Словно кто-то провел по стеклу невидимой тряпкой; лицо стало прежним, привычным. Только выражение глаз казалось незнакомым (или раньше не замечал?) – каким-то невозможным сочетанием светлой, щемящей детскости и искушенной, старческой нездешности. – Что ж тогда остается?

Сумасшедший, толкнулась усталая мысль и тут же отлетела. Рыжий вдруг понял, о чем Лучезар. Действительно – что остается? Путь, любой, – хоть куда-то да ведет. А нет пути – нет и выхода из окружающей бессмыслицы. Нет смысла. Но стоит допустить, что есть путь, – тогда есть и смысл какой-то есть, должен быть. Вот только знать бы еще – куда путь и кто его человеку назначает… И смысл – *чей*?..

– Дошло, что ли? – Лучезар улыбнулся, словно разделяя с Рыжим радость его догадки. И тут же посуровел, закрепляя урок: – Не было б пути – и тебя здесь не было бы. Не дошел бы.

– Но ты же сам говоришь – сбил… – уже не спорил – пытался зацепиться, удержать понимание Рыжий. – Как же тогда – дошел?

– Совсем-то сбить нельзя, если уже идет человек. Сам-то он может заблудить, а со стороны – нет, никак. Путь он и есть путь, его не перегнешь. Сдвинуть только, скривить – так путь все равно, как пружина, вывернет да хлестанет – мало не покажется. Да туда же и приведет. Вот я влез по дурости – и что? Все равно ты тут. А уж куда как дело повернулось – так бы, гляди, и лежать нам обоим на вырубе! Нет же, дошли. Какой ценой вот только… С обмана началось – кровью кончилось. Если кончилось...

Рыжий хотел возразить, но Лучезар резко поднялся, махнул рукой, обрывая тему:

– Ладно, это уж на мне. Есть хочешь?

– Ага. Только… – Рыжий замялся. – А что у тебя? Грибы опять?

– Так хочешь или нет?

Рыжий с недоумением вслушался в себя. Только что казалось, он готов камень проглотить, – во рту еще рассасывался вкус голодной слюны. Но теперь это ощущение ушло. Желудок был пустым (а каким

ему быть?), но голода он не ощущал – скорее легкость, правильную, ладную легкость.

– Странно, – пробормотал он, – только что хотел…

– Хотел? Или думал, что хотел?

– Что значит «думал»?

– Я же объяснял – ум дальше брюха не видит. Вот ты про голод не вспоминал, пока я не спросил. А как спросил – ум и хватился: мать честная, в брюхе-то пусто! Давай вспоминать – когда же ел последний раз? Три дня назад, и всего-то два грибка каких-то! Караул, как жив-то еще! Не ел – значит, голодный, – чего еще от ума ждать? – Лучезар хмыкнул.

– «Ум, ум»… Если так, почему же расхотелось?

– А потому что и не хотел ты на самом деле. Как вслушался в себя – ум и отступил, а тело правду сказало. Это хорошо, – одобрил Лучезар, – отступает, значит, ум-то.

– Тебя послушать – так ум только мешает.

– Не ум мешает – спесь его. Пусть свое место знает. Не он главный.

– А что главное?

– Свет.

– Свет… – Рыжий пытался осмыслить, что-то отвлекало. – Постойка, – спохватился. – Грибы – три дня назад? Это же вчера было!

– Что, опять ничего не помнишь?

Рыжий помолчал.

– Ну, сон вроде, – буркнул наконец. – Умер я будто. Бред какой-то... Ну так бред и есть – я же болею, да?

– Как скажешь, так и будет, – пожал плечами Лучезар. – Если ума слушаться, будешь болеть.

– Опять двадцать пять! – разозлился Рыжий. – Тут никакого ума не надо – ногу повернул да еще простыл, наверное, – вот и воспаление, жар… Стресс в конце концов. И сейчас вот еще нога… – Он споткнулся под взглядом Лучезара. – В чем дело?

– Встань-ка, – сказал тот странным голосом. – Только медленно.

– Что еще?

– Все, поздно уже… – Лучезар закаменел, смотрел Рыжему за спину. – Тихо! – прошептал он. – Замри, не оборачивайся.

– Да что там? – занервничал Рыжий. – Рейдеры, что ли?

– Гадюка. Подползает... Под тобой уже.

– Гадюка?.. – Рыжий взметнулся с земли и, едва не сбив Лучезара, оказался за его спиной. – Где? – подхватил какую-то хворостину.

– Уползла. Как нога-то?

– Нога? – Рыжий не сразу понял – все шарил взглядом по земле. – Да ничего вроде… – Переступил, проверяя. Вскинул глаза. – Так ты это… нарочно?! Не было никакой змеи?

– Почему не было? Уползла, говорю. Напугал ты ее. Она познакомиться приходила. Всех тут знает, а тебя еще нет.

– Как это – знает? Ручная, что ли? Так чего ж ты пугал – «замри, не шевелись»?..

– Да наоборот, предупредить хотел, чтоб ты не пугался. А ты – сразу за палку хвататься.

– Схватишься тут, – пробурчал Рыжий. Поколебавшись, бросил хворостину. Он все равно подозревал Лучезара в розыгрыше, этакой шоковой терапии, «лечении стрессом». Чего-чего, а стрессов в последние дни отхватил столько, что хватит всю жизнь не хворать.

– Слушай, а вроде и не болит… – Рыжий прошелся туда-сюда, притопнул для верности. – Так, чуть-чуть… – Но это была скорее память о боли, чем сама боль. Размотал тряпку, смахнул размочаленную траву: припухлость на лодыжке почти исчезла. Странно, в городе с такой травмой просидел бы на больничном не одну неделю, да еще с тросточкой таскался бы в поликлинику на рентген.

Все было странно: и чудом спасшийся, какой-то новый Лучезар, и это непонятное отсутствие голода… Опять наплывало ощущение нереальности.

И это *становье*, где кроме них – никого. Ничего?

– Ну, пошли, – Лучезар повернулся, – заселим тебя.

– Под куст, что ли? – пробурчал Рыжий. Двинувшись следом, различил у опушки что-то вроде груды строительного мусора; по мере приближения в ней стали угадываться очертания какого-то низенького строеньица. – А, так там домушка у вас? Выходит, все же надо где-то жить?

– Надо, надо, – не то подбодрил, не то посочувствовал Лучезар. – Тебе еще надо…

В домушку Рыжий заселялся ползком. Она оказалась лачужкой, шалашом, крытым кусками битого шифера и обрывками рубероида, накиданными на деревянный каркас. Кровельного материала строителям не хватило, прорехи закрыли лапником. Но хоть какая-то крыша. Рыжий даже ощутил нечто вроде жалкого умиления, словно нащупал хоть какую-то опору в зыбкости мира. Развернулся внутри на четвереньках, стараясь не стукнуться головой. Удивился, что вместо жердей использовались здесь какие-то обгорелые доски и обломки брусьев с загнутыми ржавыми гвоздями.

– Из деревни, – пояснил снаружи Лучезар. – Разобрали там малость..

– Охота была таскаться. В лесу жердей бы нарезали.

– Лес живой, чего его попусту резать?

– А лапник ломать не жалко? – не удержался Рыжий.

– Ветка не дерево. С каждой елки понемногу – не страшно.

– Выходит, дерево резать нельзя, а чужое ломать можно.

– Так пустая деревня-то.

– Разъехались, что ли?

– Кто разъехался, кто как.

Пустая… Рыжий вдруг ощутил себя Ниф-Нифом в соломенном домике, окружающий мир волком скалился снаружи, припав на передние лапы.

– Рейдеры? – спросил он севшим голосом. Он видел только ноги Лучезара; тот не ответил, может, кивнул. Или не расслышал.

– Все равно, – цеплялся Рыжий, сам не знал за что, – там же дом чей-то, хозяева где-нибудь…

– Нет дома, сгорел. И хозяев больше нет никаких. Вообще нет. У кого ствол, тот и хозяин.

– Ну не везде же!

– Везде.

– Не может быть! Это у вас тут все… не как у людей! – Слова выплеснули сами, он пожалел, но клапан уже сорвало. – Стволы, рейдеры, деревни пустые… трупы на опорах вешаете!.. Не жизнь, а… бред какой-то! («Фоллаут», – едва не сказал.)

Лучезар присел у входа на корточки.

– А у вас по-другому? Как у людей? – спросил он легко, и Рыжий натолкнулся на эту легкость, как на стену. Словно и не было разговоров

про отшибленную память Рыжего, словно знал Лучезар с самого начала, просто играли оба в игру, а игра и кончилась.

– У нас все нормально, – не знал, что еще сказать.

– Ну да, ну да, – покивал Лучезар. – То-то от вас рейдеры и лезут. От счастья, надо быть.

– При чем тут рейдеры? Это у вас они тут…

– Так у нас-то они откуда? От вас и лезут, как тараканы в щель.

– Да что значит «от нас»? Говоришь, будто я из другого мира…

– А так и есть. Только нет у вас никакого мира.

– Как нет? Куда ж он делся?

– А сгрызли. Теперь друг за друга взялись. Вот дожрете, и…

– Постой… ты сам-то понимаешь? А я тогда откуда? Ну, экология, ясно, цунами там всякие… то самолет упадет, то тряхнет где-нибудь, ну, цены растут – жизнь не сахар, конечно… Но жить-то можно. Ну газ взорвется, террористы опять же… Да вообще отморозков разных хватает, но чтоб так вот – деревни жечь?.. Нет у нас такого! И электрички ходят...

Чушь какая-то, поразился себе Рыжий. Какие электрички? Ржавые рельсы – сам же видел, щупал! С чем спорит? что доказывает? – не знал уже.

– И никто не жрет никого… – добавил без уверенности.

Лучезар подумал.

– Значит, не застал еще.

– Как не застал?

– А выпал вовремя. Путь тебе такой.

– Выпал? – пробормотал Рыжий. (Вспомнился прыжок из электрички, гул в ушах…) – Из мира, что ли? А когда выпал, он и рухнул? И друг друга жрать стали? После меня, так понимать?

Лучезар отмахнулся с досадой.

– А нечего понимать. Смирись, и все. Не ты первый.

– В смысле? Еще кто-то… выпал? Тоже из электрички?

– Дались тебе эти электрички. Нет, этот из болота вылез..

– Это как?

– Любил по лесам на велосипеде кататься. Закружил между болотин и решил путь срезать. Там, дескать, всего ничего было перейти-то. Он и перешел почти, да с головой и ухнул. Велосипед утопил, но тот его и спас. Успел от рамы оттолкнуться, уцепился за ветку, выполз. На становье набрел. В начале лета это было.

– Так он здесь?

– Не прижился. Сперва-то понравилось, даже не больно удивился. Решил, мы тут медитациями занимаемся на природе. Особенно насчет травки, питания нашего, одобрил. Я, говорит, сам вегетарианец и сыроед, и в Интернете у меня подписчиков тьма, опытом делюсь, помогаю продвигаться. И давно подозреваю, что есть вообще необязательно. Вот соберусь и тоже брошу. Пожить бы тут с вами, да в понедельник в город надо на работу. А уж как неохота! Так все обрыдло, все текучка да суета, а жизнь проходит, а хочется другого, просветления, значит. Я, мол, чувствую, что созрел, и то, что из болота спасся и к вам попал, – это мне знак. Надо вот только усилие сделать, паутину стряхнуть. Лет под сорок ему, говорливый, смазливенький такой. И имя этакое – Божен. В кино, говорит, снимаюсь, в массовках пока, но роль давно обещают, вот-вот дадут. Говорит-говорит, а сам расческу достанет и глазами туда-сюда – во что бы поглядеться. Да откуда у нас? У него-то зеркальце было, да в болоте потерял. Пальцами пробор нащупает и расческой разведет. Скучал он по зеркальцу-то...

– Да черт с ним, с зеркальцем! Дальше-то что?

– Вот я и говорю, – с нажимом повторил Лучезар, – скучал он по зеркальцу. По отражению своему, значит. А пуще по суете скучал. По миру своему. Оттого и не поверил, что нет его больше. То ли за шутку принял, то ли за притчу какую, а может, нас за сумасшедших. Ну, чего ж спорить…. Стал он возвращаться. На другой день попрощался, пошел к шоссе с утра. Ночью вернулся, сам не свой, видно, что уже и нас ему боязно, да одному – еще страшней. Травки с нами пожевал, водички попил и между делом так: ну и места у вас тут. – Какие места? – Да уж больно дикие, говорит, и ждет, что скажем. А что тут скажешь – так и есть, заживает природа, затягивает раны, и слава богу. Он бы еще спросил, да боится опять услышать, что нет больше его мира, кончился. Поверить боится. Только спросил, чего костер не разведете? – А зачем, тепло же. Но если замерз, разведем. – Да нет, говорит, не надо, так даже уютнее.

– А что он видел, спросили? Почему вернулся?

– Чего спрашивать, и так ясно. Из леса выбрался, дошел до трассы по грунтовке, там деревня горелая, за ней еще такая же. Из шоссе трава лезет, но следы, может, и видел свежие. Пошел по трассе машину ловить. Повезло, что не поймал, а то бы точно не вернулся – по первому теплу они часто ездили, оголодали за зиму-то. Дошел до развилки, а там труп на висит… ну, что еще вороны не растаскали. Вот и вернулся.

– Он про рейдеров знал?

– Сказали, да ведь сразу как поверишь? А тут этот труп, да птицы… видно, проняло его. Только, думаю, не в страхе одном дело. Путь его вернул, удержать пытался, направить. Но не сдюжил Божен, не внял. Сбежать хотел. На другой день опять ушел. К вечеру вернулся – смурной, тихий. Сныти пожевал и просит: между лопаток что-то чешется, не глянете? Глянули, ссадина, небольшая – видать, когда из болота вылезал да по лесу шарахался. Сейчас, говорим, Синец живицей намажет или травку какую приложит – он спец по этой части. Только Синец ему не глянулся – на врача никак не похож; видать, побоялся, что заразу ему какую-нибудь занесет. А йоду, говорит, нет у вас? Ну какой у нас йод. А ладно, само зарастет. И еще усмехнулся, грустно так: это у меня тут с вами крылья стали расти. Мы еще подумали – это он шутит так, от неловкости, чтобы сгладить, значит…

Наутро мыкался по становью, тусклый, нечесаный. Про расческу забыл уже. От сныти отказался, не лезет, мол, чего-то хочется другого... не сказал, чего. Такой вот сыроед. Ну, авокадо с бананами у нас не растут. За пару дней он совсем с лица спал. Глаза ввалились, щурятся, словно затаились. И все между лопаток поскрести норовит, со смешочком: гляньте, крылья еще не показались? – Да ничего, подживает, не чеши только, зарастет.

Опять засобирался, про дороги стал спрашивать. Будто мы сюда по дорогам приехали и по ним вернуться можно… Мы ему: не ищи чего нет, смирись, а там – жизнь подскажет. Он вздохнул: может, и правда, остаться, не дергаться?

Но опять его как шилом в задницу: да вы что, ребята! У меня работа! Без меня форум чахнет, посещаемость падает! В пятницу массовка, не дай бог пропущу, да и роль другому отдадут! Хоть тресни, а надо выбираться! На железную дорогу пойду – она-то точно работает, поезда даже в войну ходить должны. Приободрился так, расческу достал и по волосам заерзал. Будто с волосами морок из головы выдирал. Вот, мол, дела все подчищу, отпуск возьму и сюда к вам, с нужным настроем, значит. Вы еще тут будете?

Так ничего и не понял.

Вернулся через сутки, умотанный, палка при нем сучковатая, вроде тросточки, значит. На лапник бухнулся. Травку будешь, спрашиваем, или поел уже? – А вы как догадались? Рот потер и за расческу, пух из волос вычесывать. Да что там пух, запах от него…

Гнездо нашел, спрашиваем, птенцами оскоромился? Он только рукой махнул: сами же говорите, весь мир рухнул, что уж тут до птенцов каких-то. Устал я от травы, есть хочу, а тут на гнездо набрел. Жизнь подскажет – ваши же слова? Вот и подсказала… И палкой своей спину чешет, там сучок торчит, как раз для удобства… Давай, говорим, спину все же помажем. Он рубашку с плеч стянул, там разодрано в кровь. Потерпел бы чесать-то, корке зарасти не даешь. Так зудит, говорит, как тут утерпишь… будто клещ какой впился.

Утром встал – блеск в глазах. Пойду, мол. Мы не спрашиваем, он бормочет сам себе: выберусь, все равно выберусь, я упертый, я теперь знаю, куда надо идти. И травы вашей не надо, сам добуду… И клюкой своей, сучком, чешет между лопаток: там точно клещ, говорит, я чувствую. А рубашка на спине уже прорвана и на кровь липнет. Давай еще помажем. – Чего клеща мазать, черт с ним, дотерплю, вечером дома буду, пусть его в поликлинике вытащат по всем правилам. Я теперь знаю, куда выбираться. И ушел, и с концами.

– С концами? А куда, неизвестно?

– В болото. Клюку его там нашли, которой чесался.

– В болото? – растерянно переспросил Рыжий. – Совсем?.. Ну в смысле… а не мог он велосипед вытащить и на нем уехать?

– Один-то? Мы втроем насилу подняли – еще на второй день, пока он на шоссе ходил. Полдня шестами тыкали да тащили… проверить, не врет ли. Не соврал. Только не уедешь на этом велосипеде никуда – ржавый весь, колеса не крутятся. Так и бросили назад.

– Когда же он успел заржаветь? Ты же говоришь – на второй день…

Ржавые рельсы, с тоской подумал Рыжий.

– Может, все же выбрался?

– Может, и выбрался, – пожал плечами Лучезар. – Куда вот только? Клюка концом на кочке лежала, и мох разодран. Цеплялся, видать, сучком-то…

– Что ж вы его отпустили, не удержали?

– Зачем? Мы же видели – он от нас убегал, будто проснуться пытался. Будто выйдет он на железку, а там тебе поезда да электрички – пожалте садиться. Не мог он здесь оставаться. Ну, не нам судить.

– Да чего тут судить – то него крылья режутся, то клещ… Ясно же, человек не в себе.

– Ясно? – Лучезар смотрел чуть не с жалостью. – Ничего тебе не ясно.

– А тебе?

– А мне ясно, что чуял он, душа его чуяла. И то, что на болоте выжил, и что в становье попал, и про крылья – это все не зря. Удержись он на пути, может, и были бы крылья. А так… отступился, сошел – вот и вышел клещ.

– Вместо крыльев? Клещ? – поразился Рыжий.

– Вместо, не вместо – не знаю. Вроде клещи тоже с крыльями бывают, лосиные, что ли... Да тут тебе школа, не кабинет биологии, тут всего жди.

– Так он вправду был? Чего же не вытащили?

– Нельзя было вытащить, рано. Не созрел он еще, не явился.

– Постой, постой, – совсем запутался Рыжий. – В каком смысле «не явился» – не материализовался, что ли? Как же ты его увидел?

– Не я. Рано мне видеть. Надежда увидела. Она может.

– Надежда? Экстрасенс, что ли? У вас и такая есть?

– Надежда всегда есть… И сейчас, если оглянуться.

Рыжий высунулся из шалаша.

К ним шла невысокая женщина в обвисшем свитере и застиранных до серости брюках милитари. Слишком просторная, словно с чужого плеча, одежда колыхалось при ходьбе, ноги в сбитых ботинках ступали с такой невесомой легкостью, будто земная твердь сама стелилась ей навстречу. Женщина остановилась перед шалашом, и на какой-то миг Рыжему почудилось, что воздух потускнел, словно на солнце набежала тучка. Женщина стояла неподвижно, а ее одежда все колыхалось на фоне поблекшего леса, будто на неощутимом ветерке, сливаясь с дрожью померкшей листвы. Ему почудилось: она просто одета в листву или погружена в этот лес, как часть его, как дерево, принявшее человеческий облик.

– Кутенок, – вздохнула она, как над малым ребенком, – ну прямо кутенок в конуре!..

Провела рукой по волосам Рыжего, он не успел отстраниться.

– Чего это?.. – пробурчал он и сам испытал жалость к себе, за свое беспомощное ворчание, за этот нелепый шалаш, куда он забился и теперь по-собачьи, на четвереньках, выглядывает, за внезапное желание прильнуть к этой руке, легкой и теплой.

– Не кутенок, выше бери, – хмыкнул Лучезар. – Лис матерый, Елисей… да.

– Лисенок, – вздохнула женщина. – Отбился, малыш...

– Еще как отбился – дым столбом.

– Отбился, да не прибился. – Женщина опустилась перед Рыжим на корточки, как делают взрослые, общаясь с детьми. – Что, не отпускает старый мир? От него пистолетом не отобьешься, а?

Ее лицо вблизи ускользало, словно прячась в тенях мельтешащей листвы. Волосы, плотные, серые какой-то металлической, не старящей ее сединой, давили на плечи тяжелыми пластами. Глаза бледно-голубые, как просветы в листве, – тянуло смотреть в эти глаза. И тогда лицо уходило совсем, казалось, он смотрит в пустоту, гулкую, влекущую, и вот-вот пронзит ее взглядом насквозь и увидит… поймет…

Ударила мысль, что эта женщина – иллюзия. Мираж, на фоне которого этот нынешний мир вокруг обретает устойчивость, становится реальностью. Но тогда прежний, родной его мир… Он поймал себя на том, что впервые подумал обо всем, что была до электрички, как о чем-то не просто былом – несуществующем. Он словно падал, падал – глаза этой женщины, в гулкую пустоту...

Оторвал взгляд.

Лишь зыбкое марево перед глазами – дрожание воздуха? листвяной озноб?..

– Что это?.. – он повернулся к Лучезару. – Где…

Лучезар исчезал. Рыжий видел лишь контур стоящего над ним человека, фигуру, слепленную из тени. Она еще сохраняла объем, но он не различал ни лица, ни складок одежды. Тень колебалась на фоне листвы, и листва уже проступала сквозь нее.

Лучезар – то, что осталось от Лучезара и растворялось, исчезало на глазах, – протянул руку в успокоительном жесте. Рыжий отпрянул, рука

замерла в воздухе, но что-то коснулось его лба. Он ударился затылком о брус, и тень стала светом, и в мгновенной вспышке он увидел обоих, Надежду и Лучезара, их склоненные лица в солнечном ореоле, такие светлые и прекрасные, каких не бывает у людей. Его сердце захлебнулось тоской; они не могли быть ничем иным – только видением.

Рыжий зажмурился. Теплая ладонь уже легла ему на веки.

– Не бойся, Лисенок. (Надежда – ее голос, ее ладонь.) Только не бойся. Не открывай глаза…

Он и не хотел.

– Не открывай, не спеши… – Голос шуршал, как листья на ветру. Он попытался вспомнить ее лицо, каким оно привиделось в полыхнувшей вспышке, и не смог, и защемило в груди несбыточным, зовущим. – Главное, не бойся. Иначе упадешь. Просто прими.

– Но я не знаю, что…

– Все. Все прими – и поймешь.

Да, он, кажется, понимал… затаившись вот здесь, в темноте, под ее теплой ладонью, – понимал. Но стоит открыть глаза – мир вернется. Чужой мир.

твой мир, – прозвучало? подумалось? *теперь твой. прими*

– Вы здесь? – спросил он. – Куда вы исчезали? Что с вами было?

– Не с нами, с тобой, – сказала Надежда. – Ты испугался и потерял нас. Чего ты испугался?

Безумия, подумал он.

– Я смирился, – сказал он вслух.

…с безумием? Какая разница. В конце концов любой из этих двух миров – прошлый и нынешний, – безумен, если смотреть из другого. Все дело в том, где ты сейчас, который из них принимаешь своим. Эта мысль была тоже безумной, но в ней скрывалась какая-то абсурдная, непостижимая правота. Выбирай любой?.. Рыжий едва не рассмеялся. А у тебя есть выбор?

– Я принимаю, – проговорил он.

– Открой глаза, – Надежда отняла руку. – Теперь можно.

Они были здесь, те же, словно и не исчезали.

– Ты сказала, что я упаду… куда?

– Туда, откуда поднялся. Откуда нас не видно. Ты начал соскальзывать, назад, к себе прежнему, и зрение стало меркнуть.

– К прежнему? Лучезара я вижу так же, как и раньше…

– Потому что вы оба изменились с тех пор, как встретились, – кивнула Надежда. – Поднялись – оба, вместе.

– «Поднялись» – это в смысле продвинулись? к свету, что ли? Но почему – я и не думал ни о чем таком…

– Опять за свое, – вздохнул Лучезар. – Если б ты думал там, на вырубе – там бы и остались оба.

– Погоди, – не поспевал Рыжий. – С тобой ладно, ты хоть знаешь, куда стремишься, не ешь вот… непротивление у тебя и все такое. Убивать тебе нельзя – ты и не стал, сам на ствол пошел. Ну, и просветлился, тут хоть понять можно… Но я-то в человека стрелял, может, убил даже! Это же грех – какое тут просветление?

– Грех, не грех… – проворчал Лучезар. – Умствуешь все, правил ищешь. По-твоему, решил только: буду делать так, потому что так правильно, – и к свету придешь?

– А как же еще – не вслепую же?

– Не от поступков свет, – сказала Надежда. – Поступки от света. Свет путь тебе озаряет, чтобы не заплутал на развилках. А путь у каждого свой, и вдаль его не разглядишь – дай бог под ногами, сейчас не оступиться. И правил нет, лукавы они: сегодня помогут – завтра обманут. И что сегодня грех – завтра долг, а может, и подвиг – по пути твоему.

– Выходит, то, что я стрелял, – это подвиг? Оттого я поднялся?

– Подвиг или нет, сам поймешь, когда сможешь. А поднялся ты не от него. Наоборот – на ступеньку встал, где смог это сделать. Я же говорю – свет нас зовет, путь указует.

– Не видел я никакого пути, – понурился Рыжий, – не помню такого. И как пистолет схватил, до сих пор не пойму. Я и стрелять-то не умею... И себя-то не помню… только больно было, жутко. А ты говоришь – свет.

– Свет жестокий бывает. Не ты – он в тебя смотрит, И не отвернешься, не спрячешься. Глаза закроешь – душу знобит.

Да, подумал Рыжий, он видел такой свет – там, на вырубе, когда выл на солнце.

– Вот и короток миг, – продолжила Надежда, – чтобы не ослепли совсем. Полыхнет – и погаснет, но хоть и искра да останется. Ты дальше идешь, а она тлеет, пусть малым светлячком – а все виднее.

– Виднее? Но тебя… – Рыжий помолчал в нерешительности. Что-то все же было не так: силуэт Надежды то являлся четко очерченным, то подергивался дымкой, словно подрагивал на ветерке, и сквозь него опять проступал трепет листвы. Но стоило сместить взгляд в сторону, и ясно виделись застывшие в безветрии ветви кустов и подроста, и поверх – густая масса чащи, тяжелая и непроницаемая, как занавес. – Тебя вот я вижу как-то не очень… почему?

– Раньше бы ты ее совсем не увидел. Далеко она – нам брести и брести, – незнакомая грусть просочилась в голос Лучезара. – А добредем, ее уж и там нет.

– Не загадывай, – мягко отвела Надежда. – Своего пути не знаем, за других подавно.

– Как же так, – затосковал Рыжий, – вы все: путь, путь – а сами его не знаете. Как же идете?

– Так и идем – по шажку, по искорке. Так и тебе идти, назад-то дороги нету.

– Нету – в смысле…

Рыжий запнулся, страшась вопроса, его бесповоротности.

– Так я уже не вернусь?

Они молчали.

Молчание – все же лучше, чем «нет», подумал он. Но лица обоих были обращены не к нему. Оба смотрели куда-то в сторону – словно кроме них на тесном лесном пятачке возник кто-то еще, и он говорил, а они слушали. Но Рыжий, как ни вглядывался, никого не увидел.

– А теперь спи, – сказала Надежда.

Они с Лучезаром вновь смотрели на Рыжего.

– Тут кто-то еще?..

– Странник.

– Он все время был здесь? Он еще?..

– Спи, – повторила Надежда, поднимаясь. – Тебе надо много спать.

Рыжий заполз в свою будку.

Рыжий проснулся в потемках: кто-то, присев у входа, смотрел на него.

– Не спишь? – Голос тусклый, незнакомый. – Поболтаем?

Рыжий выбрался из будки.

– Привет, вообще-то.

В непоздних еще сумерках разглядел лицо незнакомца, жесткое, упрямое.

– Привет… Лис. Как самочувствие?

Незнакомец говорил с некоторой заминкой, словно подбирая слова попроще. Это раздражало и настораживало.

– А ты кто?

– Я-то?.. Я – Илия.

Он произнес имя медленно, по слогам, и прозвучало странно – не то потаенным вопросом, не то каламбуром. Может, надо улыбнуться, подумал Рыжий. Но взгляд собеседника застыл на его лице, холодный, колючий, как у птицы, готовой клюнуть.

– Илья? – переспросил Рыжий, скрывая замешательство.

– И-ли-я. Мое имя – Илия, – повторил новый знакомец с тихой многозначительностью. – Теперешнее имя.

– А, да, вы же имена себе новые берете. А прежнее какое, если не секрет?

– Илья.

– А это не одно и то же? – осторожно спросил Рыжий. – Ну, по смыслу то есть.

– По смыслу-то одно – «сила божья, крепость господня»… Мне это раньше нравилось. – Илия скупо усмехнулся. – «Крепость», «сила» – чего еще желать, верно?

Рыжий кивнул. Илия был пониже Рыжего, в свободно болтающихся джинсах и футболке с длинными рукавами, махрящимися на концах. Крепышом он не выглядел, но в расслабленной позе чудилась какая-то взрывчатость и застывший птичий взгляд вызывал опаску.

– Дальше-то не вникал. А оказалось, внутри смысла – еще один смысл. Знак.

– Знак?

– Ну да. В одном слове два спрятаны.

– Так два и есть, ты же сам перевел. Имя-то еврейское, из Библии вроде.

– Какая разница – из Библии, не из Библии? Я-то русский, что ж мне, свое имя по-еврейски читать, что ли?

Рыжий не нашел что ответить.

– А по-русски, – продолжил Илия, – в моем имени вопрос спрятан. Слышишь?

– Слышу, – признал Рыжий. – Только не пойму, в чем же вопрос. «Или я» – в смысле ты – кто? Или – что? То есть ты – не тот, кем кажешься или кем себя считаешь? А кто же тогда?

Илия молчал, будто сам ждал ответа.

– Есть хочешь? – спросил он вдруг. – Орехи пошли, уже есть можно.

– Орехи?

– Тут недалеко, покажу, – и, не дожидаясь ответа, устремился в чащу.

Едва поспевая за ним, натыкаясь в лесных потемках на кусты и ветки, Рыжий, никак не мог сообразить, зачем он пошел за этим странным человеком, источающим, казалось, запах угрозы, – чтобы не выказать страха? Не за орехами точно – голода он по-прежнему не чувствовал. Или это его ум, о котором без конца твердит Лучезар, при первом упоминании о еде толкнул тело к кормушке?

– Не бойся, – словно прочитал его мысли Илия. – Нормально все.

– Чего это? – буркнул Рыжий, продираясь сквозь какие-то заросли. Но тот словно не слышал.

– Все нормально, – приговаривал Илия, – все путем. – Он проворно огибал кусты и вовремя подныривал под низкие ветки, видимо, хорошо знал здешний лес, и голос его звучал благодушно, как у стоматолога, заверяющего, что больно не будет, ну, может, совсем чуть-чуть. – Немного осталось. Нога не болит?

Нога будто услышала, заныла в голеностопе.

– Ты скажи, если что. Можно и вернуться. Правда, не всегда туда, куда хочешь.

От этой дурацкой многозначительности, от бестолковой гонки через чащу Рыжий ощутил себя полным идиотом. Он готов был взбунтоваться.

– Пришли.

Остановились. Впереди было что-то вроде полянки, усеянной тусклыми лужицами, от них потягивало гнилью. При взгляде на эту тихую темную воду, местами прикрытую ряской, у Рыжего заныло в груди; он понял, что пришли на болото.

– И где орехи? – прозвучало грубее, чем он сам хотел. Но Илия не обиделся.

– А вон, – ткнул пальцем в сторону, – лещина, по краю. Там много. Не провались только. Хочешь, нарву?

– Не хочу.

– Ну ясно, не хочешь.

– Думаешь, боюсь болота этого?

– Не болота, меня боишься.

– Да с чего ты взял?

– Да ладно, не ты первый. Я привык, раньше даже нравилось, да и бизнесу на пользу было. А здесь уже ни к чему.

– Это что ж за бизнес – людей пугать?

– Бизнес как бизнес. Урегулирование конфликтов, если просто сказать.

– Рэкет, что ли?

– Уж сразу и рэкет. Нет, мы клиентов не искали, они сами к нам приходили. Антирэкет скорее.

– Благородный бизнес, значит. И в чем суть?

– А в том, что если ты не дурак и не шибко нервный, то всегда можно заставить человека задуматься. Тут главное – первый запал сбить, пока он дров не наломал. А дальше и поговорить можно.

– Так ты бандитов словами вразумлял?

– Я же говорю – если ты не дурак и не шибко нервный… – повторил Илия медленно, с нажимом.

Подождал.

– Вот ты и задумался, не задираешься уже. Я, конечно, не депутат с языком по колено, но тут много слов и не надо. Главное – сомнение вселить в человека: чтобы почувствовал – стена перед ним, не ушибиться бы.

– Ты что, один этим занимался?

– Когда как. Но и ребята были, тренировались вместе.

– Так ты рукопашник? – догадался Рыжий. – С поясом небось?

– Были и пояса, по молодости гнался. Только пустышки это все – пояса, даны, сертификаты всякие… Вроде бирки, чтобы продаться подороже. А я в сенсеи не рвусь, очередную школу изобретать не собираюсь, мне эти фантики ни к чему. Да понимающего человека этим и не купишь. Я серьезного бойца и так сразу вижу, а он – меня. А на стрелках да терках – все эти звания по барабану, там стена нужна. Я и был стеной.

– «Крепость господня», – кивнул Рыжий. – И что, бандиты так сразу и отпадали?

– Не сразу, конечно, разве что совсем мелкота. Как первый пыл собьешь, базар начинается – а вы под кем, да знаешь того, да сего, да ваш клиент по всем понятиям козел последний… Но это уже другая стадия, вялотекущая. Тут от клиента зависит заручками обставиться – в полиции ли, ФСБ, или у других бандитов – уж где ему ближе. А то и мы подскажем, кому занести. Так и жили. Не бедствовали, в общем, но и не наглели – брали разумно.

Илия присел на облепленный мхом пенек.

– А потом? – Рыжий понял это как приглашение к разговору, пристроился на поваленном стволе напротив.

– А потом как обычно. Во вкус вошли, в клиентов впиваться начали, в бизнес влезать. Только там свои игры, да и времена уже не те, и бизнес стал позубастее. Кто половчей, сумел зацепиться, кто попроще – сжевали. Тот сел, этот скололся... Разбрелись, в общем.

– А ты?

– А мне скучно стало.

– Что – бизнес?

– Вообще все. Вроде чего-то хочется, а чего, уже и не знаешь. И все вокруг чего-то хотят, все за чем-то гонятся, пихают друг друга, хватают, хватают... И я хватал. Была у меня мечта, с детства еще, – белый «мерседес», – ну, купил, поездил – уже и неинтересно. Квартира – заказной дизайн, мебель итальянская… ну ладно, а дальше что? Ага, все дома строят, за городом, – дай и я. Уже и участок присмотрел с домишкой под снос, архитектора нашел… Катилось как-то, по инерции… да и ухнуло. Надежда пришла. И ушла.

– Надежда?

– Ну да, да, – с нетерпением проговорил Илия, – Надежда, жена моя. Та самая – с тобой говорила.

– Так как же ушла, если она тут?

– А я за ней пошел.

III. Илия

Мы как познакомились? Я давно цигуном интересовался, а тут как раз моды пошла на все китайское. И в спортивном клубе, который у нас вроде базы был, мы его опекали, – надумали набрать группу тайцзицюань для чайников. Набрать набрали, а с инструктором что-то не сложилось. Меня и упросили выручить на пару занятий, пока другого найдут. Там ее и встретил.

Тайцзи – штука для драки бесполезная, чтобы на улице применить, надо не один год заниматься, зато смотрится красиво – движение медленные, плавные, как в танце, и названия форм загадочные: «дракон выходит из воды», «аист расправляет крылья», «облака обнимают луну». Женщинам нравится. Они на занятия как на смотрины ходят, во всей красе – штанишки в обтяжку, купальники с колготками. А Надежда в какой-то майке балахончиком, брючки свободные, видно, не особо выбирала, надела, что подвернулось, как в лес за грибами.

Я первые формы показываю, они повторяют – шаг, откат, «поглаживание гривы». С виду ничего сложного, но ни у кого, конечно, не выходит. Тайцзи штука такая, там не в движениях дело, а в том, что их направляет, во внутреннем ощущении – особой легкости, покоя. Не мешать ему – самое трудное, годами учатся. Но чтобы не мешать – сперва услышать надо. Про то горы книжек написаны – гармония, пустой ум… – Илия махнул рукой. – В общем, все зажатые, а она больше всех, хотя видно – старается. Может, думаю, из-за одежки комплексует, фигуры стесняется – пухленькая такая, взбитая, хотя роста невеликого и тяжелой не кажется. Короче, подошел я к ней и стал легонько движения подправлять, за локоть взял. Она еще больше напряглась, засопела и локоть выдернула.

– Щекотно! – говорит. Смотрит на меня, и в глазах смех, как у девчонки. А дама не сказать чтоб юная.

Я, не подумав, ее опять за локоть беру – есть у меня такая черта баранья, я ее за собой знаю и обычно давлю, но тут что-то задел меня ее смех.

– Нет, вы лучше так скажите! – Она опять руку выдергивает и краснеет, как школьница. Как будто я пацан и руки распускаю.

А смотрят на нас.

– Хорошо, – говорю. – Постарайтесь расслабиться, освободите ум…

Ну, и все такое – что уже раз десять тут говорил и опять твержу как попугай. Глуповато как-то. Но надо же китайскую невозмутимость проявлять.

– Ладно, – пытаюсь по-другому, выдумываю на ходу, – давайте так. Толкните меня. А теперь еще раз – только как бы не сами, а представьте, будто это вообще не вы, а что-то иное, невообразимо сильнее нас с вами, перед чем мы пылинки, – толкает меня через ваше тело. Услышьте это, впустите силу в себя – она сама все сделает.

Понимаю, что без толку, но как еще скажешь.

– А что представить? – Она смотрит серьезно, старается вникнуть. – Что это за сила?

– Ну, скажем, Космоса. Или Земли.

– Земли? Земля должна вас толкнуть?

– Ну да. Толкайте. Смелее. – Вижу, пора заканчивать, затянулось уже. – Ну, как хотите.

В глазах у нее что-то изменилось, я не успел понять. Она толкнула – я бы улетел, наверное, если б не рефлексы. Успел повернуться, и вскользь прошло, но все равно мотнулся.

– Вот, уже лучше! – киваю, сохраняю лицо, сам думаю: хорош наставник, чуть на полу не оказался от бабьего толчка – то-то реклама клубу. – Занимайтесь, и дело пойдет. Ну, продолжим…

Веду занятие, пытаюсь понять, что это было. На нее не смотрю, но как не смотреть, совсем же не отвернешься. А я периферию хорошо вижу, бойцу без этого никак. У нее по-прежнему ничего не получается – движения такие же деревянные. А я еще след от толчка чувствую, не на коже, внутри. Ощущение такое, будто ее ладони сквозь ребра прошли и чего-то там шевельнули. Лицо ее маячит по краю зрения, белое, облачное какое-то – не женское, девичье лицо. Чудится в ней растерянность, а может, кажется мне.

После занятия в вестибюль вышел – и она из раздевалки…

– Случайно, – догадался Рыжий.

– Ага, – Илия не захотел заметить иронии. – Улыбается, словно я ей тут свидание назначил. Я поинтересовался, как занятия, не тяжело ли. Нет, отвечает, все нормально. А та штука, с толчком, – вообще что-то особенное, так странно… ну, вы понимаете.

– Да, разумеется, – делаю вид, что понимаю, – но тут важны ваши ощущения.

– Ну, я как бы потеряла тело... В него вошло, хлынуло – через ноги, в позвоночник, так ярко, остро… и толкнуло. Как будто я не сама толкнула – я лишь присутствовала, а тело… Тело было не моим.

– Хорошо, – киваю. – И чьим же оно было, кому принадлежало?

– Как – кому? Вы же сами сказали – Земле.

И смотрит растерянно. И вижу, не врет.

Вот так, думаю, – можно полжизни заниматься всякими практиками, и книжки читать, и самому обучать, и рассуждать об энергетических каналах, боевых трансах и прочих таких диковинах – и ничего не ощущать. А тут…

– Как ничего? – не понял Рыжий. – А всякие там прана, ци? У вас, у восточников…

– А, – отмахнулся Илия. – Я по молодости тоже все ждал, по ночам на звезды медитировал, – вот сейчас наверху краник отвернут, канал откроется, и хлынет… Потом понял, разговоров больше, сказок красивых. Не то чтобы совсем ничего такого – медитация, конечно, штука хорошая – нужный настрой создать, тело ощутить, релакс опять же. Когда в это углубляешься – сам себя убеждаешь, вроде и вправду начинаешь чувствовать что-то: тепло там, или холодок, или ладони покалывает, но чтобы всерьез… лажа все это. И с бойцами сколько ни говорил – с реальными бойцами, не теоретиками, – то же самое. Спорить никто не спорит, может, что-то такое и есть, книжек же вон сколько понаписано... Но полагаться на это смешно. Нет – тренировка и только тренировка. Ну и практика, само собой. А остальное – упаковка, фантики для лохов… Так и привык. А тут – на тебе: какая-то дамочка со скуки забрела в зал и так, между делом, к Земле подключилась, как фен в розетку воткнула.

Думаю, может, слишком внушаема? Не в себе малость или что-то такое? Да нет, не похожа она на ущербную и уж точно не восторженная дурочка. Взгляд чистый, спокойный. Сама полновата, оттого и платье свободное, но собой очень даже ничего. Бледновата, правда, – лицо тонкое, прозрачное, как облачко в погожий день… Да и что бы она там ни навыдумывала, толчок-то я на себе ощутил. До сих пор ощущаю.

– Расскажите, – говорю, – еще, подробнее.

– Ну… это как вспышка, только не слепящая, а наоборот. Я, кажется, каждую пылинку в воздухе видела, каждую клеточку ощущала – в себе, в вас…

– Во мне?

– Ну да, – она смешалась, будто что-то лишнее сказала. – Показалось, наверное….

– А сейчас, – спрашиваю, – сейчас что-нибудь чувствуете?

Она смотрит на меня, и взгляд такой, будто теперь я неловкость сказал.

– А вы? Вы не чувствуете?

– Вот так и… – Илия махнул рукой. – Встретились, в общем.

Она тогда с весом боролась. Уже перепробовала аэробику, фитнес, бодифлекс, диеты всякие. К нам пришла по объявлению в газете: там помимо всех прочих плюшек обещалась «коррекция фигуры и веса». Но и тайцзи тоже не привилось – результат нескорый, да и не по натуре ей все эти китайские тонкости, скучно. Тут я ее понимаю, сам проходил, разные школы пробовал: от джиу до киокушин, китайские стили, вьетнамские... Любая система хороша до поры, но ни одна не окончательна, не рассчитана на конкретного человека. И если человек серьезный, то рано или поздно доходит до края, за которым никто из наставников ничего ему больше дать не может, – дальше только сам. Не все, конечно, доходят, мало таких, да и не каждый из них решится дальше двигаться – боязно в одиночку, мало ли куда забредешь. Еще вернешься ли. Проще в системе остаться, все привычно, отлажено – и ты хоть и винтик, да не из последних. Вот и копят свои даны, смешивают старые школы под новыми вывесками, обставляются учениками…

– А ты дальше пошел? – не утерпел Рыжий. – За край?

– Может, и пошел бы, да не успел. Повели меня.

– Кто повел?

– Надежда. Она и повела. Вот и завела… – Илия замолчал, прислушиваясь к своему, усмехнулся себе же в ответ. – Но это уже потом…

Переехал я к ней, в ее двушку, от развода осталась. Они с мужем по-людски разошлись, он ей чего-то оставил, да еще в одной его рекламной фирмочке числилась, дома тексты сочиняла, переводила. Сыну ее лет двадцать было, сам крутился, жил отдельно с подругой, забегал иногда. Я тоже один, дети при бывшей жене, да взрослые уже… В общем, переехал.

Даже странно – время кругом подлое, а нам хорошо было, спокойно. И дела мои в этом времени шли неплохо.

Я ей предложил: у меня квартира побольше, давай переедем ко мне, а хочешь – сменяемся на одну. Отнекивается:

– Я там все переделать захочу, на свой лад.

– Так переделывай, какие проблемы.

– Ты не понимаешь, не обижайся только. Я ведь женщина, увлекусь, это такое занятие… счастливое. Не ко времени, не главное это.

– А что ж главное?

– Не знаю, ищу…

Не хочется ей говорить, стесняется, что ли. Я мягко, как могу:

– Ты это про вес? Да не бери в голову. Все эти курсы, биодобавки, диеты экзотические – просто бизнес и больше ничего. Кто придумал, что женщина тощей быть должна? Те, кто на этом деньги зарабатывает. Создают спрос и втюхивают товар. Такая же индустрия, как мода или там лечение наркоманов. А тебе зачем? Здоровье в порядке, вот и будь какой природа создала. Я тебя такой люблю, ты красивая.

(И не вру, правда красивая, а насчет объемов, это как посмотреть. Полная – да, но не грузная, походка легкая, плавная. И лицо тонкое, облачное какое-то… ну, я говорил уже.)

Усмехается:

– Красивая?

– Красивая.

– Красота – это то, как ты меня видишь. Но не то, что ты во мне любишь, не главное, ведь так? Другие вот смотрят – и видят толстуху… значит, не видят того, что ты видишь. А есть ли оно? Может, тебе кажется?

– Да кто это смотрит? Ты только…

– Не перебивай, я не о мужиках, вообще говорю. Я сама себя толстой вижу. Значит, что-то во мне не так, во мне самой. Все ты верно

говоришь – насчет бизнеса, товара и прочее. Я и сама это знаю. Я другого понять не могу, почему этот товар мне не впрок. Сколько всего перебрала, а толку нет. Может, дело тут не в фигуре, не в весе, понимаешь? А в том, главном, что ты один во мне видишь. Может, с этим главным что-то не так? Мне мой вес не тело – душу тяготит. Словно сама душа зажирела и целлюлитные складки под кожу выперли.

– Ну уж, выдумаешь, – не нравится мне разговор. – Откуда на душе жиру взяться?

И вдруг мысль дурацкая: «А сам не чувствуешь – на своей?» То ли подумалось, то ли показалось – она меня хочет спросить. Не спросила. И не спросит уж, видно.

– Не знаю, нарос незаметно… а может, всегда был. Жила себе, жила – и вот хватилась. Может – для того и жила?

Соображаю, что сказать; уж больно повело ее куда-то.

– А давай, – предлагаю, – вместе режим установим и строго по нему – пробежечки полегоньку, парилка, питание и все такое. Вдвоем оно веселее будет, точно поможет.

– Ты не понял, – качает головой. – Всю жизнь на диете да упражнения – это опять борьба с телом получается. А дело не в нем, я жизнь на него тратить не собираюсь. Надо чтобы это ушло, и все. И чтоб я дальше жила и не вспоминала, со свободной головой.

– И как же это?

– Есть способ.

– Какой?

– Не есть совсем.

…Илия хлопнул себя по щеке, посмотрел на ладонь.

– Тебя не кусают?

– Нет вроде… – удивился Рыжий; невидимые комары толклись у лица, тыкались в кожу. – Щекочут только.

– А есть хочешь? Орехов?

– Нет.

– Ну да, – вздохнул Илия. – Меня одного здесь и едят. Того, кто ест…

– А тебе хочется?

– Нет. Но ем.

– Через силу что ли? Зачем?

– Из принципа. Все тут продвигаются типа, сами меняются, имена меняют, есть перестают – даже я вот проникся, имя подправил... А потом подумал: надо и меру знать. Я в праведники не мечу, не за тем сюда пришел. И меняться мне ни к чему – хоть что-то от себя сохранить.

Насчет того, чтобы не есть совсем, – это она в Интернете начиталась. Я, конечно, слыхал про всяких праноедов и бретерианцев, и таких, кто от Солнца заряжается, но живьем ни одного не встречал.

– Да бог с тобой, – пытаюсь вразумить. – Это ведь тот же чертов бизнес – книжки, курсы, онлайн-консультации. А все эти блоги да форумы – реклама и вранье. Хочется людям чего в их жизни нет, в сказку поиграть, они за аватаркой спрячутся и врут: один, понимаешь, колдун страшной силы, сам себя боится, другой сны вещие видит, этот в астрале чертей гоняет, тому ангелы откровения диктуют… Это как ролевая игра, только на словах, заочная. Еще до того заврутся, что и сами верят.

– Врут, конечно… но не все же. Я это чувствую. – Взгляд у нее как у ребенка, который не может взрослому объяснить. – Я должна, понимаешь?

Тут до меня дошло: она давно об этом думает, только сказать не решалась. Боялась, что отговаривать начну. Но раз теперь сказала – значит, все: вбила в голову, не свернешь. Я уже знал, что она такая.

– И что же – просто перестанешь есть? Насовсем?

– Ну, может, не сразу – насовсем. Пока на время. На три недели. Это телу урок, что оно может жить и без еды. Переход как бы, инициация.

– А потом?

– Пока не знаю. Я ведь не ставлю цели – совсем не есть. Просто зависеть не хочу. Дело тут не в еде, понимаешь? Это только средство, шаг куда-то, ступенька.

– А дальше?..

– Не знаю. Что откроется... – И снова глаза как у ребенка, который в витрине игрушку увидал и понимает, что дорогая, и оторваться не может. – Это путь.

Я как могу осторожнее:

– Путь? А если не твой?

– А если не мой, то другого нету.

И я вижу: одно неверное слово – и потеряю ее. Может, не враз, не сейчас, но… Она спорить не станет, а только закроется, пройдет между нами трещинка – и не замазать уже, не зарастить.

– И когда думаешь начать?

– Завтра. Сегодня – с полуночи. Поможешь?

Вот так. Либо я с ней, либо – без нее.

Ладно, успокаиваю себя, пусть начнет, поголодает под моим присмотром. Может, раздумает еще по ходу, а если что – вмешаюсь.

– Помогу, конечно. Что нужно – вода дистиллированная? Соки, мед – капать по чуть-чуть?

– Ничего пока. Первая неделя – сухая.

Я чуть не упал.

– Да ты что? Неделю – без воды? Это же невозможно! Любой врач скажет!

– А кто врачу сказал? Другой врач? А тот откуда знает? Из учебников?

– Но есть же примеры…

– Примеры всякие есть…

– Где, в интернете? – Уже сдержаться не могу. – Там, небось, таких, кто святым духом питается, пруд пруди. Ты еще на Христа сошлись! И всему верить?

– Верит человек, во что привык верить, к чему приучили. Сказали врачи: три-четыре дня без воды – и человек умирает. И он умирает – потому что готов умереть, так положено, наука велит. Но ведь не все умирают, есть и другие случаи – по неделе, по полторы. Исключения? А что такое исключение? Выходит, что одному человеку правда, другому – ложь. Все запреты у нас в голове. Пока они там, они – правда. А если их из головы выкинуть, глядишь, и окажутся старой, бывшей правдой, попросту ложью. Вот только выкинуть легко не получается. Глубоко вросли – вырывать надо, с корнем…

Да, думаю, крепко ты себе голову забила. Ясно, что все мои доводы заранее известны и отметены.

Она вдруг:

– Думаешь, я тебя сейчас убеждаю? Себя… – И улыбка слабая такая, с какой не то прощают, не то прощаются.

Но я прощаться не хочу. Понимаю, со мной или без меня – все равно она это сделает. Ей самой страшно – но сделает. И я своими уговорами

только навредить могу. Когда человек в таком настрое, его одним сомнением легко пошатнуть, погубить даже. Особенно от близкого.

А кто ближе меня?

– Помогу, конечно, все сделаю. – У самого на душе кошки скребут. – Так что готовить-то?

– Себя, – она без улыбки. – Ты не пугайся, главное. Даже если покажется что-нибудь…

– Что покажется?

– Ну, не знаю… За меня не пугайся.

– Да уже боюсь.

– Вот не надо, – она серьезно, так маленьких уговаривают. – Тогда и я испугаюсь. Ты мне светлый нужен.

Неожиданно как-то прозвучало. Нашла, думаю, светлого – один бизнес мой чего стоит. Она его только в общих чертах представляла, в детали я не вдавался, но ведь не школьница, догадывалась, конечно, оттого и не расспрашивала. Да дело не в том, какой я там, главное – какой я для нее, верно? А прозвучало так, будто она меня светлым видит и другого не ждет. И нет бы сказать «спокойный» или там «умиротворенный», что ли. А то – «светлый»… Слово вроде как слово, а врасплох меня застало.

– Я эти дни в спальне одна буду. Ты тут на диванчике поживи, ладно? – В щечку чмокнула. – Ну, поздно, пойду. Пожелай мне…

И дверь за собой прикрыла.

И остался я на своем диванчике. Все прислушивался: как там, за стенкой? Тишина. А что там может быть? Посидел-посидел, в мыслях кавардак. Надо разгребать.

Полез в компьютер, чуть не до утра шарился по неедским сайтам да форумам. Там как обычно – одни продвинутых изображают, поучают с важным видом, другие их облизывают, совета просят и как бы верят, – чтобы их тоже по шерстке погладили. Третьи «продвинутых» опровергают и со своими советами лезут. Пересобачатся, потом вспомнят, что все они духовные по самое некуда, – и друг друга сердечками осыпают… Но попадаются и адекватные вроде бы посты, без выпендрежа; некоторые даже врачами представляются, описывают ощущения, симптоматику – выглядит грамотно. Нашел нужные ссылки: да, та самая схема – три недели без еды, первые шесть дней и без воды тоже. Это меня малость обнадежило: по крайней мере, Надежда не первая, кто такие штуки проделывал. И потом, она же сказала, что совсем не есть – такую цель себе на ставит. Три недели – срок, конечно, долгий, а неделя без воды… Может, передумает еще? А самому вдруг неловко от этой мысли – будто поражения ей желаю.

Прилег на диване под утро, слушаю: как там, за стенкой?

Тишина.

Кажется, и во сне слушал...

Я в те дни старался дома быть. Но отлучаться все равно приходилось, бизнес никто не отменял, да и просто три недели дома не просидишь. В магазине выйдешь, чай вдруг кончился, – и сердце не на месте: все думаешь, может, вот сейчас, пока ты тут у кассы топчешься, там с ней что-нибудь… да на кой тебе этот чай!

И дома не спокойнее. Она в спальне, одна, я в гостиной, один. Ничего не готовил, чтобы едой не пахло. Да есть и не хотелось, консервы откроешь, яблоком похрупаешь, и ладно. Вроде хоть какая-то солидарность. Телевизор не включал, от него одно раздражение и в мозгах мусор. Не знаешь, чем заняться, тыкаешься в Интернете или в книжку какую-нибудь уставишься, а сам слушаешь...

Редко Надежда прошелестит мимо в ночнушке, в туалет или в ванную рот полоскать, и сразу назад – не хочет, чтобы я ее такой видел. Не утерплю: как, мол, дела? Присядет, улыбнется через силу, и видно, что не до разговоров ей, а только чтобы меня успокоить.

– Сам-то ешь что-нибудь? – Глаза тусклые, голос тусклый, губы сухие, в трещинках.

– Да все нормально, ложись уже… – Встану проводить ее – качнет головой: не надо, сама. С порога улыбнется немощно, глазами, и дверь тихонько прикроет.

И опять тишина.

И мысли точат: а может, ты тупой совсем? Может, вся эта философия про «жир на душе» да про «путь» – только тебя успокоить, а сама – чисто по-женски, похудеть хочет? Чтобы красивей стать и тебе еще больше нравиться? А ты того стоишь? Сидишь дураком, в монитор пялишься, пока она жизнью рискует, дикие эксперименты над собой ставит. Может, сама уже не рада, что затеяла, а остановиться самолюбие не дает. Ждет, что ты вмешаешься, своей мужской властью.

Глупо, конечно, не той она породы, чтобы за мужика цепляться, даже самого любимого. А уж власть, хоть мужская, хоть какая, – это точно не про нее. И стыдно мне от этих мыслей, и опять не по себе.

Случись с ней что – себе не простишь. Помешаешь, собьешь с «пути» – она не простит. Что так, что эдак – все равно предательством попахивает. И сидишь сиднем – что от тебя толку? А что делать-то?

«Светлым» назвала…

На четвертый день пришлось съездить в клуб, собирались по текущему мероприятию. На обратном пути цветы у тетки купил. В квартиру вошел – тишина. И опять мысли: а вдруг с ней что-нибудь? У двери спальни постоял, послушал – тихо. Окликнуть? Может, задремала – разбужу понапрасну... Ладно, загляну потихоньку, цветы же принес.

Дверь приоткрыл – она лежит на кровати, в ночнушке, лицо заострилось, скулы торчат. Форточка настежь, хоть и конец ноября на дворе, в комнате свежо и лимоном пахнет – на прикроватном столике салатница с водой и апельсиновыми корками, под плевательницу приспособлена.

Надежда лежала лицом ко мне, но не шевельнулась, глаза открыты. И выражение в них… Это как если бы человек ночью в окно смотрел, смотрел, все ждал кого-то – да и устал ждать, отошел. Свет в квартире горит, а окно пустое.

Я наклонился, со своими цветами, убедиться, что дышит. Тут в ее глазах что-то отозвалось – тень в окне, вернулась.

– Солнышки… – Губы сухие, шуршат как бумага.

– Что? – тоже шепчу почему-то.

– Ромашки, – выдохнула она с усилием, погромче. – Как солнышки… зимние…

И в лицо мне запах – кислый, тяжелый, с ацетоном. Я и раньше его чувствовал, когда она мимо проходила, но не так сильно, как сейчас, вплотную.

Я уже достаточно подковался, знал, что это организм внутренние запасы сжигает, расщепляет жиры, оттого и запах, так положено. И все равно сердце защемило: что она с собой делает?

Улыбаюсь:

– Ну да, ты же их любишь. Тетка в теплицах, видать, работает, таскает потихоньку.

– В воду поставь.

Я-то их нарочно в пустую вазу сунул: зачем ей вода перед глазами – лишнее мучение. Но сходил, налил.

– Не думай, пить не буду.

– Я и не думал такого.

– Не буду пить, не буду, – повторяет, словно не слышит меня. – Дождусь…

– Чего дождешься?

– Разрешения.

– Разрешения?

О чем это она?

Смотрит вроде на меня, но взгляд мутный, расфокусированный, будто сквозь меня кого-то еще пытается рассмотреть. Да что с ней?

– Другую вазу возьми, – вдруг слышу. – Высокую, на кухне на шкафу стоит.

Вижу, взгляд у нее прояснился – больной, страдальческий, но теперь прямо на меня, не сквозь. И про вазу – это она точно мне, кому еще? Сходил, поменял. Спрашиваю осторожно:

– Что за разрешение?

– Когда пить можно будет.

– Так по схеме же, на седьмой день с утра…

– Нет, – шепчет, – уже не так. Теперь – как разрешат…

– Кто разрешит? – А сам думаю про тот ее взгляд – сквозь меня. – Ты говорила с кем-то? Он еще тут?

– Ушел. Но придет. Он обещал.

– Кто? – Пытаюсь сообразить: может, чего доброго, с моим бизнесом связано? Крючок на меня готовят – из нее? – Как он вошел? Ты ему открыла?

– Не знаю. Забылась вроде, а потом вижу – он тут стоит. И говорит: так слишком просто – если знаешь, сколько терпеть. Каждому своя мера… твоя еще не отмерена.

– То есть – не на седьмой? Еще позже?

Смотрит, молчит.

– Да как он мог войти? Может, ты сама ему открыла, не помнишь?

Сам пытаюсь вспомнить, как дверь была заперта: на два оборота или только на защелку? – не могу.

– Кто он? Ты его разглядела? Какой из себя?

– Он такой… светлый…

– В смысле, волосы светлые, блондин?

– И волосы светлые… и сам... Зыбкий только, как в мареве…

– В мареве?.. – Теперь понятно, думаю: не попей-ка четыре дня – не такое померещится. Тоже, конечно, мало радости, но уж лучше, чем наш контингент.

– По-твоему, приснилось мне? – Она смотрит с надеждой, и я понимаю ее взгляд.

– Конечно, – говорю. – Задремала, вот и привиделось. И не надо никакого разрешения, попьещь в срок, как собиралась. Ты как себя чувствуешь?

– Жарко. Горю.

Я ее руку взял – кожа сухая, шелушится, но не горячая. Об этом я тоже читал у неедов: человека будто печет изнутри, в морозилку готов залезть, а температура нормальная. «Эфирный жар» называется; якобы шлаки выгорают, больные клетки расщепляются и организм обновляется.

– Давай компресс сделаю?

– Нет. – Надежда встает, шатает ее от слабости. – В ванну, под душ…

Отвел я ее, помог в ванну забраться. Она холодный кран отвернула до упора, вода ледяная. – Дальше сама, выйди. – Да ты же еле стоишь, упадешь еще, и будто я тебя всякой не видел. – Нет, говорит, это не то. И слезы наворачиваются – так не терпится ей. Долго плескалась, я под дверью сторожил – вдруг в обморок упадет или еще что. Но вышла она сама, и видно, что полегчало ей. Замерзла? – спрашиваю, – давай под ватное одеяло.

– Какое одеяло! – И лицо тихое, умиротворенное. – Такая чудная водичка…. я бы в ней жить могла.

Но пока до кровати дошла, опять погрустнела, будто прежние мысли ее там дожидались.

– Знаешь, – говорит, – что труднее всего? Во рту полоскать. Глотать нельзя, ни капли, и страшно – вдруг само глотнется? За каждый глоток – еще день без воды… И не полоскать нельзя: налет копится, противно.

– Ты молодец, – подбадриваю, – здорово держишься. Ничего, немного осталось, сейчас уже вечер, – два дня, считай.

– Это если по схеме…

– Да конечно по схеме – на седьмой день. А ты сомневаешься? Все из-за того сна?

– А если это не сон? Что если он и вправду приходил – предупредить? А я не послушаюсь, нарушу… и все зря? – Она опять на шепот перешла, слабенькая. – Нет, не могу.

– Да ты что? Когда же теперь пить-то?

– Не могу… – Она будто не слышит. И опять этот взгляд: сквозь меня, мутный, ищущий – и будто не здесь, не в этой в этой комнате, а дальше, словно вообще не в этом мире. Застыл. (Нашел?)

– Он скажет. Он придет. Обещал… – И глаза закрыла. Устала.

Я салатницу взял, воду обновить. В ней шапочки слюны, красные – еще и десны у нее кровоточат… Сполоснул, лимонных корок накрошил, на столик поставил; Надежда вроде бы задремала.

Все пытался вспомнить, как же замок был заперт – как положено, на два оборота, или только на язычок-защелку? Если на защелку – то, может, вправду кто-то в квартире был и, уходя, просто дверь прихлопнул. Но как вошел-то тогда? Надежда впустила? С чего бы – незнакомого? Если спала, то пока он в дверь звонил – а наш звонок мертвого разбудит, – она бы точно в себя пришла и тут уж не забыла бы, как в прихожую брела, как отпирала… А если спец какой замок вскрыл, то с чего бы ему с ней про питье говорить? Будь это кто-то, у кого со мной счеты, – просто так не ушел бы.

Пригрезилось ей.

Нет, точно – на два оборота было закрыто, иначе я бы заметил, когда отпирал, не мог не заметить.

Пригрезилось, пригрезилось.

Только это как ей объяснить, пока жаждой себя не уморила?

Не знаю, не могу придумать.

На другой день она раза три в ванную выбиралась. Я настороже, зашевелилась за стеной – встает, значит. Дверь откроет, качнется за порог; я уж рядом, поддержать если что. Она ручку отпустит и бредет через гостиную – волосы спутаны, глаза запали, черным обведены, смотрит перед собой. Как через пустыню бредет – одна, без дороги, за миражом.

Наплещется, выйдет счастливая, глаза искрятся, то ли от слез, то ли от воды, – только что не мурлычет. Но недолго: в спальне присядет поникшая, откинется на кровать – медленно, со вздохом, будто в сумерки уплывает.

Раз обронила:

– Господи, ну почему мне так тяжело? У других все легче проходит…

Я на нее смотрю и о том же думаю. И все меньше верю этим докам на неедских форумах: врут, врут! сказками друг дружку ублажают! Просто игра такая – вроде секса в чате. Точит меня эта мысль, но Надежде как сказать? Я дипломатично заезжаю:

– Может, они постепенно начинали – по дню-два? Да наверняка. А ты без практики – да сразу на неделю. Может, и тебе на первый раз…

– Нет. – К стене отвернулась. – Не говори дальше, пожалуйста…Ты мне светлый нужен.

Опять это слово – как занозу всадила. Вдруг подумалось: если я не светлый, то какой? Темный, что ли? Тот, кто искушает? А я – не искушаю? Сам уже не знаю, и точит меня эта мысль.

– Я должна, – шелестит Надежда и в стену смотрит. – Не потому что уже пройденного, этих дней, этих мук жалко… не в них дело. Это не в магазине: оплатил – получи. Тут главное – не в жертве, не в страдании, а в готовности к ним – без оглядки, без счета… Я не знаю уже, что получу, что хочу получить, но – готова… Потому что чувствую… или верю? – не знаю, все равно… что должна, что так правильно. Ясность такая… Это дороже того, что я получу или не получу… или чем там все кончится… – Во рту у нее пересохло, пытается сглотнуть, а слюны нет.

Я не спорю, без толку – уже не свернешь ее, еще и в отступники попадешь. Тогда замкнется, совсем одна останется… в своей ясности.

До волос ее дотронулся, по щеке тихонько глажу: кожа шуршит, как лист сухой, – сердце щемит.

– Я с тобой, – говорю. – Только смотреть тяжело, как ты каждый раз на кровать будто в землю ложишься.

– А что земля? – Надежда лицом повернулась, и улыбка на губах, слабая, тлеющая. – Земля нас с тобой соединила, помнишь?..

Это она о том занятии по тайцзи, где мы впервые встретились.

– Помню.

– Чего ж ее бояться? Земля – мать, благословила... Спасибо ей.

Утешила.

На седьмой день еще до рассвета лежу на своем диванчике, слушаю – как там за стенкой? Не проснулась еще?

Сам спал паршиво, мысли мутные. Если бы не это ее видение, ей сейчас уже пить можно… вот бы гора с плеч! Что впереди еще две недели без еды – уже ерундой кажется, семечками, – лишь бы пила. Наверняка она сейчас лежит и о том же думает. Колеблется, мучится… Зайти? Подтолкнуть? Это искушение будет?

«Ты мне светлый нужен…»

А сейчас я какой? И почему она того, из видения, светлым назвала – в каком смысле? И опять: а было ли это видением? а если – нет?

Рассвело, а Надежда не выходит. Десять часов. Одиннадцать…

И вдруг всхлипнул кто-то. Меня как снесло с дивана; вскочил – откуда звук? из прихожей вроде?..

Вот опять: «тили-тили» – жалобно так, по-детски... Тьфу – это же Надеждин телефон разрядился. Надо же так себя накрутить – телефон жены не узнал. Сам ей выбирал, сам настраивал… да я сто раз его слышал!

Пока шел за ним в прихожую, искал зарядник – опять этот звук… Да нет же – другой!.. Не телефон – сирена экстренной службы. Заныла и оборвалась – словно ее включили и тут же выключили, где-то неподалеку.

Я вышел на лоджию – она застеклена, но сектор обзора больше, чем из окна. Фургончик скорой замер на переходе у ближайшего перекрестка. Несколько фигурок, две в синих комбинезонах, сгрудились над чем-то, лежащим у самого бордюра, другие проходили мимо, бросая короткий взгляд.

«Тили-тили», – захлюпал Надеждин мобильник (так и не поставил его на зарядку, отвлекся на скорую).

И в этот момент среди кучки людей возникла еще одна, тоже в синей униформе, очевидно, это был врач; до тех пор он сидел на корточках над телом, скрытый за спинами остальных, а теперь выпрямился в рост. И по тому, как он пошел к машине и как двинулись за ним другие в синем, стало ясно, что их миссия исчерпана.

Я вернулся в гостиную, поставил мобильник на зарядку. («Тили-тили», – успел он всплакнуть напоследок.)

– Что-то случилось.

Надежда стоит на пороге спальни, держась за дверную ручку.

– Да ничего, – говорю. – Рамы вот проверял, не сквозит ли. (Не хватало еще ей про труп на дороге докладывать.)

– Что-то случилось, – повторяет Надежда, и я понимаю, что это не вопрос.

– С кем случилось? С тобой?

Она помолчала.

– Не знаю… Наверное, со мной тоже. Не пришел он.

– Кто не пришел? – И почему-то знаю ответ. Не нравится он мне, не хочу, но уже знаю. – Тот, из видения?

– Он шел… я чувствовала. Уже близко… и оборвалось.

– Ну что ж тут такого? Задремала, потом проснулась… Я, наверное, на лоджию выходил, зашумел.

– Нет, – качает головой, – не дремала я. Вообще глаз не сомкнула, ждала… А он не пришел.

– И как же теперь?

– Не знаю… – Вижу, что не уверена, колеблется. И если сейчас в эту щелочку влезть, найти нужные слова – может, отговорю? Ищу эти слова, уже рот открыл… И тут словно кольнуло меня: *отступник*. Но ведь ради ее же блага! Или своего?

Замешкался на секунду, она раньше заговорила.

– Нет, знаю, знаю… – частит, торопится (чтобы мне не дать сказать?). – Дальше пойду… должна…

– Одна? – спрашиваю – и понимаю, что говорю я про того мужика из ее сна, который как бы не пришел, и теперь она пить не может. Будто сам теперь верю, что он и вправду был и мог прийти. Но не придет.

– Почему одна – ты же рядом.

Вот так вышло, что не я ее – она меня поддержала. Удержала. Теперь-то подумать – если б я успел, поймал ее на слабине, сбил с этого чертова пути…

Почему «чертова» – хочешь спросить? Потому что уходит она от меня по этому пути. Все дальше – и не догнать. Но тогда я об этом не знал. И хорошо, что не знал…

Седьмой день был самый тяжелый. Для меня точно. Поначалу он вехой был – шесть дней Надежда без воды отмучится, а на седьмой пить можно. А дальше на воде да соки помаленьку – уже не так страшно вроде. А теперь что? Пить ей нельзя, до особого разрешения. И когда его ждать? И главное – кто его даст, это разрешение? Призрак из видения?

А если он не призрак, если он вправду приходил? И опять шел и не дошел… почему не дошел? Что-то случилось? Под машину попал?.. Чушь какая-то.

Чушь, конечно, но все равно об этом думаю.

А чего тут думать – город большой, каждый день люди под колеса попадают. Тот случай, что я утром с лоджии наблюдал, лишь тем и примечателен, что произошел почти у нашего дома и по времени совпал с Надеждиным ощущением, что этот призрак уже близко. Последнее тоже неудивительно – она в напряжении, всю ночь разрешения на питье ждала, глаз не сомкнула, сама говорит… Говорит-то говорит, но могла же и задремать незаметно – вот и пригрезилось. А тут я на лоджию пошел, дверь тугая, – она проснулась и вышла. Да еще мобильник запиликал... нет, он раньше. Ну да, сперва я его услышал, не сразу понял. Пока сообразил да искал зарядник – тут сирена, это скорая приехала. А телефон замолчал.

Хотя нет, не замолчал… Я вспомнил вырастающую среди кучки людей фигуру врача в синей униформе. Перед тем, как он выпрямился над телом, мобильник всплакнул, это я помнил четко. Будто телефон констатировал смерть. Одновременно с врачом. И больше голоса не подавал. Невероятно, конечно, но если допустить это как предположение, то и первый его сигнал, заставивший меня вскочить с дивана, мог тоже что-то означать… Момент наезда? А потом прибыла «скорая», быстро, тут их станция недалеко.

Черт, ну какая может быть связь между сбитым бедолагой и этим телефоном?

Связь…

Оборвалось – так она сказала? «Уже близко… И оборвалось…»

Мне представилось: глухой удар, отлетевшее тело, лужа крови под головой… и *оборвалось*.

И телефон.

Надеждин телефон

Вот тебе и связь…

Бред. Я бы рассмеялся – если ты не тишина за стеной. Эта тишина поселилась в спальне неделю назад и с каждым днем Надеждиного поста все росла, набухала. Ей не мешали мелкие домовые шумы, звуки улицы, просачивающиеся сквозь стеклопакеты. За неделю эта тишина заполнила всю квартиру; временами казалось, я ею дышу, как мягкой, тончайшей пылью, что от нее уже скрипит на зубах, что задыхаюсь…

Темнеть начало. Я вышел на кухню заварить чаю. Последние дни обходился водой, и то по минимуму: как-то совестно пить, когда за стеной самый близкий тебе человек чахнет от жажды, – каждый глоток будто у него украденный. Но мне требовалось прочистить мозги. Надо было что-то решать, пока не дошло до крайности. (Удобное выражение, верно? – звучит вроде честно, грозно, ответственно, а в то же время оставляешь себе лазейку. Ведь крайность даже если и наступит, то она еще только *крайность*, но как бы и не конец еще – ну, не совсем конец, не то, что называть и подумать страшно. Как будто за крайностью еще маленький люфтик припасен, последняя заначка – крошечный, но все же шансик исправить, спасти, прежде чем случится это, уже окончательное. И значит, можно еще чуть-чуть подождать – вдруг само разрулится?)

Налил себе горячей заварки, отхлебываю потихоньку. И когда мобильник пискнул – нёбо себе ошпарил… Надеждин, опять. Но сигнал на этот раз другой: сообщение пришло. Я ртом дышу, охлаждаюсь, а сам в гостиную, где телефон на зарядке оставил. Спам наверняка, рекламная рассылка очередная, но надо проверить. Смотрю: да, эсэмэска, только странная – пустая, без текста. И непонятно, кто отправил: обратного номера нет. Шутка чья-то? Или рекламщики второпях напортачили, забыли текст ввести? Но об анонимности позаботились, не забыли. Не нравится мне это.

Вроде какое-то движение в спальне. Надежда встает, купаться надумала? Жду – тихо. И все равно что-то такое – не движение, не звук даже, а в воздухе что-то… будто тишина изменилась. Я дверь приоткрыл: Надежда лежит на кровати с открытыми глазами.

– Придет… – прошелестела она без голоса, одними губами. – Придет...

Взгляд мутный, и сквозь эту муть радость брезжит, тихая, от которой комок в горле.

– Как это? – это я от растерянности. Словно знаю, о ком речь, и знаю, что не может он прийти, не сможет уже. Но она-то не в курсе, ей я про сбитого пешехода не говорил. – Откуда ты узнала? Когда?

– Вот только что. Будто сказал кто-то … или подумал – далеко-далеко: «Не бойся, жди»…

– Может, ты сама…

– Это он, он… Я чувствую.

– И сейчас чувствуешь?

– Нет, оборвалось… все быстро так. Словно трудно ему… далеко очень. Но он обещал, придет…

– Придет, – киваю. – Тебе что-нибудь нужно? Может, купаться?

– Нет, полежу пока. Спасибо тебе.

– Да за что?

Она глаза закрыла. Умиротворенная такая, словно все теперь позади и в туннеле свет открылся, и она к этому свету плывет.

А я? Мне что делать?

Вернулся на кухню.

Ясно: она будет ждать этого человека из видения, пока он ей пить разрешит.

И кажется, я сам начинаю верить. Еще не верю, но странно все: утреннее Надеждино видение – и ДТП на переходе. И телефонный плач – словно по душе отлетевшей. А теперь, как раз в тот момент, когда Надежде ободрение почудилось, – эта эсэмэска неведомо от кого. Очередной сеанс связи – с кем? С покойником?

(трудно ему… или далеко очень)

Не обязательно быть покойником, чтобы отправить анонимное сообщение. Из ванной, чтобы потише, я позвонил одному подполковнику из ГУВД; у нас с ним дела были. Он обещал проверить.

Надежда надумала купаться. Плескалась в ледяной воде с полчаса, я ждал под дверью. До ночи еще два раза купалась, донимал ее жар. Ни о чем почти не говорили. Так и прожили седьмой день.

И восьмой.

И девятый.

В эти дни Надежда внешне уже не менялась. За неделю она заметно похудела. Я знал, что под кроватью она держит напольные весы, и, хотя результаты взвешиваний были темой деликатной, я-то видел, как ее убывает с каждым днем. Но теперь этот процесс остановился, будто жажда выпарила в ее теле все клеточки до сухого остатка, из которого нечего уже не выжмешь, не высосешь.

На девятый день Надежда попыталась вынести свою плевательницу, с водой и лимонными корками, но я услышал бряк, отобрал: береги силы, говорю.

– Не мои они, моих уж не осталось… не мне и беречь.

У меня самого было ощущение, что если не сама Надежда, то тело ее сдалось и живет не своей жизнью, а по навязанным правилам, по чьей-то чужой воле, отмеряющей ему силы по капле из какого-то неведомого источника. Вот только капельница уж больно ненадежная, едва сочится… а если иссякнет?

Смотрю на нее: лицо серое, истонченное. И какое-то выражение на нем, не поймешь – то ли новое, то ли и раньше было, да я не замечал, – а теперь все минутное, суетное слетело разом, как пыль, и проступает глубинное, будто твердая порода в выветренной скале, – такое, чего, может, и она в себе не знала. Какая-то непонятная красота – чужая, незнакомая. И я не знаю, радоваться мне или тосковать, потому что не знаю, что это значит и что дальше будет. Только чувствую: замерла она на самом краю, на черте, за которую шагнет – и я не уже дотянусь, не достану…

Да что там – уже уходит, с каждой минутой дальше.

А я – отпускаю…

Потому что поздно. Потому что нутром чую: даже верни я ее сейчас, с полпути, – прежней она уже не станет. Но твержу себе, что я настороже, что все под контролем и если потребуется, тут же вмешаюсь – хоть силком напою, лишь бы жива была.

Вот еще подполковник мой позвонит, может, что прояснится…

Он позвонил на десятый день, из кафе напротив.

Надежда как будто спала, так что врать не пришлось. Боялся ее оставлять, но приглашать подпола в квартиру было совсем неуместно, да и разговор-то минутный. Куртку накинул и дверь за собой запер, на два оборота.

Подполковник сидел за столиком в углу, отодвинув тарелку с недоеденным лангетом, и скучал за минералкой.

– Водички хочешь? От изжоги хорошо... – Я отказался. Старый опер достал смартфон, полистал странички. – Так, что у нас тут по этому твоему… ага. Пятьдесят восемь лет, сухощав, но сложения крепкого и на вид больше пятидесяти не дашь. Моложавый такой жмур. – Отхлебнул минералки. – Волосы светлые, лицо овальное… ну, это ладно…

– Погоди, волосы светлые – значит, блондин? Или седой совсем?

– Был бы седой, так бы и записали. Светлые – значит светлые. Может, крашеные, конечно, кто будет разглядывать. Но не думаю, по одежке – не тех достатков мужик, чтобы на краску для волос тратиться.

В квартирке шаром покати, в холодильнике – одни кастрюли со льдом да какая-то трава в морозилке. Компьютер старый, правда, был. А так даже мыла в ванной нет – не мылся, что ли? Что еще? Не работал, не сидел, не привлекался... А тебе-то этот тип зачем? – вдруг спросил он.

– Да любопытно. С лоджии глянул – труп на перекрестке, вот и…

– Впечатлился, значит? Ясно... Вообще-то присматривали за ним. Мутный мужик.

– В смысле? Кто присматривал?

– Не мы. – Подполковник царапнул взглядом.

– И чего он мутил?

– А типа еды ему не надо. Воздухом питался или светом, что ли. – Потыкал в мобильнике, будто удаляя просмотренное. – Да, видно, не хватило ему свету – машину и не заметил.

– Водителя нашли?

– Не установлен. Мало ли придурков гоняет, всех не переловишь. Есть поважнее приоритеты.

– Номер машины? Приметы водителя?

– Нет, – отвечает подпол, и я понимаю, что он врет. – Ничего толком нет. И вообще, говорю же, не наше это дело. Это уж я так, по своим источникам…

– Как не ваше? А чье же еще?

– Ты что, не врубаешься? – он усмехается, но вижу, и напрягаться начинает. – Сам-то раскинь: человек говорит, что не ест. Правда, не правда – хрен его знает. Минздрав ему не верит, он – Минздраву, обследоваться не дается – только у независимых экспертов, и непременно с международным составом. А кому это надо – заграницу смешить? Да это бы еще ладно… Вот ты сам подумай. – Подполковник наклонился через столик и заговорщицки понизил голос. – А вдруг не врет? Это что же за гражданин такой, которому даже еды не надо? А расплодятся такие нееды – это же вся экономика рухнет. Да что экономика, они и государство пошлют подальше, зачем им государство – ушел в лес и живи себе без всякого начальства. Им, видишь, только свет подавай! Или воздух – что там у них… И что государству делать прикажешь? На свет монополию не введешь. Ни работать, ни служить народу незачем будет. И как тогда управлять? Какая власть допустит? А этот твой – ладно сам не ест, черт бы с ним, так он другим пример подает, пропаганду развел в Интернете, наставляет, инициации какие-то устраивает. И что с ним делать? В психушку упечь – не те времена, сразу в мученики попадет. Да хоть Порфирия Иванова вспомнить – как с ним органы намучились… А тут вдруг – машина, раз – и нет проблемы.

Полковник отстранился, подмигнул:

– Да шутка, шутка. Просто переходил, понимаешь, в неположенном месте – ну и…

– Там же переход.

– Ну, значит, не на тот свет шагнул. Или – на тот, получается?.. Точно минералки не хочешь? А то в животе уже булькает.

– Родня есть? Его похоронили?

– Не востребован. Обычно таких неделю в морге держат, но этого – вне очереди. Сегодня вроде… уже и закопали, наверное.

– Поскорей, значит, пока не востребовали…

Ну да, концы в землю, и ни лишнего шума, ни следа, кроме столбика с номером где-нибудь в особом секторе кладбища, через пару лет и номерка не останется.

Опер нейтрально вздохнул.

– Как хоть звали-то? – Я вдруг сообразил, что ни имени, ни фамилии он не называет.

– Вот не записал, – огорчился он, – спешил, видно, извини…

– А фотографии нет? Мне взглянуть только.

– И фотки нет. И просить не с руки. Ты же понимаешь, не мое это дело. И не твое – это я тебе как старый опер говорю. И так уж по дружбе лишнего… – Он помолчал. – А что, очень уж надо?

– Надо.

Подполковник постучал ногтем по бутылке с минералкой, высматривая пузырьки.

– Ладно, там напротив конторка одна, деньги раздает всем желающим, у них камера на входе. Видео долго не хранят, но, может, они фотки оставляют для архива – бывают такие схемы, с интервалом в 5–10 секунд... Поинтересуюсь. Но ты мне не звони, я сам. Все, заболтались, барабан меня ждет, психует…

– Постой, а что насчет той эсэмэски, на другой мой номер?

(Мобильник Надежде я сам дарил, на меня и записан, но подполу это знать ни к чему.)

– А, да…. Ни номеров отправителя-получателя в базе оператора нет, ни текста, естественно.

(Что эсэмэска пустой пришла, я тоже не уточнял. Но эсэмэска-то была!)

– То есть вообще ничего? Как это возможно?

– Никак. Если по интернету отправили, то IP сохранился бы, но и его нет. Говорю же, вообще ничего. Не было такого сообщения. Видно, глюк какой-то.

Войдя в квартиру, из прихожей увидел, что дверь в спальню открыта. Метнулся в гостиную: Надежда сидела на полу и смотрела на свой мобильник.

– Что с тобой? – посадил ее на диван.

– Всё… – Она смотрит на меня и слов не находит. – Все хорошо. – И в глазах слезы, счастливые. – Он разрешил, понимаешь?

– Разрешил? – Я уже не спрашиваю кто. – Значит, пить уже можно?

– Через три дня.

– Через три?..

Не знаю, радоваться или нет. С одной стороны, хоть какая-то ясность. Но еще три дня этой муки… вынесет она?

– Так он был здесь? Ты его видела?

(Входной замок был заперт на два оборота, я нарочно убедился, когда отпирал.)

– Ну да. Лежала, в спальне… (Дремала, догадываюсь. Значит, все же галлюцинация.) Открыла глаза – и он передо мной.

– Ты его хорошо разглядела?

– Да… Нет… Зыбко все, размывается, как отражение в воде, но я как бы не в него смотрела, а в то, что за ними, понимаешь? В того, кто отражается.

– И где же он?

– Где-то… не знаю… Далеко-далеко, словно он вообще не отсюда… из другого мира. И так тяжело, трудно ему достучаться, пробиться оттуда – сюда, ко мне…

– А на полу-то как оказалась?

– Это потом уже. Мы с ним говорили, и он сказал: через три дня. Так и повторил: через три дня. И улыбается… хотя я лица не вижу – но чувствую, что улыбается. Сегодняшний и еще два. Я поверить боюсь, думаю… – Надежда носом хлюпнула, – снится, может. Зажмурилась – и все равно его вижу. И тут – мой мобильник, в гостиной!.. Звонит и звонит. А он стоит передо мной, у кровати, улыбается, ждет... А я боюсь встать – тогда его задену: вдруг все же – видение? рассеется? Тогда… сама не знаю… не вынесу больше! Он понял, отодвинулся: возьми, мол, телефон, ответь. Я встала, мимо него прошла, качает меня. За порог шагнула, голова закружилась, я за косяк уцепилась – и он подхватил, придержал и мягко так опустил.

– Ты почувствовала?

– Да, его руки, пальцы, тепло… – Надежда опять хлюпнула носом. – И знаешь, странно – ты не поверишь… тепло такое…

– Какое?

– Как от тебя. Словно это ты рядом. И так мне стало хорошо, покойно, что я будто отключилась… на пару секунд, не больше. Очнулась – вокруг никого. Сижу на полу с телефоном в руке, он все звонит. Включаю, слушаю: *четверг, шесть утра… всё…*

– Значит, конец твоим мучениям! – И вдруг понимаю: *всё* – это ведь о другом, о другом… И понимаю, о чем. Но стараюсь понатуральнее, увести от темы: – Ну, слава богу! А ты голос хорошо расслышала – мужской, женский?

Она на меня смотрит, силится вспомнить.

– Издалека очень, будто сквозь гул… или из-под земли. А может, и не голос – будто подумал кто-то… не знаю уже! *Четверг, шесть утра… всё…* И все дальше, тише… Но слова точно эти – иначе откуда они взялись!.. Я вот теперь думаю: что значит – *всё*?

– То и значит: три дня – и конец твоей жажде. Что ж еще? – Стараюсь отвлечь, пока не задумалась: – Пора решать, как из сушняка выходить будешь. Сок? Апельсиновый или грейпфрутовый лучше?

Она качнула головой.

– Что значит – *всё*? Он умер, да?

– Да почему? С чего взяла? И как он может, если он…

– …галлюцинация?

– Не в этом дело…

– А в чем?

Она смотрит, я стараюсь не моргать. А в голове все смешалось. Что ни ответь – все неправильно. Если он галлюцинация, значит, пить ей по-прежнему нельзя. И она не будет… пока не умрет? Силком поить, как ненормальную? Сорвать ее с пути, убить мечту? И что между нами останется?

А если скажу, что человек, – значит, сам приму всю эту мистику: видения, общение с покойником, звонки из загробного мира… Сам поверю, увязну в этой каше.

А еще не поверил?

Не знаю. Но она смотрит, и я солгать не могу. Не только ей. Себе.

– Не знаю, – сказал я. – Но был один человек.

– Был, – она кивнула. – Значит…

– Его машина сбила, три дня назад. Насмерть.

– Кто он?

Я рассказал.

– Значит, я с покойником общалась, – Надежда вроде и не удивляется, просто думает вслух. – Но в первый раз он на четвертый день появился, когда еще живой был. Так он был здесь или нет?

– Не знаю. Дверь заперта была. Если только ты ему открыла. Или он сквозь стены проходил…

– И на седьмой день – он тоже ко мне шел, я же знала, чувствовала… И оборвалось. Не дошел. Но потом, вечером уже, я услышала, помнишь? – *не бойся, не кончилось, жди...* Словно с огромным трудом, из последних сил пробился откуда-то…

– Откуда?

– Постой, постой…

Ладно, молчу. А Надежда ровно, без эмоций, мысли по местам расставляет, как посуду на кухне.

– Пробился, чтобы меня поддержать, укрепить на пути. То есть тяжко, трудно – но как-то мог еще достучаться, проявиться. А сегодня разрешение дал и – *всё*. Почему всё? Что сегодня случилось?

– Сегодня его похоронили. Может, у него теперь и связи нет… *оттуда*?

– Не может не быть. Все в мире связано. – Она подумала. – Или в мирах… и миры между собой.

– Откуда ты знаешь?

Она пожала плечами.

– А как иначе? Если мы о них думаем – разве это уже не связь?

– Но думать и знать – не одно и то же. Может, их и нет совсем? Может, и его больше нет?

– Есть. Просто далеко он теперь. Может, и пытается сказать – да я не слышу. Не готова еще. Понятно тогда, почему раньше – все так тихо, зыбко… Тогда я тоже была не готова – но он еще не так далеко был. А теперь… Но я услышу, если ближе подойду. Просто идти надо. Дальше идти.

– Да куда, господи? За ним, что ли?

– По пути, по своему. Каждый – по своему.

А я? – думаю. Мне – куда идти?

– Ничего, – и улыбается, она – мне, сквозь слабость, сквозь свой сипящий шепот, да так хорошо, по-девчоночьи… я уже и забыл, как она улыбается. – Дойдем. Почти дошли уже.

То есть вместе идем, так я понял. И что у нее в голове?

Эти дни она как огарок дотлевала. Я только молился, чтоб фитилька хватило. На кровати повернется – и пульс за сто сорок, и дышать больно. В ванну ее на руках относил. Она кожей пила, а лицо вверх, чтоб, не дай бог, не брызнуло, капельку не проглотить, – губы сомкнуты, будто спеклись намертво. И в горле все спеклось – говорить перестала, только дышала. Но от ледяной воды ей полегче становилось. И в спальне форточки ей уже мало, пришлось створки приоткрыть – декабрьские морозцы начались, в комнате колотун, но ей все жарко.

При этом тихая, умиротворенная была. Словно все решилось наконец – кто-то за нее решил, и она вверилась без оглядки. Только я-то так и не знал, кому он вверилась – галлюцинации или… не знаю. Не мог решить.

Даже мысль шальная была – найти это чертово кладбище. А дальше что – кости выкопать? И что мне с ними делать – у них не спросишь. Да и номера могилы я все равно не знаю.

Подполковник мне фотку на телефон сбросил, позвонил с незнакомого номера:

– Увеличили как могли, но все равно не очень. Больше ничем не могу, извини….

«Не хочу» – так это прозвучало. Ладно, не его это дело, я уже понял.

Снимок с камеры был нечеткий, далеко все же. Вокруг левого глаза сплошное пятно от щеки до волос (кровь? тень?), лицо скорее угадывается – простецкое, скуластое, как бы застывшее от какой-то внезапной мысли. Волосы – да, светлые, это хорошо видно на фоне черных ботинок и чьих-то брюк, попавших в кадр.

Фотку я в компьютер перегнал, попробовал поконтрастить и бросил. Не спец я в этом, да и зачем? Что толку от снимка, если сравнить его не с чем – мне-то призрак не являлся.

Прав старый опер, не мое это дело. Нечего кости мертвых ворошить, когда с живыми проблем выше крыши. Двенадцатый день уже, к ночи; дожить бы до завтра, до Надеждиного питья.

Все заснуть не мог, прислушивался, как там, за стенкой? Тишина…

Проснулся от тоски детской, беспомощной. И не вспомнить никак, что привиделось, только болит душа от невозвратной потери, будто там, во сне, отняли у меня что-то самое дорогое, вырвали из рук, а самого вышвырнули назад, в явь, и уже не вернуться, не вернуть отнятое. Лежу в потемках, сердце щемит… и звук какой-то – стон? всхлип?

Я вскочил, к Надежде в спальню – пусто, и дверь открыта. Упало что-то… на кухне? Да там же свет горит – я-то думал, сам забыл выключить…

Надежда скорчилась на коленях возле опрокинутой табуретки и вздрагивала от позывов сухой рвоты. На полу лужа воды, в ней опрокинутый стакан. Видно, уронила, потянулась за ним и сама оказалась на полу.

Я усадил ее на табуретку. Подол ее ночнушки намок и лип коленям.

– Что?.. Что сделать? В спальню, ляжешь?

Надежда мотнула головой, навалившись на стол. Там стояла бутылка мягкой воды с отвинченной крышкой. Она смотрела на эту бутылку и все еще вздрагивала от рвотных спазмов. Но продолжала смотреть. Глаза были красные, воспаленные, она выглядела оглушенной.

– Налить?

Она кивнула.

Я налил из бутылки в чистый стакан. Надежда попыталась отпить и подавилась, плеснула на стол.

Она не может пить, подумал я. В горле спеклось так, что оно не пропускает воду. Оно забыло, как глотать. Надо как-то смочить, чтобы оно заработало.

В кухонном шкафчике я нашел соломинки для коктейлей.

– По капельке, не глотай, рассасывай… – Прислонил ее спиной к стене и держал перед ней стакан; у нее тряслись руки.

Вода сочилась из ее рта, но что все-таки оставалось, впитывалось в глотку, пищевод… я очень на это надеялся. Так продолжалось минут пять. Спазмы как будто утихли. Но она вдруг устала, эта мелкая работа губ забрала остатки сил. Голова упала на грудь, и я подумал, что если она свалится в обморок, то я точно не смогу ее напоить.

Я подхватил ее под мышки и опустил с табурета на пол.

– Встань на колени. – Поставил ее на четвереньки. – На локти обопрись.

Она подчинилась с остановившимся взглядом; она казалась невменяемой.

Я приподнял ей подбородок и вставил соломинку в рот. Я надеялся, что в этой позе с вытянутой шеей ей удастся проглотить, ссохшиеся

ткани слизистой сдвинутся, разомкнутся и пропустят воду. Я не врач, не физиолог, другого придумать не мог.

Она попыталась всосать через соломинку, но как-то вяло, словно ей уже не хотелось. Вода закапала на пол, и она стала валиться набок. Я подумал, сейчас она потеряет сознание или хуже.

Я взял ее за волосы и влил воду в рот прямо из стакана. Она захлебнулась, закашлялась, и я перегнул ее через колено головой вниз, чтобы вода вышла из трахеи. Потом снова подсунул стакан. Она стиснула зубы, и вода пролилась, но она все же сделала глоток. Я понял это по тому, как она замерла, вслушиваясь в себя. Я отпустил ее, чтобы наполнить стакан.

– Желе… – выдавила она, не поднимая головы, и опять закашлялась.

– Что?

– Вода – как желе…

На четвереньках, по глотку, с большими перерывами, она высосала через соломинку полстакана воды. Прошло, наверное, полчаса, прежде чем рискнула отпить прямо из стакана.

– Ну как? – спросил я.

– Как кисель… божественный кисель!.. – Ее воспаленные глаза повлажнели, но влаги на слезы не хватало.

К концу второго стакана вода перестала казаться ей густой. Его она пила уже сидя на полу, потом я отвел ее в спальню. Временами она задремывала, но тут же просыпалась, боялась пропустить очередное питье. Потом ее вырвало, я едва успел подставить салатницу с лимонной водой, там остались какие-то сгустки с примесью крови. Началась резь в животе, ломило в пояснице, ее трясло от озноба. Я закрыл окно и потащил ее в ванну отогреваться, потом контрастный душ… Вроде помогло, она заснула и проспала полсуток.

А проснулась – в другой жизни.

Илия замолчал. Ныли комары, в сомкнувшейся ночной немоте их нытье казалось единственным звуком на планете. На миг Рыжим овладело чувство, будто это не самостоятельный звук, а лишь слабый отголосок тайного вселенского гула, скрытой мощью своей пробивающего завесы между мирами, будящего смутное томление и тоску в каждом атоме, в каждой клетке живого вещества.

– В смысле – другим человеком? – прервал он тишину.

– Нет. Человеком – тем самым, каким ей положено быть... по пути ее положено. Просто – в другой жизни. Не моей.

Но это я теперь понимаю, а тогда не заметил. Не хотел замечать...

Пила она только воду. От сока отказалась, хотя по схеме полагалось его в воду добавлять понемногу. Пару дней она так и делала, пила и нахваливала, а на третий пригубила и говорит:

– Я и не знала, что сок такой…

– Вкусный?

– Ну да… только очень уж плотный, тяжелый какой-то. Глотнешь – и будто кусок торта съела. Торт ведь едят не потому, что есть хочется, а потому что сладкий, ради вкуса. Чувствуешь, что сыт уже, что лишнее, но ведь вкусно, жаль отказаться. Только мне теперь другого жаль, этого нового ощущения – чуткости, легкости...

– Да уж полегчала – дальше некуда, – бурчу. – Того и гляди сквозняком унесет.

Килограммов десять с нее слетело, при ее-то росточке. И вид, конечно, не цветущий, хоть я уже и пригляделся. Лицо серое, сухое, в морщинках, будто собственная кожа ей на пару размеров велика. Ладно хоть голос вернулся – не шелестит, как сухой лист, даже какая-то новая струнка в нем позванивает – слабая, тонкая, но я-то слышу. И она этим голосом говорит:

– Я не про вес сейчас – про душу свою целлюлитную. Главное, не тело – душа полегчала. Тело ведь только одежка для души, так? Вот пусть и соответствует. Я другого боюсь: оно еще хрупкое, ненадежное – это ощущение. Удержать бы его, не замутить…

– Это соком-то? – все не врубаюсь.

– Лишний он мне – чувствую. – И смотрит на кувшин со свежеотжатым соком (мы на кухне сидели, он на столе стоял). Смотрит, словно температуру больного на градуснике проверяет. – А от лишнего – и муть, и жир на душе…

– Погоди, ты же пила уже с соком – и первый день, и вчера.

– Так сладко пилось – вот и купилась на сладость. Где сладость, там и слабость… Нет, не хочу я сока. Мне вода в радость, просто вода.

Час от часу не легче. Сок ей слишком сытным кажется – это разбавленный на три четверти! Что же будет, как до еды дойдет?

– Но выходить-то из голодания по схеме полагается, – пытаюсь урезонить. – Сперва вода с соком, потом что полегче, салатики, каши…

– Вот опять – «схема, полагается»... Ты пойми, я только что в себе одну схему сломала, главную, может быть, – и тут же в новые в себя запущу? Они как микробы – только открой лазейку.

– Да как же ты есть будешь, если организм не готов, – надо постепенно готовить.

– Зачем его готовить? Я есть не хочу.

– То есть? Ты же сама говорила, что совсем не есть – такой цели не ставишь.

– Я и не ставлю. Зачем? Это ведь тоже схема. Когда захочу, поем. Если захочу по-настоящему. Не головой додумаюсь, а *почувствую*, что это действительно необходимо – поесть, а не просто пожевать. Тогда и организм будет готов.

– А если – не будет?

– Значит, и есть ни к чему. – Это она мне терпеливо, как двоечнику.

Вот такой разговор. Он не раз потом повторялся, в разных вариациях. Но суть та же: от еды она не зарекается, но только если будет уверена, что это необходимо. А как узнает об этом? – а почувствует. Вот почувствует, и все тут. Что-то вроде откровения, так я понял.

В общем, тема эта всплывала, но уже с затуханием. Я еще за логику цеплялся, за «научные данные», пока не понял – бесполезно: медики ей не указ.

Как-то бросил в сердцах:

– Ты любое научное знание отрицаешь. Люди их тысячелетиями копили – что же, псу под хвост?

– Ничего я не отрицаю. Просто знание полным не бывает и быть не может. И результат дает не до конца предсказуемый. Вот таблетка – от чего-то помогает, чему-то вредит. Чем сильнее лекарство – тем опаснее побочный эффект. Лекарств много, больных вовсе не считано, и все разные, со своими букетами, – как угадать пользу и вред для каждого? Не просто симптомы снять, а болезнь с корнем выжечь и при этом другую хворь не взрастить? Тут кроме знания что-то другое требуется. Да, да,

откровение, если хочешь. Я уверена, настоящий врач должен *чувствовать* больного. Только мало таких врачей, да и каждого пациента почувствовать невозможно, ничья психика не выдержит – тут святым надо быть, если не богом. Но себя-то *услышать* любой человек может. Я же вот услышала. Как ни тяжело это далось – но услышала. Может, это и есть то самое – помоги себе сам? И кто себя услышал – и есть себе лучший врач?

– Алкаш с похмелья тоже слышит: умри, но выпей.

– Алкаш не себя слышит. Он раб схемы, своей жизнью не живет.

В общем, не убедили друг друга, но словцо это, «раб схемы», засело в моей памяти. Был в нем какой-то неприятный смысл, такой, что и углубляться не хотелось… Да и во всем, что говорила Надежда, был смысл, хотя и принять его трудно, я не мог. Он и ей-то открывался постепенно, в наших разговорах; я же видел, она не столько мне, сколько себе объясняет и я ей вместо внутреннего оппонента, для лучшего, значит, усвоения нового материала.

Тоже не самое приятное чувство – ну какой я ей оппонент? Люблю я ее.

Две недели прожила на воде. По плану тому, первоначальному, инициация закончилась, и есть уже не запрещалось: вроде как организму теперь для жизни пища не нужна, а для удовольствия – пожалуйста. Но у меня в голове по-прежнему не вмещалось: как это – совсем без еды жить. Я все надеялся на что-то – вдруг она хоть немножко, да поест, ну хоть попробует из любопытства, а там, глядишь… Такой Фома неверующий. Но вслух, конечно, не говорил.

Три дня как на иголках сидел, даже из квартиры ненадолго уходил, думал, может, меня смущается, вроде как поест – слабость проявит. Зря надеялся. Возвращаюсь – в холодильнике ничего не тронуто, на кухне миски с натертой капустой, морковью (себе будто бы готовил) как оставил, так и стоят накрытые.

Я ложкой зацепил, пожевал (без соли, преснятина).

И Надежда в дверях:

– Капустой меня думал соблазнить? – Забавно ей, гляжу. – А самому-то вкусно?

– Вполне, – говорю. – И с морковкой сочетается. А ты что встала? Получше тебе?

Она по-прежнему из комнаты почти не выходила, слабенькая была. Хотя с тех пор как воду пить начала, выглядела уже получше: серость с лица ушла, морщинки пригладились и кожа вроде подтянулась и не так шелушилась. Но очень уж бледная, и движения приторможенные, бережливые.

– Да мне плохо и не было. А пожалуй, что и получше.

– А вес как? Вопрос, конечно, деликатный…

– В норме вес.

– Не убывает хоть?

– Не убывает, успокойся.

Успокойся тут: как он может не убывать? Я все же когда-то в политехе учился и хоть не врач и не биолог, но своей технической башкой понимаю: строительный-то материал клеткам постоянно нужен, тьма всяких элементов, а откуда они возьмутся? Из воды? Но у нее один ответ: «Не думай ты об этом. Я же не умерла до сих пор, значит, берется откуда-то».

– Ладно, – говорю, – если тебе получше, может, как-нибудь подышать выйдем? Потихоньку, возле дома? (Мыслишка: может, хоть на воздухе аппетит прорежется.) Не все же в четырех стенах, надо двигаться помаленьку, не закисать. Тошно же все время лежать.

– Четыре стены – то, что мне сейчас и надо. Я вот как раз лежу и откисаю. Как грязная посуда в мойке.

– Откисаешь? От чего?

– От всего лишнего.

Так всю зиму ни разу и не ступила за порог.

Поначалу из спальни почти не выходила. Я не надоедал, видел, что ей одной побыть хочется. Но заглядывал, конечно.

– Откисаешь?

– Откисаю, – улыбнется. И мне вроде полегче.

Понимаешь, она опять улыбаться начала – не через силу, как раньше, а тихо так, покойно, будто речка сквозь чащу. Я за этой ее улыбкой как за таблеткой заходил, она была как светлое пятно, как маячок – во всем этом бреду, который принять я по-прежнему не мог, но и отринуть не получалось. Одно дело судить со стороны, и другое – жить внутри этого бреда день за днем. Мы жили в нем не один месяц; за такой срок разум устает биться об стенку, и невозможное уже не кажется таким уж невозможным, если чудится в нем хоть какой-то просвет. Ее улыбка была таким просветом. Логики тут не ищи, ее сюда не звали.

В общем, поверить я был не готов, но что-то такое допустить, хотя бы частично...

Есть она по-прежнему не ела, но так пугающе уже не выглядела. Изнуренной, усталой – да, но это была скорее усталость человека, перемогшего тяжелую болезнь и день за днем, по капле, копящего силы. Я и сам ощущал что-то похожее, какое-то смутное облегчение, словно самое опасное уже позади. Я держался за это ощущение, хотя понимал: после долгого ожидания худшего легче легкого впасть в самообман. Боялся расслабиться, проглядеть какие-то симптомы.

Но ничего такого не происходило. Внешний вид ее медленно, но улучшался. Болезненная худоба, угловатость сглаживались, возвращая телу плавность, женскость (хотя до прежнего было далеко – хорошо, если от него две трети осталось). Но вес при этом не прибывал.

Из спальни начала выходить. Побродит по квартире, выйдет на лоджию и стоит там, смотрит на улицу. Не очень мне это нравилось: все казалось – на перекресток смотрит, где этот бедолага погиб. Да и холодно на лоджии. Отнекивалась: как раз хорошо, освежает. Хотя эфирный жар у нее прошел, в ванну ледяную по-прежнему каждый день залезала.

Короче, есть она не ела, но какое-то восстановление в организме шло, и откуда брались ресурсы – неизвестно. Я этого понять не мог, но уже и не пытался.

Как-то утром выхожу на кухню: Надежда стоит перед холодильником, дверцу открыла и смотрит внутрь.

– Интересуешься? – Не знаю, как спросить. И молчать неловко.

– Сама не знаю. Стою вот и думаю – что я тут забыла? Яблоко? Вон какое красивое, так и хочется в руку взять… Беру – плотное, прохладное, сладкое, наверное, – помню его вкус… или думаю, что помню. Проверить? Откусить? Представляю его во рту, хрусткое, сочное… а дальше что? Глотать? Зачем? – Смотрит на меня, ответа ждет.

– Ну, зачем глотают? Чтобы переварить, усвоить.

– А зачем мне его усваивать? Есть я не хочу. Получается, съем я его, чтобы не столько усвоить, сколько присвоить? Из жадности? Из пустого любопытства?

– Тебя бы на место Евы, – хмыкаю, – точно посрамила бы искусителя. Уполз бы Змей ни с чем, и жили до сих пор в раю.

– Ну, не знаю, может, и уполз бы, да не отступился. – Холодильник запищал, она закрыла дверцу. – Искушение вечно, наверное. Оно и сейчас продолжается.

– Да чем же тебя теперь искусишь? Даже есть не хочешь. Ничего тебе не надо.

Видно, горечь в моих словах прозвучала, она ее услышала.

– Ты мне нужен, – сказала Надежда. Так сказала, будто я напрямую об этом спросил.

– Так в чем дело, – пожимаю плечами, – располагай.

– Не могу.

– Почему это?

– Ты же меня любишь. И я тебя люблю. Потому не могу я тобой располагать. И собой-то – не просто… Может, в этом и есть искушение.

– Да в чем же оно? Это со мной связано?

– Нет, нет, во мне все… сама не знаю. Видно, рано еще, не готова. Не откисла.

И отворяет холодильник.

– Что бы тебе такое приготовить, отвык ведь от горячего. Может, борщ? – закрывает тему.

А не договорили, чувствую. Она не договорила.

И будто повисло что-то между нами.

– Не стоит, – говорю. – Зачем тебе у плиты париться, запахи эти вдыхать…

– По-твоему, раз я не ем, так мне еда противна? Нет, не соблазняет и не раздражает. Просто занятно приготовить что-то, как художнику из мазков краски картину составить – он же краски не ест. А для тебя приготовить – так просто в удовольствие.

– Спасибо, конечно, но ни к чему тебе лишние хлопоты, лучше силы побереги. – Говорю вроде искренно, но все равно она уловила что-то.

– Ты меня обидеть хочешь или сам обиделся? Думаешь, от разговора ухожу? Не могу я ничего сказать, потому что сама не знаю... Мутно все, понимаешь? И мне мутно… Прости. – И в глазах ее и боль, и беззащитность такая, будто я ненароком ее ударил.

– Да ладно, о чем тут, – спешу замять. – Просто, когда прояснится, скажи сразу. Нельзя нам это копить эту муть – между нами.

– Не будем, – сказала она. – Так как насчет борща?

Борщ она сварила, после лежала до вечера, уморилась. Но получился классный; она хорошо готовила, когда в охотку, только раньше мы этим особо не заморачивались. А теперь вдруг у нее интерес пробудился, все чаще на кухне стала возиться, меню со мной обсуждать, список продуктов для закупки, в Интернете лазила – что ни день, то новые рецепты. Наготовит – съедать не успевал. Но главное – это занятие ее развлекало. И уставала она уже меньше, силенок потихоньку прибывало (мне даже в голову приходило, может, она хоть съедобными запахами подпитывается… ерунда, конечно). В общем, чувствовала она себя все лучше, и стряпня ей на пользу шла, и слава богу. Хотя думалось мне порой, будто этими кухонными заботами она от тревоги своей отгораживается, от той мути, что ей покоя не дает... да нам обоим. Не забылась та недосказанность, так и висело между нами облачко, как мы ни старались его не замечать. И на кухне весь день не просидишь. Похлопочет, похлопочет – и опять в спальню к себе, как в нору. Я загляну – лежит отрешенная, рядом ноутбук дремлет, монитор погас.

– Откисаешь? – спрошу.

– Откисаю. – И улыбнется – вроде хорошо, по-прежнему, а мне чудится – будто сквозь облачко... Не хотели мы, но копилась она, эта муть. Может, мерещилось мне? Ладно, думаю, худшее позади, ей с каждым днем все лучше, пусть откисает пока.

Откисала она всю зиму.

Про работу и не вспоминала, возилась в охотку на кухне, а так в основном одна, в спальне.

Я потихоньку свыкся я с ее неедением, к делам вернулся. Она сама подталкивала: мол, хватит со мной нянчиться, все у меня в порядке. Я не то чтобы совсем успокоился, но смирился, что ли; утешался тем, что пока прямой угрозы ее жизни вроде бы нет, а там, глядишь, и разрулится, в какую-нибудь норму да придет. Может, и вправду не она одна такая.

Каждый день залезала в ледяную ванну, одно время даже физкультурой занялась, выполняла у себя какие-то упражнения, по-моему, всякий день разные, потом бросила. Я предложил: давай тренажер привезу, беговой или еще какой, места тут маловато, но потерпим для пользы дела. Мне все еще казалось, что неедение – это дела чисто телесные, для здоровья, очищения организма, для фигуры опять же… Не проникся я еще, что телом тут не ограничивается.

Вот тогда первый звоночек и прозвенел.

– Нет, – говорит, – ни к чему. Все эти тренажеры, упражнения... Не интересно уже.

– Ну хоть дыханием займись, энергетику подкорми. Лишние силы не помешают.

– Лишние? Может, они как раз и помешают?

– Это как?

– Понимаешь, все эти практики – дыхательные, по набору энергии… от них такое чувство, будто я опять наедаюсь впрок. Не нужно мне – а я ем. Энергию запасаю – а для чего не знаю.

– Как для чего – тебе же восстанавливаться нужно.

– Так я и восстанавливаюсь. Ты же видишь – с каждым днем все лучше себя чувствую. И без всяких упражнений. Значит, сколько нужно мне энергии, столько и получаю. А лишнее – это уже не мое. Искушение. Зачем мне то, чем я не знаю как распорядиться? Ну накоплю я прорву энергии, и куда мне ее девать? Куда-нибудь – лишь бы потратить? Взорваться, что ли, как атомная бомба?

Вроде шутит она, но не весело.

– Взрываться не стоит, – посмеиваюсь в тон, – а то обоих в террористы запишут. Ты копи себе, пригодится. Вдруг какие великие дела тебя ждут, а у тебя сил не хватит.

Она серьезно:

– Будут дела – будут и силы.

– Откуда?

– От пути. Все действительно нужное он даст. Или подскажет, где взять, – надо только услышать. А чтобы услышать, надо слушать постоянно, не отвлекаясь. И идти, не уклоняться…

– Выходит, чтобы услышать – надо идти, не уклоняясь. А чтобы с пути не сбиться – опять надо слышать… Заколдованный круг какой-то.

– Неважно, – Надежда плечами пожимает. – Важно идти.

– Да как идти-то? – Это я уже в сердцах. – Куда – если цели не знаешь?

– Не знаю – не означает, что ее нет, верно?

Тут уж я не знаю, что сказать.

А она медленно, раздумывает вслух:

– Может, сейчас важно не куда, а откуда?

– В смысле?

– В смысле откуда выбираться, от чего избавляться… от лишнего.

Вот тут и услышал я звоночек. Она сказала «от чего», а мне вдруг закралось – «от кого». Я не спросил тогда, но осадок остался: может, я тоже – лишний? И облачко между нами будто потемнее стало, с моей стороны уж точно.

Новый год встречали вдвоем. Салатики, курица-гриль – я нарочно просил попроще, но Надежда не утерпела, приготовила еще мясные косички с зернами граната и фруктовое мороженое без молока. А я торт купил, хотя сам сладкое отроду не любил, а ей теперь зачем. Но что за новогодний стол без торта? Посмеялись оба.

Я под куранты шампанского глотнул, она бокал в руке подержала.

– Хоть понюхай, что ли, – подначиваю, – что за веселье мне одному мозги туманить.

– А я твоего тумана пригубила, мне тоже весело.

– Что, и такое возможно?

– Возможно, возможно, – смеется Надежда.

– Ну, – говорю, – тогда и похмельем с тобой поделюсь. (Тоже шутка, конечно, уж не помню, когда до похмелья допивался, разве что в юности.)

– Само собой, – кивает Надежда. – И в горе, и в радости…

Посмеивается она, а мне чудится – всерьез говорит. Берет бутылку и мне в бокал подливает:

– Ой, как пенится! – Пена через край пролилась. – Ну вот, уже и пьяная.

Я отпил, смотрю – что-то лицо у нее раскраснелась и глаза малость шалые. Будто и вправду мой хмель ей в голову ударил. И пить мне уже не хочется.

– Ну-ка, что там за косички такие? – Бокал поставил и за мясо взялся, чтобы хмель скорей забить. Хотя какой там хмель с двух глотков шампанского. Но это для меня – а она-то закусить не может.

Надежда поднялась: мол, душно что-то, и вышла на лоджию. Огорчилась из-за своей неловкости? Я дал ей успокоиться пару минут и вышел следом. Она стояла, дыша паром на стекло. Вид у нее был задумчивый, возбуждение уже улеглось.

– О чем думаешь?

– Да ни о чем, собственно. Просто раньше я будто все время чего-то хотела, спешила куда-то – то туда, то сюда, и по сторонам не глядела. А тут взяла и остановилась и просто смотрю.

– И что видишь?

– Луну. Снег на улице. Тебя вижу.

– И какой же я?

– Такой же. Только я не замечала раньше, что ты такой.

– Какой?

– Надежный. Сильный. Любимый.

– Светлый? – сорвалось у меня. Как бы в шутку сорвалось.

– Светлый, – кивнула она. – И как тебе трудно со мной. И как будет трудно.

А тебе со мной? – хочу спросить. Не спросил, свернул на другое:

– А ты вправду мой хмель ощутила? Телепатия, что ли?

– Да какая телепатия. Я же мыслей не читаю. Но твое состояние – да, чувствую. Не всегда, конечно. Но вот так, как сейчас… или как тогда, в наш первый день, помнишь?

– Еще бы, – хмыкаю, все норовлю на шутку свести. – Чуть на Луну не улетел. Куковала бы тут без меня…

– Только тогда это было как вспышка. – Надежда без улыбки, будто не слышит. – А тут будто в полутьме – проступает, угадывается, но глазами не разглядишь, только чувством, смутно…

– И какое оно, чувство?

– Тяжело тебе.

– Ерунда, – говорю. Сграбастал ее, подхватил, закружил. – Видишь, совсем легонькая стала!

– Тише, голова кружится!.. Это не я легче – ты сильнее стал…

Если бы, думаю.

И смеюсь, смеемся оба, будто все хорошо.

Прожили зиму. Надежда по-прежнему не ела, а так все вроде своим чередом – она дома, откисает, я в клуб выбирался. Там дела шли еще, хоть и не так, как прежде; старая команда разбредалась потихоньку, ну, я говорил уже… Ребята уходили, кто как, а с ними и наработанные контакты. Прибивались, конечно, и новые, помоложе, но с ними уже не то. Не сказать, что они пожиже, или там злее, или хитрее – другие они какие-то, чужие. Или я не тот? То ли возраст уже, запал прошел, то ли еще что-то… но чем-то же надо заниматься. Не из-за денег даже, а просто чтоб чувствовать, что гребешь, направление имеешь. Я, может, затем в клуб и выбирался – там хоть какая-то ясность, привычные правила игры, хоть и прискучившей, без драйва. То, чего дома нет. А дома – это облачко, так и висит между нами, зреет, и все в нем зыбко… и все ждешь чего-то, и не знаешь чего. Только думаешь: а вдруг оно уже случилось, это «что-то», а ты не заметил…

Да не больно помогали эти отлучки – отъедешь на полдня, а на душе кошки скребут. Вроде как сбежал и Надежду бросил, одну в этом облаке… там, где правил нет. И, может, как раз сейчас там что-то происходит, а я... Явлюсь, да поздно будет. Однажды поймал себя: прежде чем открыть своим ключом, стою перед дверью, прислушиваюсь… в привычку вошло. А чего там слушать – тихо. Откисает.

Меня уже не так беспокоило ее неедение (к чему только не притерпится человек, когда деваться некуда), а больше – что у нее в голове творится. А там варилось что-то, вызревало…

Раз, в феврале, еще, наверное, под вечер, вхожу, свет нигде не горит. В прихожей полумрак, тянусь к выключателю и вижу: дверь в спальню открыта. И два женщины, две Надежды, одна против другой – вплотную, лицом к лицу. Застыли. Одна из них в зеркале, я сразу подумал. Но то, как подумал, мне не понравилось. Будто успокоить себя спешил. Будто и вправду на какую-то секунду поверилось, что передо мной две одинаковые разные Надежды. Да с чего бы – тут отродясь ее трюмо

стояло с пуфиком, – вон и флакончики всякие на туалетном столике, которыми она давно не пользуется, только протирает до блеска, и рамка зеркала четко видна, даже в сумерках...

Надежда не повернулась, не шевельнулась, хотя не услышать меня не могла.

В спальне было посветлее, чем в прихожей, но лица ее я видел лишь краешек – она сидела ко мне спиной вполоборота. Зато видел лицо, брезжащее в зеркале, – склонившееся изнутри ей навстречу, в упор, глаза в глаза. Белое и неподвижное, оно словно мерцало в сумерках. В нем было напряжение и ожидание.

Я застыл в прихожей. Казалось, в воздухе повис какой-то вопрос, и вот сейчас Надежда ответит, и отражение кивнет…

Почему она молчит? – мелькнуло в голове. Почему не отвечает?

И вдруг понял почему. Она знала ответ, и боялась ответить. И не ответить не могла.

И я тоже ощутил страх. Я не хотел этого ответа. Потому что как только он прозвучит – что-то сдвинется. В ней, во мне. Что-то случится, и ничего уже не будет по-прежнему.

Моя рука цепенела на выключателе. Нахлынуло ощущение тоски и какой-то невыразимой хрупкости мгновения – казалось, подтолкни его случайным движением, словом, – и время, сбитое с толку моим появлением, опомнится, вздрогнет стрелкой на неведомом циферблате и двинется дальше. И ответ прозвучит. Я боялся опустить руку, шевельнуться, дышать; мгновение тянулось невыносимо.

И кто-то во мне не вынес этой хрупкости и спросил, будто со стороны:

– Не темно тебе? Свет зажечь? – Собственный голос показался чужим.

– Да, – ответила Надежда, не оборачиваясь, так что не понять было, мне ответила или зеркалу.

И пока я, уже через порог спальни, нашаривал выключатель за косяком, еще раз повторила:

– Да, – и тогда уже обернулась.

И перед тем как вспыхнул свет, мне почудилось – я застал взглядом еще глядящее из зеркала лицо. Не затылок Надежды, не ее отражение – лицо. Оно глядело на меня.

Зажглась люстра, и лицо в зеркале исчезло.

– Пришел светлый и принес свет, – Надежда улыбнулась, поднялась мне навстречу.

И у меня при этих словах зигзаг в мыслях: это она про меня сказала? А точно ли про меня? Не про то отражение в зеркале – мерцающее?..

Силюсь вспомнить лицо в зеркале, и не получается. Черты зыбкие, нечеткие – впотьмах же... И уже не уверен, что это было лицо Надежды.

Да полно, что я мог там увидеть, кроме ее отражения?

Вот-вот! – кто-то во мне шепчет – то-то и оно: что ожидаем увидеть, то и видим. И вовсе уж безумное: а Надежда – кого она видела в зеркале? Кому сказала «да»?

(светлый)

А рука еще на выключателе. И шальная мысль: если сейчас свет погасить… может, он и сейчас там?

Надежда смотрит на меня, ждет.

Да что со мной? К зеркалу ревную? Разозлился на себя. Улыбку включил:

– Пришел электрик и перерезал провода… Давно так сидишь, в темноте?

– Ты ведь не об этом хотел спросить, правда?

И у меня под ее взглядом опять какой-то сдвиг в голове: вдруг вообразил себя отражением в зеркале – тем, мерцающим. Будто я не тут, на пороге спальни стою с рукой на выключателе, а смотрю на нее не отсюда – не из-за стекла даже, откуда-то *оттуда*. Будто не она меня спрашивает – это я задал вопрос и жду. И знаю, что ответ один и страшен ей этот ответ – больной, истошный, невыносимый. Но не уйти от него, нету другого.

И я это понимаю, и боль ее – во мне. И она понимает, что я понимаю… и так до бесконечности, отражаемся друг в друге, наша боль отражается. И не понять уже, кто из нас здесь, настоящий, кто там – в зеркале, *за зеркалом*. И хочется шагнуть навстречу, проломить это чертово стекло, прижать ее к себе – до дрожи, до неразрывности, намертво…

– Не молчи… – голос Надежды, будто издалека.

Но помог мне стряхнуть этот морок.

– Ты так смотрела, – говорю, – в это зеркало, словно… – (Спросить, не спросить – про *светлого*?..) И – со смешочком: – …словно войти туда хотела.

Она глаза отвела, будто других слов ждала.

– Я бы вошла…

– В смысле?

Помолчала: сказать – не сказать. Сказала.

– Ну, не в это трюмо… Я в мир хочу войти. В каком-то смысле мир ведь и есть зеркало, да? Поставлено перед нами, чтобы себя понять могли. А чем заняты? Переделываем этот мир под себя, и все нам неудобно, кроим, кривим зеркало, а все себе не нравимся. Оно уж в трещинах, как не разбили до сих пор…

– Это ты про экологию?

– Да про все. Про все.

– Если про человечество, – пытаюсь вырулить на понятное, – так другого пути у цивилизации вроде и нет, кроме технологического. Разве что голыми под пальмой. А что технологии – враг экологии, ну да, тут баланс нужен, так придем со временем. Наука ведь тоже не спит. А без ресурсов и развития нет.

– Ресурсы, развитие… все правильно. Только куда развиваться – ради новых ресурсов? Добыли, слопали, где бы еще отхватить, да побольше. Вот в космос стремимся – уж там-то этих ресурсов и экологов никаких. Это как с едой получается – булимия какая-то. Что ж мы, в этот мир жрать пришли?

– Пока по-другому не получается.

– То-то и оно. Чего-то мы не понимаем, не видим в этом зеркале. Себя не видим, ни места своего. Может, потому и не видим, что мы – не в нем живем, а как бы отдельно, снаружи? Я даже думаю, может, мы там жили когда-то, а потом ушли да и заплутали, забыли, откуда сами родом. Так, томит, зовет что-то – а что? куда? – нет, не помним…

Серьезно говорит, с напряжением, с тоской даже. И меня этот ее тон больше, чем смысл, тревожит. Подумалось: холодный компресс ей на лоб, и сидеть рядом, по волосам гладить, пока не задремлет…

– Это ты про рай? – стараюсь снизить градус. – Так мы оттуда не сами ушли. Рылом не вышли, нас и попросили на выход… с треском.

– Рай, не рай, не в том дело... Может, не *потому*, а *затем* и попросили – чтобы вернулись мы уже другими.

– И что, думаешь, пора? С тех пор человечество лучше стало? В раю хоть не убивали, не научились еще.

– Я не убивала. Ты не убивал.

Откуда ты знаешь, думаю. До сих пор мы вроде как вообще говорили, отвлеченно. И вдруг она все на нас двоих свела.

– Ну, в общем, да, – говорю, – не убивал.

Она про свое, как думает вслух:

– А насчет человечества, пора или не пора… Тут не человечество, тут каждый сам решает. Да и что ты все – рай да рай. При чем тут рай? Может, там…

– Ад? – я договорил.

Плечами пожала.

– Откуда я знаю, что там откроется? Может, и ад. А может – кому как.

– По грехам его? Что-то боязно, – говорю. – Может, лучше пока здесь – подумать, взвесить, присмотреться как-то…

– Отсюда не присмотришься. Одно знаю: пока я здесь, пока все как прежде – то мне точно ад. Не горячий, не жгучий, а тихий, стылый, меркнущий… и не вокруг меня – внутри. Нет, идти надо.

– Так ты меня с собой зовешь?

– Не могу. – И смотрит на меня, руки уронила. – Тут – каждый сам. Только сам. Да и как звать, куда? Не в зеркало же… Я и пути-то не знаю.

– И как же дальше?

– Не знаю. Жду вот, может, откроется что-то… должно же…

– Ладно, – говорю, – если откроется, пойдем.

Не подумал, не понял даже, как сказал.

– А если бы и подумал? – спросил Рыжий.

– Если бы да кабы… Хорошо, что не подумал.

Дни шли. Говорили мы теперь мало, как-то подвисло все. Она все больше в себе, я к ней прислушиваюсь. Оба ждем, сами не знаем чего. Я все понять пытался, на что же подписался. «Идти надо» – сказала она, но ведь не буквально же. Взглянуть на мир другими глазами – так вроде. Ну, если получится, почему не взглянуть. А не получится – что тогда? Может, рассосется все как-то… да, все еще мелькала такая мыслишка. Но каким-то чутьем чуял уже: нет, не рассосется. Не зря Надежда про ад сказала, который в ней, внутри. Слишком далеко дело зашло, и остановиться она не сможет, назад пути нет. А вперед? Его не то что не видно, а вообще – есть ли он? Она не знает.

Но верит же.

А я?

Получается – если нет его, этого пути, то и все понапрасну. И даже хуже. Пути нет, а без него ей ад – так она себе в голову вбила. Настолько крепко, что… Честно сказать, меня и раньше сомнения посещали – может, слишком уж она увлеклась, замудрилась… опять же голодовка эта. Может, что-то и сдвинулось в психике – ну, не совсем, конечно, а так – в чем-то оторвалась от реальности, утратила объективность. Но я эти сомнения давил.

А теперь не сомнения – страшок подступил. После этих ее слов, про ад внутри. Она уже с ним жила, с этим адом. А дальше что? Если все по-прежнему, если не откроется ей путь – чем это кончится? Помешательством?

Не столько даже сама эта мысль пугала, сколько – если я эту мысль в себя впущу, то себя как нормального сразу от Надежды отделяю. В сторону отхожу. И она одна остается, с этим адом своим.

А я-то сам – нормальный? Убедил же себя, что в этом что-то есть, потакал, поддакивал. По вере или по малодушию? Не знаю вот.

И что мне с моей нормальностью делать? Нужна она мне, одному, без Надежды? Не окажется, что под ней тот же ад – стылый, меркнущий, где льдинки вместо угольков?

Выходило, я тоже забрел, заплутал за ней следом и хода назад не знаю, а пожалуй, что и не хочу. И путь ее – на двоих. Хотя я его не выбирал…

В общем, путаница в мыслях такая, что хоть не думай. Да как не думать? И холодок в груди поселился, предчувствие чего-то. И во сне ждал.

Еще разговор был.

– Ты молодец, твердо идешь, не сворачиваешь. А ведь наугад, вслепую. – Не помню, к чему я это сказал, но вроде как подбодрить ее хотел или сам бодрился. Только тут уверенность нужна, а в чем я уверен? Так что это скорее вопросом прозвучало.

Надежда поняла.

– Не вслепую, – головой качнула. – Есть ниточка.

– Что за ниточка?

– Чувство такое появилось… у тебя не бывает? – будто вслушиваешься и вот-вот услышишь что-то… или вспомнишь… Как забытое слово – вертится на языке, а вспомнить не можешь. И слово-то какое-то простое, родное, давнее – может, из детства еще. Кажется, вспомнишь, и все поймешь – ну *совсем все*. И точит, изводит – до щекотки в мозгу…

– И давно у тебя так?

– Не знаю уже… теперь вот кажется, что и всю жизнь. Только раньше не слушала, не хотела. А тут вот…

– В чем же ниточка, если вспомнить не можешь?

– Так вспомнила я.

– Что вспомнила?

– *Господи, помилуй.*

Смотрит настороженно, будто шутки ждет. Но я серьезен, куда серьезнее.

– Это из молитвы вроде?

– Это и есть молитва. Самая короткая.

– И как ею… (чуть не сказал «пользоваться») руководствоваться теперь?

– А никак. Жить с ней, и все. Вот живу.

– И часто молишься?

– Как вспомню, так молюсь. Но уже и вспоминать не надо, само получается. Борщ тебе варю – молюсь. Сплю – молюсь. Вот с тобой говорю – молюсь. Она сама внутри звучит.

– М-да, – говорю. – Тяжело же, наверное, – и осторожно, как бы в шутку, и себя проклиная: – Мысли не раздваиваются?

– Думаешь, я… – Надежда усмехнулась. – Ладно, я и сама порой сомневаюсь. Но нет, не раздваиваются. Мысли мыслями, а молитва сама по себе. Но я ее *словом* зову, так мне правильней кажется. *Слово* само живет, понимаешь. Во мне, но само. Вот говорят, чужая душа

потемки, а мне думается, своя-то еще темней. *Слово* в ней – как фонарик, единственный. Не дай бог, погаснет.

– Ясно, – говорю. Хотя ничего мне неясно. – И о чем молишься?

– Конкретно – ни о чем, если ты про это. Все, что нужно, – уже в *слове* есть. *Господи, помилуй* – не дай с пути сбиться, закиснуть, душой зажиреть. Покоя не дай.

– Но ты сказала – «ниточка», значит, должна вести куда-то, путь указывать?

– Никто мне его не укажет. Слово – не шпаргалка, не навигатор в машине. Скорее вроде индикатора, огонек в сердце: шагну ли не туда, уклонюсь, да просто забоюсь, заколеблюсь – красным загорится. Но шагнуть я сама должна. Каждый шаг, каждый поступок – мой. Выбор – мой.

– И что сейчас твой индикатор показывает?

– Пока верно шли. А дальше… – Она плечами пожала.

И по тому, как она глаз не отвела, хотя уловил я такое движение – хотела отвести, сдержалась, и по тому, как сказала «шли», а не «шла», я понял, что дальше – дело во мне.

Напрягся уже.

Но она молчала, и я не спросил. Только сказал:

– Может, тебе иконку какую привезти? Книжек каких божественных, а то у нас и Библии-то нет.

Опять головой качает:

– Не сто́ит. *Слово* со мной, ничего больше не надо.

Я после этого разговора в Сети порылся: хоть немного понять, что с ней очередное такое. Не знал даже толком, что искать, но ведь все в этом мире уже когда-то случалось, верно? Ну, или похожее. Набрел на древнюю практику православных монахов-исихастов. Там это называется умной молитвой. Эту молитву «Господи, помилуй» они повторяли про себя непрестанно, чтобы избавиться от ненужных мыслей, «внутренних разговоров» и засилья рассудочного ума. И вообще подчинить ум сердцу. Знакомая мысль, да? Не о том ли Надежда твердит без устали, не о том ли ее страдания? Что не брюхо должно командовать умом, не похоть мелкая, не суетные страстишки, а что-то повыше нас, что одно только и может наше существование оправдать и смыслом наделить. Что и понять невозможно…

Не сказать, что я во всем разобрался, но суть вроде бы уловил. А углубишься – закопаешься в премудростях. Тут я Надежду понимаю, почему к науке такое отношение. Не от науки она бежала – от готовых решений. И от книжек религиозных потому отказалась, что чувству своему, что ее вело, верила больше, чем чужому, самому премудрому, уму. Ересь, наверное, сказали бы богословы. Она к этому чувству, к молитве, *слову* своему, сердцем пришла. А ведь ни о каких исихастах и практиках их слыхом не слыхала.

Вот задумаешься тут, откуда что в нас берется, какие еще в нас искры тлеют. А может, лучше не думать, а поступать, как Надежда. Она одного боялась: чтобы это ее чувство, этот фонарик в сердце не погас.

А может, фонарик и есть сердце, проснувшееся, распахнутое миру? Зрячее, вещее… Вот только кто его пробудил?

Илия умолк, то ли собираясь с мыслями, то ли наткнувшись на какую-то незнакомую. Помахивал у лица сломанной от комаров веткой.

– А потом? – соскучился ждать Рыжий.

– Потом… да все в том же духе… – Илия стегнул себя веткой по ноге, заставляя очнуться. – Потом опер проявился, весной уже.

Дела в клубе шли ни шатко ни валко, да подпол там и раньше понапрасну не светился, так что после того разговора в кафе я его не видел. А тут вдруг встретились. Заехал я на заправку, вставляю в бак пистолет, мимо какая-то машина – медленно, едва ползет. Я глаза поднял – стекло опущено, и подпол за рулем, смотрит на меня. Молча пальцем ткнул в сторону – там кафе при заправке, – стекло поднял и отъехал.

Он ждал за столиком у окна с двумя чашками кофе и минералкой. Пододвинул мне кофе.

– Минералки налить? Кофе надо с водой пить, чтоб организм не сушить.

Потрепались об общих знакомых: где тот, что с этим. Мол, хорошо бы собраться как-то, посидеть.

– Да, да, – вздыхает он, – да все некогда, крутишься, как электровеник. Ладно, ты сам как-то? Призраки не беспокоят?

– Какие призраки?

– Голодные.

– Да нет вроде, – до меня доходить стало, о чем он. – Все нормально.

– Ну и ладно. Главное, чтоб их не тревожили.

– А могут? – спрашиваю я. – С чего бы это?

– Сетевая активность, запросы, сайты специфические. И по месту, где этого твоего нееда сбили – совпадение один в один. Программа и нашарила. Вопрос: не по этому ли адресу он шел? А где вопрос, там и…

– Что, так серьезно?

– Да необязательно, – подпол плечами пожал, – направление не приоритетное. Так, присмотрятся пока… А ты похудел будто. Ешь побольше, на продуктах не экономь.

Он пододвинул мне вторую чашку кофе:

– Это тоже твоя. У меня от него изжога. Ты пей, а мне пора. Все дела, дела… А тут еще повышают меня, в замначальники управления, третья звезда светит. Теперь совсем ни до чего будет. Бывай.

То есть эта наша встреча последняя, понял я. Ясно, что неслучайная. Что-то вроде прощального бонуса.

Я смотрел в окно, как он идет к своей скромной «Джетте», ждал, не оглянется ли. (Зачем – помахать мне на прощание? Не от хвоста же ему проверяться.) Не оглянулся, конечно.

Я достал мобильник и вычистил из памяти его телефоны.

Когда я вошел в квартиру, Надежда сидела перед своим трюмо. На этот раз она сразу обернулась. Словно ждала.

– Все кажется: войду однажды, а тебя нет, – пошутил я, разуваясь в прихожей. – Что такое? куда девалась?.. А ты уже в зеркале – там живешь.

– Близко к тому, – улыбнулась она, как-то неуверенно. – Пора уже.

– Что пора?

– Следующий шаг сделать, главный, может быть. В путь пора.

Кому в путь, хочу спросить, – *тебе, нам?..* И не могу, тяну:

– Ты же все мучилась, не знала, как дальше. А теперь знаешь? Открылось что-то?

– Открываться-то нечему. Все просто, если честно смотреть – не бояться, глаз не опускать. А я боялась.

– Так что теперь? Куда в путь-то?

– В мир. – Все старается улыбаться, а мне чудится, у нее слезы к глазам подступают.

– Так мы вроде не уходили из него. Или ты про другой какой-то?

– Про этот самый, не знаю я другого… Только – прошлый он. Войти в него надо заново. Может, тогда он изменится, а может…

…*ты? мы*? – я ждал, хотел услышать. Но она не договорила, плечами пожала.

– И как в него войти?

– Оставить все, чтобы ничего за душой. С чистыми глазами. Как младенец в мир приходит.

– Так куда идти-то? Ты знаешь?

– Не надо знать. Ни куда, ни зачем. Ступить за порог и не оглядываться. Просто идти и все. Как путь решит.

– А ничего за душой – это как понимать?

– Ничего лишнего. Ни в руках, ни в голове, ни в сердце. Такого, что душу назад потянуть может.

– Без вещей, без денег?

– Не это главное, – качает головой, – это – само собой… – И опять не договаривает.

И меня прорвало.

– Одна, что ли, собралась? Без меня – чтоб назад не потянул? Так решила?

Надежда глаза опустила.

– Не могу я тебя звать, за тебя решать. Ты одно пойми: этот мир как капкан меня держит. И я, как зверь, готова лапу себе отгрызть, чтобы из него вырваться. Но мой это капкан, не твой.

– А я, значит, побоку?

– А ты, – она глаза вскинула, голос дрожит, – ты – сердце мое. Но я должна, понимаешь…

– …Меня из сердца себе вырвать, так?

– Из сердца – не могу, – говорит она, почти шепчет. – Только с сердцем вместе. – И вот-вот расплачется.

Весь мой запал сдулся.

– Ну-ну, – обнимаю ее. – Куда ж ты, – говорю, – без сердца-то? Ведь не дойдешь.

– Не дойду… – кивает она, и в слезы.

Успокаиваю, по волосам ее глажу, а в мозгах щелкает: надо ж совпало как – я еще про подпола не сказал, а она уже собралась. Сама учуяла или этот ее путь подтолкнул? Теперь и смысла нет говорить, все равно уходим... Когда? А сегодня, сейчас. Чем скорее…

Она в грудь мне уткнулась, что-то лепечет сквозь слезы, я поддакиваю: «ясно, ясно…» А у самого ощущение легкого безумия, не пугающее, забавное даже. Будто со стороны гляжу на двух нариков укуренных: лопочут что-то, оба не в себе, но обоим все ясно.

Сборов не было, она только парку надела (я пуховик предлагал – хоть и март к концу, и снега в городе почти не осталось, но и подморозить может, – только рукой махнула). Сам, как был, в куртке осенней; деньги, кредитки, ключи от обеих квартир, мобильник – в общем, что было в карманах, так и оставил. Я же их нарочно не припасал, значит, как бы не считается.

Присели на дорожку. Я спросил:

– Как думаешь, вернемся еще?

– Не знаю.

– Молишься сейчас?

– Молюсь.

– И что фонарик говорит?

– Все правильно, говорит. – А сама уже в прихожей топчется, скорей на выход.

Мы вышли из подъезда, каждый в своих мыслях. Смеркалось, сеял мокрый снежок и тут же таял на асфальте и в лужах. Я по привычке свернул на парковку к своему «Инфинити» и, пикнув брелком сигнализации, сообразил, что это мои ноги на автомате привели нас к машине, – Надежда просто шла рядом и молчала. Значит, пока все правильно, в *путь* мы отправимся на колесах.

– Куда? – спросил я в машине.

– Куда-нибудь.

– На заправку для начала? Бак полный, но пару канистр впрок залить.

– Не надо, – сказала Надежда. – Не надо ничего впрок. Просто поехали.

Я вырулил со двора на улицу. Ни одна машина не тронулась следом. И подозрительных прохожих я не заметил.

Мы доехали до перекрестка, того самого, и, пока пережидали на светофоре, меня опять охватило ощущение морока. Все, что было за стеклом машины, отодвинулось, словно отделенное иллюминатором батискафа. Редкие блестки дождинок на свету, теплые вечерние окна, пешеходы, скачущие через лужи, перебегающие на красный, – все это было чьей-то обычной нормальной жизнью, какой давно уже не жили мы. Для нас она стала чужой.

Эти люди знали, куда идти. А мы?

Но тот неведомый (*светлый?*), погибший на этом самом перекрестке, похоже, тоже знал куда идти. И закончил свой путь под колесами…

Я покосился на Надежду: чувствует ли она что-то подобное? Она уловила мое движение, но поняла по-своему:

– Ты не думай, не спрашивай, езжай, куда едется. И навигатор выключи.

Я старался не думать. Свернул с центральной улицы в жилые массивы, покружил в них наугад, но там не думать оказалось труднее, повороты на каждом углу, поневоле приходится выбирать. Выехал на проспект, тут проще – прямо и прямо.

Добрались до окраины, через виадук – на объездную, мимо складов, ангаров, торговых центров, забитых машинами парковок автосалонов, новых микрорайонов в голом поле, деревень с облезлыми домишками вперемешку с пряничными особняками, коттеджных застроек, дачных массивов. А за ними – темные поля, перелески, какие-то огоньки вдали... С объездной выехали на федеральную трассу. Надежда молчала.

Впереди от трассы ответвлялось какие-то шоссе, указатель я проглядел. На развилке светилась вывеска придорожного кафе.

– Останови, – сказала Надежда.

Я свернул на обочину.

– Есть хочешь? – спросила она.

– Нет, – сказал я и почувствовал, что хочу. И подумал, что это включилась голова: не столько я голоден, сколько она встревожена непредсказуемостью наших блужданий, и потому – не поесть ли впрок?

– Нет, – повторил я назло голове. Кажется, громче, чем следовало; Надежда колебалась несколько мгновений.

– Поехали, – сказала наконец, и голос ее показался мне виноватым.

Я тронул с места и вспомнил, что в бардачке есть пара шоколадных батончиков: как-то взял на сдачу, так и валяются, только под руку лезут. Ну, пусть пока, не выбрасывать же прямо сейчас – слишком уж театрально. Да я и не запасал их нарочно... В раздражении от лукавых мыслей свернул с трассы на темное шоссе, уходящее куда-то в поле.

Шоссе оказалось старым, все в выбоинах, через пару километров и вовсе пошла щебенка. Миновали деревню с редкими огнями, заброшенную ферму. Поля чередовались с перелесками, кое-где еще лежал снег.

Проехали безлюдный садоводческий массив; здесь щебенка кончалась, дальше шел проселок с колдобинами и лужами с колесо глубиной. Дорога поглощала мое внимание, отвлекала от мыслей, да и устал я от них. Мы ехали по какой-то низине, вроде заливных лугов, временами фары выхватывали из темноты жесткие вихры кустарника, вокруг ни огонька, и ползущее перед нами освещенное пятно казалось единственным источником света во вселенной. Все это рождало состояние некой прострации, бездумной отчужденности от внешнего мира. Словно спустились мы в надежном батискафе на дно морское, и нет нам дела до того, что тут творится, даже не любопытно, мы тут транзитом, наша цель впереди. По-моему, Надежда испытывала то же. Ложное ощущение, конечно. Самообман. Не было цели.

Проселок резко вильнул, и пятачок света от фар словно обломился по краю, провалился куда-то.

– Останови, – встрепенулась Надежда.

Мы вышли из машины. Снаружи было не так темно, как казалось из салона. Дождик чуть моросил, но из мутной пелены выглядывала луна и фары добавляли освещенности. Мы стояли на подмытом берегу, на невысоком яру над речушкой. Метров десяти в ширину, она не казалась глубокой, наискосок русла лежало притопленное дерево, видимо, притащенное половодьем, к нему с двух сторон перекинуто подобие мостков.

– Где же?.. – пробормотала Надежда. – Где же тут?.. – заходила вдоль обрыва, оглядываясь и щурясь от света фар. Она походила на собаку, ищущую след, только что не принюхивалась. – Должно быть… ага!..

Едва заметная тропка от проселка подсказывала место спуска.

Высоты там было метра два, но Надежда поскользнулась, съехала вниз, тормозя подошвами; хорошо ботинки на ней были без каблуков и на рельефе. Я спрыгнул следом.

– Куда ты?

– На ту сторону. Надо туда…

Она опять избегала слова «мы».

– Уверена? – Спрашивать зачем было бессмысленно. Отговаривать тоже. И что я мог предложить – ехать дальше? Зачем? Я не знал. Как и она. – Погоди, машину с дороги уберу.

Это было необязательно, но я вернулся и передвинул машину. Нашарил в бардачке шоколадные батончики, сунул в карман. Ведь они уже тут, впрок я их не припасал. Подвернулась зажигалка с подсветкой, прихватил и ее. Мобильник мешался в кармане, бросил на сиденье: кому теперь звонить, Надежда свой не взяла.

Надежда ждала на берегу. Я посветил зажигалкой: доска, перекинутая с берега к притопленному дереву, выглядела достаточно прочной и опиралась на выпиравшие из воды сучья. Лишь бы не гнилая – я ступил на нее одной ногой, пробуя на шаткость.

– Нет, – Надежда потянула меня назад. – Я сама. И свет убери, слепит.

Опять мне чудится: сама – одна? Сошел с доски.

– Господи, помилуй, – сказала Надежда, подняв глаза к мутной луне.

В этот момент я увидел мост. Не то чтобы ясно, скорее силуэт, прочерченный черным по мглистому краю неба с одного берега на другой. Но это был мост – что еще? Он находился выше по течению, метров через двести, в той стороне, куда вел проселок, с которого мы съехали.

– Мост, – сказал я.

Надежда не повернула головы.

– Мост, – повторил я. – Давай доедем, тут рядом.

– Нет, – сказала она. – Путь здесь.

Она пошла по доске, та захлюпала. Ветки, торчавшие над водой, зашевелились, зашаркали по полам ее распахнутой парки; она приподняла руки, чтобы не задеть их; выглядело как-то по-танцевальному, по-детски даже. И под ноги не смотрела; вот-вот оступится, а я тут, на берегу, – двоих доска может не выдержать.

Надежда дошла до дерева, ступила на ствол, взявшись за сучья.

– Погоди…

Я перебрался следом. Дерево подалось под нашей тяжестью, но сидело на дне прочно, и ствол был притоплен не полностью, обувь оставалась сухой. Часть веток была обломана, некоторые срублены, видимо, рыбаками под просветы для удочек; я наткнулся рукой на клубок старой лески.

Надежда смотрела на тот берег, прислушивалась. Я чувствовал ее нетерпение.

Она двинулась по стволу, перехватываясь за ветки. Я перебирался следом. Ближе к вершинке ствол был более шатким, проседал под ней, норовя уйти в воду; я отступил, чтобы она не промочила ноги. Но Надежда уже перескочила на доску – будто какая-то сила ее влекла, – и не перешла – перебежала, легко, мелкими шажками, на тот берег.

Я хотел повторить тот же номер, но вышло не так удачно: доска заплясала под ногами, меня повело вбок, и у самого берега не удержался, соскользнул-таки в воду. Там было мелко, по щиколотку, но кроссовками черпанул.

– И как теперь? Тебе сушиться надо. – Голос у Надежды растерянный, даже виноватый.

– Да ерунда,– говорю, – само высохнет.

Ясно, теперь она разрывается: ей идти надо, а тут со мной проблемы. А я на себя злюсь: мог бы поаккуратнее, без горячки.

– Простудишься. Надо назад, в машину.

– Опять по доскам прыгать? Нет уж, уволь.

– Ты про мост говорил, – напомнила Надежда.

У меня как будто зрение обострилось, а может, луна поярче засветила. Гляжу – мост словно приблизился: проступают из темноты контуры свай, полотно, даже перильца вроде.

Надежда головы не повернула в ту сторону, на меня смотрела. А я на мост. Вот же, рядом, чего проще перейти, обсушиться в машине и назад тем же путем, посуху. А то и на колесах... Только захочет она вернуться,

сойти с пути? *Путь здесь*, сказала. Спросить ее – перед выбором ставить.

– А ну его, – говорю, – гнилой наверняка, провалиться не хватало. Пошли, на ходу обсохну.

Недалеко отошли, как Надежда остановилась.

– Что-то не так… это знак какой-то.

– Какой знак?

– Что ты на доске оступился. Я прошла, не качнулась, а тебя будто толкнули.

– Ну уж скажешь. (Хотя странновато, конечно, – уж что-что, а с координацией у меня все в порядке.) Кому меня толкать? Да и с чего бы?

– Не знаю… может, чтобы назад вернуть.

– Но мы ж не вернулись.

– Не вернулись. Только не нравится мне это... Ну-ка, – наклонилась, потрогала. – Да тебя у тебя ноги насквозь. Надо сушить.

– Где ж тут сушить? Пошли, да и все, на ветерке обсохнут.

– Погоди, – Надежда оглянулась по сторонам. – Тут кустов полно, давай костер разожжем.

– Да они все мокрые.

– Попробуем.

Странно, кусты оказались не волглыми, в руках не скользили, старые отмершие ветки и вовсе легко ломались. Клочья сухой прошлогодней трава пошли на растопку, и, складывая костерок, я заметил, что и земля здесь суше, чем на том берегу. Дождик сюда не дошел, за рекой остался.

Костерок занялся, я наломал еще веток, набросал рядом, сесть. Кроссовки снял, поставил к огню, вытянул ноги.

– А откуда у тебя зажигалка? – вдруг спросила Надежда. – Ты же не куришь.

– Прихватил случайно, вместо фонарика.

Ясно, о чем она подумала: ничего *лишнего*. Но вот зажигалка-то не лишней оказалась.

– Еще что-то прихватил?

– Да ничего. – Вспомнил про шоколадные батончики. – Вот разве, – выудил из кармана; не врать же ей, – болтались в бардачке.

– Понятно.

И тут до меня дошло:

– Ты что, думаешь, я из-за них в воду сверзился?

– Какая еще причина, что ты, восточник, рукопашник и все такое, с твоим чувством баланса, на доске не удержался? А я прошла…

– Забавно, – ворчу. – Будто я не по доске шел, а по мосту в рай. Да грехи не пустили, утянули. Так мы в аду?

– Не забавно, – уперлась Надежда. – Не шути так, серьезно это.

– Да что серьезно-то?

– А то, что ты и по первой доске прошел, и с дерева, там, где глубже, не свалился, а только на второй доске, в самом конце, оступился. И то лишь ноги замочил. Но до берега добрался. Это знак.

– Какой знак?

– Что путь тебе не закрыт. Но он тебя предупредил.

– Что-то я не пойму. Путь – он же твой, это ты по нему идешь. А я его не выбирал, я с тобой иду, за компанию. Ты мне нужна, а не путь твой. Зачем ему меня-то воспитывать? Что ему мои шоколадки?

Надежда в костер смотрит.

– Боюсь, так не получится – за компанию, по чужому пути. Если ты со мной идешь – он и твой тоже. Прости.

– Что «прости»?

– Что свернуть не могу. Что тебя за собой потянула. Но если идешь – прими.

– А иначе что? Попадется другая речка, так я на переправе уже с головой ухну? И на корягу напорюсь, чтоб уж с концами?

Надежда смотрела в огонь. Огню сказала:

– Не будет у нас следующей переправы.

– *У нас*? – Я опешил. – Без меня хочешь?

Надежда не сразу, с трудом, взгляд от огня оторвала:

– Ни у тебя, ни у меня. Пути не будет.

– Вернемся, что ли?

– Значит, вернемся.

– Ты серьезно? Это из-за меня?

– Из-за нас, – и опять в огонь смотрит.

Врасплох застала. Типа мне решать, идти нам дальше или нет. Сама она с пути сойти не может, но понимает, что одну не отпущу, и за меня боится, за неверие мое. Путь для нее – все, но не любой ценой. Ради меня – вернется.

Вот и решай тут.

Ну вернемся – только куда, к чему? Под колпак, о котором мой подпол предупредил? Она-то не знала про мои встречи с ним. Ну, может, с этим разрулится как-то: неприоритетное направление, да, глядишь, и чем другим пригожусь ребятам, мало ли… Чем угодно отслужу, лишь бы от Надежды отвязались. Но ей-то как жить дальше – опять в спальне сидеть? С этим своим адом внутри?

Уехать куда подальше, зарыться? Можно найти варианты... Только ад ее никуда не денется, она его с собой потащит. И то, что я ее с пути сорвал, так и останется между нами, не забудется, не рассосется. Сам не забуду…

Веток для костра почти не осталось.

– Пойду еще наломаю.

Я натянул кроссовки. Они были еще влажные и горячие от огня, но отойдя от костра, я ощутил легкий озноб. Кажется, похолодало. А тонкие ветки горят быстро, до утра не набегаешься. Принес охапку, подбросил.

– Сушись, – сказала Надежда, – я еще принесу.

– Нет, – сказал я. – Есть вариант получше.

Я вернулся к реке. Вода казалась черной и такой холодной на вид, что меня пробрала дрожь. Стараясь не мочить руки, я вытащил доску на берег. Она была длинной и тяжелой и плеснула по воде дальним концом, но большая часть осталась сухой. Хорошая доска, говорил я ей, волоча ее к костру, толстая и совсем не гнилая, и не очень сырая; мы тебя подсушим, и ты будешь долго гореть. Еще я помнил про мост, но не смотрел в ту сторону.

Положил доску сухим концом в костер и наломал еще веток с кустов. Они были холодные, пальцы немели и плохо слушались. Бросил ветки на доску, чтобы помочь ей разгореться, и подставил ладони огню.

– Замерз? – спросила Надежда.

– Ничего, сейчас согреемся.

– От сожженных мостов… – отрешенно проговорила она.

– Хоть какая-то польза.

Мы сидели рядом и глядели в огонь. От доски еще шел парок, но она уже занималась по краям. На этот раз я не стал разуваться, вытянул ноги, впитывая тепло подошвами. Кажется, я задремал и вдруг очнулся.

– Что?..

Надежда смотрела вверх, в беззвездное небо. Повернула ко мне лицо, качнула головой.

Но вряд ли мне почудилось: *Господи, помилуй*. Я уловил ее молитву сквозь забытье, может, и не произнесенную вслух.

Не заметил, как задремал опять.

Проснулся, когда уже светало. Надежда сидела в неудобной позе, я привалился головой к ней на колени. Доска почти догорела; значит, Надежда передвигала ее. Парку свою она сняла и расстелила на ветках, чтобы нам не сидеть на земле.

– Надень, простынешь, – я спешно поднялся. Меня передернуло от мозглой рассветной стылости.

– Нет, мне не холодно.

В тонком свободном свитере и темных брюках милитари она не выглядела замерзшей. И усталой не выглядела, лицо свежее, только на волосах порошинки пепла от костра. Похоже, она и умыться успела.

– Ходила к реке?

– Ходила. Как ты?

– Нормально. Пойду плеснусь тоже.

Она хотела что-то сказать, но передумала.

Я побрел к реке. Мысль о холодной воде была болезненной, но надо было выбить из себя сонную одурь. Меня познабливало, но это спросонок. Солнце едва пробивало тучи над дальним перелеском, но уже одно его присутствие грело душу, как это всегда бывает при восходе.

На ходу я искал глазами дерево, послужившее нам мостом, и не находил. Я был уверен, что не уклонился в сторону, потому что еще издали различил другой ориентир: силуэт машины. С ней было что-то не так; я прибавил шаг.

Над водой висел легкий туман, но его уже разгонял ветерок, и выше видимость была хорошей. Со своего берега я отчетливо разглядел машину – то, что от нее осталось. Черный, сквозящий на просвет кузов с выгоревшим салоном, без дверей и стекол, голые диски без резины, искореженная задранная крышка багажника. Капот был сорван и валялся поодаль.

Странно, я не испытал шока, лишь какой-то толчок в сознании – словно кто-то внутри меня сказал «упс!» и потер ладошки с таким, знаешь, мрачным удовлетворением. Словно этот кто-то ничего другого и ждал.

Не было ни потрясения, ни сожаления о загубленной машине, только мгновенная тревога: как случилось, что мы ничего не заметили? Мы остановились неподалеку, и зарево от горящей машины не могло не привлечь нашего внимания. И раскурочить ее бесшумно, даже отключив сигнализацию, вряд ли бы удалось – в ночной тишине этой богом забытой глуши мы не могли не услышать. Да и не похоже, чтобы грабители заботились о скрытности...

Проспали? Оба?

Что-то не складывалось.

Я не чувствовал запаха свежей гари; он не мог выветриться так быстро и непременно долетел бы сюда. Да и само пожарище не выглядело свежим: нигде не тлело, не курился дымок…

И река показалась мне шире, чем ночью, и противоположный берег выглядел иначе. Обрыв, на котором я оставил машину, исчез, подмытый и сглаженный, похоже, не одним половодьем. Остался пологий скат, благодаря чему я мог наблюдать место пожарища во всех подробностях.

И чем пристальней я всматривался, тем неотступнее пробивалось в сознание нелепая догадка. Это случилось не минувшей ночью. Это случилось давно.

Так давно, что колесные диски на треть погрузились в землю, а на выгоревших участках вокруг почернелого остова успела не раз прорасти трава. Несколько сухих стеблей вцепились и в тонкий слой земли, скопившийся в углублении сорванного капота, и даже отсюда я различал на металле разводы ржавчины.

Дерева, по которому мы перебрались через реку, я так и не увидел; очевидно, его унесло очередным половодьем. Зато, глянув верх по течению, увидел следы еще одного пожара. Черные огрызки бревенчатых свай, на обоих берегах – обугленные остатки деревянного полотна. Мост, который я видел ночью.

Он тоже сгорел давно, золище успело порасти ивняком.

Но я видел мост этой ночью, целым.

Был мост, я уверен. Не мог же я принять за него эти головешки.

Повернул назад, продрог уже стоять.

Мы шли часа уже три, а я все не мог согреться. Солнце опять зарылось в тучи, и капля тепла, подаренная восходом, так и осталось несбывшимся обещанием. Холодный воздух щекотал носоглотку, кажется, я все же малость простыл, но монотонное движение помогало отвлечься от неприятных ощущений.

Река осталась далеко позади, мы шли по какому-то заброшенному проселку, и казалось, закрой глаза и открой через час – картина не изменится: те же поля, перелески, овраги… Мысли и эмоции словно отлетели, или я просто устал думать и чувствовать в напряжении последних месяцев, брел как в оцепенении. Словно все старые проблемы отпали разом, остались там за рекой, а новые еще навалились. Да так оно и было.

Мы выбрались на пригорок, Надежда задержалась, оглядывая окрестность. Ничего нового – унылые голые поля, островки кустарника, рощицы кое-где. Тучи стелились низко над землей, поднялся ветерок, и, остановившись, я сильнее ощутил холод. Я чихнул, Надежда оглянулась.

– Что-то в нос попало, – сказал я. – И платок где-то…

Она протянула мне свой, размером с почтовую марку. Я чихнул еще несколько раз. Каждый чих отдавался толчком в голове.

– Простыл, – сказала Надежда с тревогой.

– Ерунда, пройдет. – Я скомкал платок; он был мокрым и прозрачным. Сунул в карман, не возвращать же в таком виде. – Ну, куда двинемся?

Она колебалась.

– Может, перекусишь? Два дня не ел…

– Чем?

– Шоколадками своими.

– А… – Я и забыл про них. – Так не по правилам же – они тут вроде контрабанды.

– Теперь неважно. Все равно уже заболел.

– Типа за все заплачено? Нет, не хочется. Да и подумаешь, простыл малость – ерунда, поголодаю, и пройдет. – Я и раньше так поступал: засморкаешься, зачихаешь – голоднешь денек и забыл про сопли. – Так куда идем?

Она еще сомневалась. Потом махнула рукой:

– Туда, наверно…

Я посмотрел, куда она показала. Воздух как будто помутнел, я с трудом различил вдали, на пределе видимости, темную кайму. Она тянулась сплошной полосой на полгоризонта – не разрозненные чахлые рощицы, похоже, это был настоящий лес.

Не знаю, сколько мы шли. Однообразие ландшафта и размеренная ходьба вгоняли в отупение, я едва не дремал на ходу. Пару раз, выпадая из этого состояния, обнаруживал, что Надежда опережает меня, и спохватывался, ускорял шаг. Потом это прекратилось: то ли я перестал отставать, то ли она пошла медленнее.

– Отдохнем? – спросила Надежда. – Устала что-то…

По ней было незаметно, я не поверил. Да и негде тут было отдыхать. Не сидеть же в голом поле на земле. Возиться с костром из тощего кустарника, потом опять вставать… Лучше не останавливаться. Да и ветер как будто усиливался.

– Давай уж до леса дойдем, немного осталось. Там хоть ветра нет.

Мы двинулись дальше. Кажется, теперь мы пошли быстрее: я наконец согрелся и уже не чувствовал холода внутри, только болезненный озноб от прикосновений воздуха к коже. Ветер дул порывами: то наскакивал спереди, трепал по лицу, залезал под одежду ледяными пальцами, то заходил сбоку, то пропадал за спиной. Каждый вдох обжигал носоглотку, я не утерпел, расчихался.

– У тебя глаза красные. Температура, наверное, – Надежда тронула мой лоб холодной ладонью.

Я мотнул головой:

– Пойдем.

Шли опять. Я пытался рассмотреть лес впереди, но даль расплывалась мглистой пеленой, – то ли опускались сумерки, то ли мутилось зрение.

Шли.

– Смотри, снег, – сказала Надежда.

Я тоже заметил мельтешение в воздухе, но думал, у меня рябит в глазах. Изнутри поднимались горячие волны, я потел под одеждой, порывы ветра продирали по коже как наждаком.

Мы все шли. Иногда я спотыкался, но тут же старался выправиться, вернуться в ритм ходьбы. Надежда хотела взять меня под руку, но я должен был идти сам. Было очень важно не сбиться с ритма, продолжать движение.

В какой-то момент мне почудилось, что я иду не по земле. Вокруг стало светлее. Кажется, я остановился.

– Еще чуть-чуть… – голос Надежда дрожал, размывался, как и все вокруг. – Уже рядом… – Она тянула меня за собой.

Я не помнил, что должно быть рядом, но мы шли. Я все смотрел под ноги, пока не осознал, что земля осталась на месте, просто ее устлал снег.

– Вьюга… – повторял я, перебирая ногами. Кажется, она сказала, что вьюга.

Снег носился в воздухе, таял на лице. Но уже не обжигал – приносил облегчение. Снега становилось все больше, я шел по нему, как в детстве, загребая ногами, и горячие ноги млели в промокших до скрипа кроссовках.

Нас окружили деревья, мы шли среди них, как среди теней. Я больше не чувствовал ни ветра, ни холода. Куртку я где-то сбросил. Хотелось лечь в снег и растопить его своим жаром, и растаять самому, и утонуть в прохладе. Кажется, я так и сделал.

Очнулся, Надежда сидит рядом, вокруг лес, и тут же какие-то угрюмые мужики, стоят, молчат. Хотел встать – куда там, даже сесть не могу.

– Лежи, лежи… пей вот. – Надежда приподняла мне голову, бутылку с водой ко рту подносит, в ней какие-то стебельки болтаются. Вкус травяной, горький.

– Где мы? – свой голос не узнаю.

– Дома. – Она старается не плакать. – Все хорошо. Пришли.

У меня в голове туман, обрывки в памяти плавают: то ли снег слепящий, то ли свет в глаза, лицо ее, тени какие-то вокруг, а может, враги… или деревья? – не поймешь, где бред, где нет. Но силюсь с мыслями собраться.

– У кого дома? Где это?

– В становье. Где мы, там и дом наш. Так теперь.

– Пусть спит, – один из мужиков голос подал, тот, что пониже остальных; всего их трое было. – Силенок подкопит, там и думать можно, а пока – нечего.

– А это кто?

– Друзья. Лежи, лежи… Правильно Синец говорит – все потом. Спи. – Надежда по лицу меня гладит, ладонь на глаза положила. Я заснул, как провалился.

Только пить просыпался. Надежда из бутылки напоит, ладонь на лоб положит – и меня как течением уносит. От питья ли этого травяного, то ли мозги от жара уже перегорели – ни кошмаров, ничего не помню. Сон был как вода – черная, безмолвная; я опускался на дно, и тьма омывала меня, я таял как леденец… но не до конца, не до конца. Вынырнул вот – то, что осталось…

– …к свету.

При последнем слове Илия хмыкнул – не то сомнением, не то с иронией.

– В смысле?.. – не понял Рыжий.

– Да хоть в прямом. Тут, в становье, – весна вовсю, солнышко, теплынь, листочки… А я только и помню, как меня печет изнутри, а вокруг пурга, ветер. Две недели в горячке без памяти.

– А как сюда попал?

– Принесли. Буран, сказали, двое суток стоял, снега по колено навалило. Так по снегу и тащили…

–Те мужики? Так они вас случайно нашли?

– Надежда привела, из становья. – Илия помолчал. – Дошла она до него.

– Одна? А тебя оставила?

– А как еще-то? В парку свою укутала и пошла.

Помолчали еще.

– Ну да, – протянул Рыжий. – Хоть какой-то шанс. Хоть кому-то… Трудно ей было, наверное… решиться.

– Не шанс, – произнес Илия тихо, с нажимом. – Не кому-то, – вдавливая по слову в сознание Рыжего – или свое. – Не трудно.

– Ну как же…

– Нечего тут решать. Не сомневалась она.

– Как нашла еще, – посочувствовал Рыжий. – Не заплутала, не замерзла – в пургу, в лесу, раздетая…

– Не могла она замерзнуть, – медленно, как для тупого, проговорил Илия. – Это как проверка была. Тест.

– На что?

– На веру. На жертву. На все.

– Так это путь ее проверял? – догадался Рыжий. – А жертва – ты?

– Путь, все путь. – Илия словно не слышал вопроса. – Он завел, он и вывел…

– Это она так сказала?

– …Иначе все зря, да… – опять не услышал Илия. В рассветной мгле его лицо казалось застывшим, неживым.

Возникла заминка в разговоре, неясное напряжение повисло между ними.

– Ну и как тут? – Рыжий решил свернуть на другую тему. – В смысле живете, и вообще…

Илия молчал, плавал где-то мыслями. Вернулся:

– Прохладно уже, а им хоть бы что… – хлестнул веткой в воздухе по комарам. – А живем… сам увидишь.

– Ладно... – с обидой сказал Рыжий. – Только к чему весь этот разговор? Не я его затеял, в исповедники тебе не набивался. Ну, сам так сам…

Он хотел встать.

– Не гоношись, – упредил Илия. Рыжий не уловил его движения, лишь ощутил ладонь на плече; остался сидеть. – Увидишь, если задержишься.

– Что значит «если»? Куда ж мне еще деваться?

– Вот в том и дело – куда. Об этом речь. Думаешь, я тебе просто так все это рассказывал? Важно, чтобы ты понял кое-что. Для тебя важно.

– Что понял?

– А то. Просто так сюда не приходят. За все платить надо.

– Как платить? – растерялся Рыжий. – Кому?

– Да не мне же, – Илия усмехнулся, убрал руку с его плеча. – Все, кто сюда пришел, – уйти хотели. По-разному, не всегда себе признаваясь, не понимая даже, но хотели. *Оттуда* уйти. Не особо держала их та жизнь. В каком-то смысле их, может, их там и не было уже. Вот и ушли – кто от страха, кто от скуки, от тоски, кто – себя искать... да мало ли от чего. Так что не сюда они шли, да и неважно им было – куда, лишь бы *оттуда*.

– Это как в монахи уходят, что ли?

– Может, и в монахи... Только в монастырь – все равно под надзор, к людям. К другим – но людям. Зная, что примут тебя, присмотрят, наставят готовой мудростью. А тут – просто снялся и пошел. Куда, зачем – а бог знает.

– Типа Богу себя поручают?

– Это у кого Он есть – те Богу, наверное. У кого нет, тот просто ищет, верит, что найдет что-то, без чего жить ни к чему… Может, это самая трудная вера и есть.

– Это как Лучезар? Ну да… – Рыжему вспомнился рассказ своего вожатого и конвоира. – Только он не сам пошел, его голос позвал.

– Путь позвал – он и откликнулся. Значит, готов был.

– А ты? Тебе же зова не было.

– Я за Надеждой шел. Она – мой зов. Теперь-то я вижу: если что меня там и держало, то только она. А раз она там не могла, то и мне делать нечего.

– Но ведь были сомнения?

– Были. Путь меня и поправил.

– Тем, что чуть не убил? За пару шоколадок?

– Не убил же. Причиталось с меня, он и взыскал. А там и шоколадки в дело пошли. Надежда мне их, беспамятному, потихоньку скормила. Все равно я за них расплатился, а другого съедобного не было. Разве заячий помет еще…

– Что?

– Это когда шоколадки кончились. Синец его по снегу собрал – он тут вроде лекаря; питательно, мол, вместо мяса. Мне, как потом сказали, так все во рту вкус гадкий чудился. С тех пор о мясном и подумать противно… да какое тут мясо. Ладно, – оборвал себя Илия, – не обо мне речь. Короче: случайных здесь нет. Про Лучезара ты знаешь, про нас с Надеждой тоже. Про остальных говорить не буду. А ты?

– Я? – Рыжий пытался сообразить, чем грозит ему такой поворот темы. – Вроде, нет, не собирался никуда... в смысле *оттуда*. За грибами вот хотел, сел на электричку…

– Да знаю, знаю, – махнул рукой Илия, – Лучезар рассказывал... А до этого, до электрички, было что-то такое – ну, стресс какой-нибудь, желание все бросить, забыть?

– Бывало иногда, как у всех, наверное. Но так чтобы уж прямо позарез... Вот работу поменять бы, да не так это просто… да и терпимо, в общем. И потом, как это – бросить все? Там же люди, близкие… их тоже бросить?

– Девчонка осталась?

– Девчонки – не проблема… – огрызнулся Рыжий. Неожиданно для себя поделился: – Сестра вот осталась… мелкая еще.

– Ты-то матёр, – проворчал Илия.

– В общем, не собирался я – ни сюда, ни оттуда. И зова никакого не слышал. Может, я здесь случайно?

– Случайностей тут не бывает, – отрезал Илия. – Не слышал – не значит, что зова не было. Раз ты здесь, значит, путь тебя привел, по-другому быть не могло.

– Да на кой я ему, если сам не хочу? Так разве может быть – силком? Не хотел я сюда, понимаешь? И сейчас не хочу! Нечего мне тут делать!

– Вот и я так думаю, – кивнул Илия, и Рыжий осекся. – Но раз путь тебя сюда привел, значит, так надо было. А вот зачем? Сам сказал: не место тебе здесь. Я так думаю – дело не в становье. Не только в нем. Может, путь тебя только на время оттуда забрал.

– На время? – встрепенулся Рыжий. – Зачем?

– Ты по жизни ботан, я таких сразу вижу. Сидишь в своем офисе в уголку, как китаец на берегу реки, ждешь пока труп врага, который за соседним столом сидит и на тебя начальнику наушничает, сам мимо проплывет и тебе зарплату на три копейки повысят. У тебя и врагов-то нормальных нету, не заслужил, потому что драться тебе не за что. Я не про кулаки говорю, не думай. Просто жизнь, как ни крути, – борьба,

а попросту – драка. Кто за себя, за женщину, за дом, кто – за других, за весь мир, чтобы подправить его малость... Таким, как ты, драться не за что. Жить – не за что.

– Ничего себе. А там, на вырубе, – это не драка?

– Я же про тебя прежнего говорю. А что ты рейдера положил – как раз в тему: может, тебя для того и сюда и забросило.

– Чтобы я человека убил?

– Чтобы встряхнулся. Бог, или кто там пути раздает, глядел на тебя, глядел – а чего это он все на берегу сидит, а в воду не суется? Ну-ка я его за шкирку – пусть побултыхается, водички глотнет, глядишь, бодрее будет.

– По-злому у тебя все, не по-божески, – нахохлился Рыжий. – Жизнь – драка, Бог – людей в воду кидает, как щенков... На свою мерку меришь.

– Да где ж другую взять, – согласился Илия. – Ты не дуйся, я не в обиду. Просто в смысле, что Он на путь тебя наставил... А может, просто показать тебе хотел, что на том мире свет клином не сошелся. Там – это еще не все, что есть. Или что может быть.

– Ну, показал, ну, понял я – а дальше-то что? Назад меня вернет?

– Этого тебе никто не скажет. Может, еще куда направит, а может – обратно.

– А мне-то что делать?

– Идти. Путь ведет, а идешь-то по нему сам, своими ногами.

– Да куда же идти? – Опять лыко да мочало, с тоской подумал Рыжий, – «доверься пути», «иди»... Как идти, если он его не знает, не чувствует?

– Готовых ответов ищешь, – усмехнулся Илия. – В тебе они, внутри. Они всегда внутри – самые верные, самые честные. Такие, что докопаться боязно.

Да уж чего теперь бояться, подумал Рыжий. Смерти разве?.. Да, умереть он боялся. Но именно здесь, в этом мире он впервые столкнулся с ней не просто лицом к лицу – сам убил. Сейчас, отсюда – тот, прошлый, мир казался уютнее и безопаснее. Здесь Рыжий чувствовал себя клочком травы, сорванным с газона и брошенным на асфальт; оторванные корешки звали нестерпимой болью – назад, в почву.

– Скажи, а кто-то от вас уходил? Возвращался?

– Уходить – было дело. А вернулся ли, нет – не проверишь.

– Ты про Божена? Так он же погиб?

– Кто знает. Тела не нашли. Да я думаю, если бы и нашли… – Илия пожал плечами. – Может, он в только этом мире мертвый, а в том живой? В одном месте убыло, в другом прибыло… Тут весь мир раздвоился, а уж человек…

– Илия, а, по-твоему, это точно разные миры? То есть он еще существует – тот мир?

– А чего ж ему не быть? Думаешь, ты из него ушел – и миру конец? А из этого сбежишь – и он исчезнет? Нет, братец Лис, оба существуют. И сдается мне – один без другого не может.

В его словах прозвучала непонятная грусть, но Рыжий тянулся за своим, за надеждой.

– Значит, по-твоему, – допытывался Рыжий, – Божена сюда тоже путь привел? И назад вернул?

– Может, и так. Только Божен вряд ли об этом думал, сам-то он никакого пути не искал, только и норовил сбежать. Слепой был от страха, ничего тут не понял, не разглядел. Не в коня корм оказался. Путь его и отверг: что толку от такого?

– Отверг и назад вывел? Через болото?

– Все подсказки просишь? – усмехнулся Илия. – Нет, братец Лис, свой груз на меня не вали.

– Но ведь уже подсказал, – понурился Рыжий. – Надеждой поманил, на призрачный шанс намекаешь. Зачем? Избавиться от меня хочешь?

– Ты спросил – я ответил, – отрезал Илия.

Помолчал.

– Шанс, он всегда есть. Не каждому нужен только.

И опять в его голосе проскользнула посторонняя нотка – печаль? сочувствие? От скупой этой искорки участия Рыжему вдруг захотелось довериться, прильнуть к этому жесткому, опасному человеку. Прижаться по-детски, как к старшему брату, которого у него никогда не было.

– Илия, я тоже боюсь – *здесь*… Как Божен.

– Вижу. Страх – это ничего, не слепил бы только.

Илия отбросил ветку, которой отгонял комаров.

– Светает уже. Орехов набрать, что ли… Не надумал?

Возвращались молча. Илия шел впереди и грыз орехи. Только раз оглянулся:

– Болит нога?

– Да опять что-то, – осторожно поспешая, пожаловался Рыжий. – То ничего, а то вдруг…

– Тебе туда, – Илия ткнул вперед пальцем. – Досыпай.

– А ты? Где вы тут спите?

– Я не заморачиваюсь. Пока тепло, в лесу всегда постель найдется.

– А после, как похолодает?

– После и увидим. Если оно наступит.

– А остальные?

– А им не надо, – буркнул Илия и скрылся в лесном сумраке.

Окончание следует.

Поэзия

Надежда КНЯЗЕВА

Родилась в 1986 году в г. Лукоянове Нижегородской области. Окончила Арзамасский педагогический институт, работает учителем английского языка в сельской школе. Лауреат поэтических конкурсов «Всемирный Пушкин», «Бегущая строфа», «Филатов фест», «Всемирный день поэзии» и других. Член Союза писателей России. Автор трех книг стихов.
Живёт в Арзамасе.

ОТКРОЙ МЕНЯ. Я КНИГА. МНЕ ТЕМНО

Малометражный мир

Врастая в грунт кредитов и квартир,
Ложась на дно районов многоспальных,
Мы создаем малометражный мир
Настольных пятен, надписей наскальных.

Насыщенный досуг, насущный хлеб.
В конце тоннеля – свет настольной лампы.
Теряясь в вышине, опоры ЛЭП
Несут равнину неба, как атланты.

Не жалко дни, как серые листки,
Срывать с дешевой календарной кроны.
Не страшно плыть в течении реки
В тоске провинциального перрона.

Но вынырнешь – а ночь так молода!
Висит звезда – холодный света сгусток.
Высоковольтный ветер в проводах.
И пусто, и светло.
Светло и пусто.

Анатомия

Цепляемся вечно, желая бессрочно
Удерживать небо в горстях,
Где плоть этажей прорастает сквозь почву
И город стоит на костях.

И, перебегая моста позвоночник,
Понять – замереть на лету:
Он мною заполнил – на время, непрочно –
Межрёберную пустоту.

Что скрыто в других, мы и сами не знаем,
Хоть воздухом дышим одним:
Какими пустотами сами зияем,
Какие секреты храним.

Мы суетно видим одни силуэты,
Дежурные лица для дел.
Когда бы кто ведал, какие скелеты
Хранятся в шкафах наших тел.

Латунная луна

На теплой тыльной стороне луны
Латунь хранит латынь крылатой фразы.
Ладонь в ладонь, парабола волны.
Ночь обнажает космос, чтобы сны
Смотреть оттуда безоружным глазом.

И суть вещей становится видней:
Иные имена, переплетенья,
Что трудно разглядеть при свете дней.
Ночь – это время, когда нет теней,
Поскольку в темноте мы сами – тени.

Латунным полумесяцем звеня,
Она вселяет первобытный страх,
Чтобы ладони вновь соединять,
Чтобы смотреть на языки огня
И говорить на этих языках.

Август

Август. Полёта лета сдержать не можешь,
И на продление нет ни малейших прав.
Хочется жадно вплавиться в его кожу
И продолжать движение только вплавь.

Полдень плывет, сонные бродят люди,
Рыбы щекочут борт, разбивая блик.
Дай мне поддаться этой слепой иллюзии –
Вечным назначить этот блаженный миг.

Пусть этот мир как облако будет легким,
Чтоб его ветер мог на плечах держать.
Пусть нам с тобой для августа хватит лёгких,
Чтобы его вдохнуть.
Чтобы им дышать.

Привратник

Привратником быть, вероятно, немного веселья:
Превратности предотвращать, ограничивать вред,
Закладывать за воротник приворотное зелье,
Сквозь горлышко-призму взирать на вращенье планет.

Скрипит турникет. Кто-то входит и кто-то выходит.
Царапают метеориты небесную твердь.
Привратника, вроде, от этой работы воротит,
Но предан и верен – привык за порядком смотреть.

И если мерцающий купол закрутит в воронку
И мрак кровожадный из чёрной дыры потечет,
Он знает, какую и где подкрутить шестерёнку,
Чтоб не подорвался нулями обратный отсчёт.

Сквозь длани дверей пропуская потёртых подростков,
Привратник ворчит по привычке: натопчете тут…
И всем привирает: вот выслуга, выйду на отдых,
А вдруг – за примерную службу – подарят звезду?

Завиток

Кругосветку пройдя, возвращается в порт корабль.
Патефон по шершавому следу ведёт иглу.
Часовая пружина подталкивает стрелу.
Завиток на затылке закручивается в спираль.

Всё циклично. Форель целует изгиб крючка.
Трилобит утыкается в камень холодным лбом.
В объективе глаза, цианисто-голубом,
Диафрагма распахнута в водоворот зрачка.

Всё циклично. Рождение, рвение, забытьё.
Горстку атомов вместе держит душа-магнит.
Завиток на затылке закручен, как аммонит.
Исчерпаемое
Ископаемое
Ты моё.

Примеришь осень

Примеришь осень – и для лета умер ты:
Становятся длиннее платья, сумерки,
И списки дел, и ленты новостей.
Каким-то лицам с лицами суконными
Деревья платят золотыми кронами
За летний жар и бурелом страстей.

И солнце улыбается растерянно,
И всё, что летом второпях посеяно,

Взойдёт нескоро из земных тисков.
Деревья платят самодельным золотом,
И голова осенняя прополота
От летних сорняков и пустяков.

Off/On

По колее стелется лента лет:
Это твой мир, он немудрён и мал.
Только вот – щёлк! – кто-то включил свет,
И понимаешь: раньше была – тьма.

Время тогда мимо тебя текло,
Не было слов, не приходил сон,
Только вот – раз! – кто-то протёр стекло,
Жизнь из режима «off» перевёл в «on».

Ламповый тёплый голос в тебе чист.
Пульса прибой, как метроном, прост.
Кто бы то ни был – друг ли, антагонист –
Он тебя – хоп! – выровнял в полный рост.

В скважине глаза ночь устаёт течь:
Фраза и боль,
Фаза и ноль –
Счёт.
Кто-то случайно луч превратил в речь –
И его свет в венах твоих течёт.

Кто я такой

Движенье губ рождает строчку букв,
Таких знакомых для произношенья.
Что в имени моем? Оно продукт
Чужих речей, и словно отраженье –
В холодном зазеркалье – теплых рук,
К объекту не имеет отношенья.

Кто я такой? Я склеен из других,
Сказавших обо мне хотя бы фразу.
Чтоб не нарушить ожиданий их,
Я этими сужденьями повязан.
Я слово «вечность» в ледяных твоих,
За рамками словарного запаса.

И голос неуверенно дрожит,
С волнением справляясь неумело:
Кто я такой? Мне не принадлежит
И при рожденье выданное тело,
В грудном отсеке сердце дребезжит,
А в нем ржавеют сломанные стрелы.

Сухой остаток растворён в крови –
Гармония гормонов. И зачем-то
Они играют мною. Се ля ви,
Эмоции – лишь химия моментов,
И в целом, нет ни счастья, ни любви,
А только столкновенье элементов.

Книга

Я книга. Чёрных строчек этажи.
Открой, когда тоска скребёт когтями,
Листок к больному сердцу приложи –
Затянет раны.
И сюжет затянет.

К себе не примеряй прямую речь:
Вся правда между реплик прорастает.
Мы так легко меняемся мостами,
Которые необходимо сжечь.

Открой – чтоб мне читать тебя в пути,
Страницами сплетаться с волосами.
Не сторониться пальцев. Ощутить
Шероховатость твоего касанья.

Коснешься дна – а там двойное дно.
Открой меня.
Я книга.
Мне темно.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.

Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. При советской власти на Родине не издавался. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В 1980-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки.

Награждён медалью Кирилла и Мефодия – за выдающиеся достижения в отечественной словесности (1996), медалью Циолковского – за космический масштаб его поэзии (2006). Лауреат премии имени Андрея Белого (1980), Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2011), Бунинской премии (2012).

Живёт в Коктебеле.

...И ЕСЛИ РЕЧЬ – В НЕЙ КЛЮЧ И КЛИЧ

* * *

Воображенья торжество
Да непомерные мученья,
Как бы на грани всепрощенья,
А рядом – рядом никого.

Покуда силятся сверчки
Пощаду вымолить у неба,
Я жду и всматриваюсь – все бы
Так миру были бы близки.

Когда бы все ловили так
Приметы каждого мгновенья,
В ночи оттачивая зренье,
Прозрел бы звук, звучал бы знак.

Не потому ли мне дана
Впрямую, только лишь от Бога,
Как небывалая подмога,
Душа – и чувствует она,

Как век, отшатываясь прочь,
Клубясь в сумятице агоний,
Зовёт, – и свечка меж ладоней
Горит, – и некому помочь,

Никто не может, ничего,
Что схоже с откликами, нету, –
И вот, в тоске по белу свету,
На ощупь ищешь ты его.

* * *

Век не гулянье и кровь не вода,
Верность и та запоздала,
Время пройдёт – и не сыщешь следа,
Где красота отрыдала.

Время вплеснётся – и вытянет нить,
Свяжет узлы и событья, –
В чём же ненастье ты хочешь винить
С нечистью, с волчьею сытью?

В том ли, что часто встречались они
В трудную пору, в дороге?
Время встряхнётся – и прежние дни
Кажутся чище в итоге.

Век ненасытен – и поздно вставать
На перепутье дозором, –
Время взгрустнёт – и нельзя горевать,
Глядя на пламя с укором.

Ходишь и смотришь – и дальше ходи
Там, за рекою рябою,
Слышишь и видишь – и дальше веди
Всех, кто пойдёт за тобою.

Хочешь и можешь – и должен пройти
Весь лабиринт становленья,
Чуешь и веришь – и должен в пути
Всех оставлять в изумленье.

Проще смотри на земные дела,
Реже советчиков слушай,
Чаще молись, чтобы вера вела
Кромкой меж морем и сушей.

Шире объятья для речи раскрой,
Душу свою сберегая,
Чтобы вон там, за Святою горой,
Эра встречала другая.

* * *

Слова и чувства стольких лет,
Из недр ночных встающий свет,
Невыразимое, земное.
Чью суть не всем дано постичь,

И если речь – в ней ключ и клич,
А может, самое родное.

Давно седеет голова –
И если буйною сперва
Была, то нынче – наподобье
Полыни и плакун-травы, –
И очи, зеленью листвы
Не выцвев, смотрят исподлобья.

Обиды есть, но злобы нет,
Из бед былых протянут след
Неисправимого доверья
Сюда и далее, туда,
Где плещет понизу вода
И так живучи суеверья.

И здесь, и дальше, и везде,
Судьбой обязанный звезде,
Неугасимой, сокровенной,
Свой мир я создал в жизни сей –
Дождаться б с верою своей
Мне пониманья во вселенной.

* * *

Те же на сердце думы легли,
Что когда-то мне тяжестью были, –
Та же дымка над морем вдали,
Сквозь которую лебеди плыли,
Тот же запах знакомый у свай,
Водянистый, смолистый, солёный,
Да медузьих рассеянных стай
Шевеленье в пучине зелёной.

Отрешённее нынче смотрю
На привычные марта приметы –
Узкий месяц, ведущий зарю
Вдоль стареющего парапета,
Острый локоть причала, наплыв
Полоумного, шумного вала
На событья, чтоб, россыпью скрыв,
Что-то выбрать, как прежде бывало.

Положись-ка теперь на меня –
Молчаливее вряд ли найдёшь ты
Среди тех, кто в течение дня
Тратят зренья последние кошты,
Сыплют в бездну горстями словес,
Топчут слуха пустынные дали,
Чтобы глины вулканный замес
Был во всём, что твердит о печали.

Тронь, пожалуй, такую струну,
Чтоб звучаньем её мне напиться,
Встань вон там, где, встречая весну,
Хочет сердце дождём окропиться,
Вынь когда-нибудь белый платок,
Чтобы всем помахать на прощанье,
Чтоб увидеть седой завиток
Цепенеющего обещанья.

* * *

Покуда завораживаешь ты
Своим напевом горьким, Киммерия,
Бессмертен свет, сходящий с высоты
На эти сны о воле неземные,
На этот сад, где, к тополю склоняясь,
Тоскует сень сквозная тамариска
О том, что есть неназванная связь
Примет и слов, – невысказанность близко,
Чуть ближе взгляда, – ветром шелестит,
С дождём шумит, якшается с листвою,
То веткою масличною хрустит,
А то поёт над самой головою,
О том поёт, что нечего искать
Вот в этой глуби, выси и просторе,
Поёт о том, что сызнова плескать
Волною в берег так же будет море,
Как некогда, – как, может, и тогда,
Когда потомкам что-нибудь откроет
Вот эта истомлённая гряда,
В которой день гнездовье не устроит, –
И вся-то суть лишь в том, чтоб находить
Всё то, что сердцу помнится веками, –
И с этой ношей по миру бродить,
Рассеянно следя за облаками.

* * *

Навестила б сызнова меня
В серебре тускнеющего дня
Та, что столь желанною бывала
В те года блаженные, когда,
В час, как выйдет первая звезда,
Стольких песен строки даровала!

В тишине шагреневой, сквозной,
Сберегла бы отданное мной
Всем живущим щедрыми горстями,
Подняла бы светлое лицо,
Ненароком вышла на крыльцо,
Чтобы сладить, может быть, с вестями.

Знать, немало терний и корней,
Что упрямей были и верней,
Чем роенье позднее вниманья,
С этой тканью чаянья срослись,
Где преданья нитью запаслись
Все, кто ключ отыщут к пониманью.

Застилая шумной пеленой
Этот мир, поистине иной,
Чем когда-то, в юности прекрасной,
Свежий ветер за море летит,
Всех простит – и всё-таки грустит
На краю земли огнеопасной.

Кто его, скажите мне, хмельней?
Или впрямь в раздумиях полней
Этот круг, разомкнутый однажды,
Этот лад, распахнутый всему
И спасённый только потому,
Что не скрыл ни голода, ни жажды?

Нет ему ни отдыха, ни сна –
Не такие помнит времена –
И его за частыми слезами
Различишь, чтоб в бедах уцелеть,
Чтоб невзгоды вместе одолеть,
Постареть с открытыми глазами.

Нет мечтанью страхов или уз –
Не затеют разом девять муз
Невпопад общение с народом –
Что ему до слова моего? –
Вот и славим жизни волшебство
Под ещё родимым небосводом!

Татьяна КАДНИКОВА

Родилась в 1970 году в Пензе. Окончила Пензенский педагогический университет им. В.Г. Белинского, Литинститут имени А.М. Горького. Работает в библиотеке.

Автор ряда книг. Публиковалась во всероссийских и зарубежных изданиях. Член Союза писателей России.

Живёт в г. Заречном Пензенской области.

НЕБО СНОВА ИДЁТ К ЗЕМЛЕ…

* * *

Не успеет женщина умыться –
Ей любви бы чашечку горячую…
И спешит на службу с этой мыслью,
Там роняет что-то, ищет в ящиках.
Чтоб по магазинам пробежаться,
Ей любви, любви бы – с нежной пенкою.
Жарко ей в примерочных и жалко
Тратить время для любви бесценное.
Моет ли окно, на подоконнике
Стоя с тряпкой, ей до наваждения
Хочется прекрасного поклонника,
Чтоб поймал в объятья до падения.
И её – такую безмужчинную –
Пригласил, намеками не мучая,
На любовь – эспрессо, капучино ли,
Можно и с горчинкой в крайнем случае.

* * *

Скоро небо придёт к земле,
Будто в гости, на чай с вареньем.
Вместе будут сидеть в тепле,
Когда осень дождливым гребнем
Пробирает луга, леса –
Не видать ли сухих былинок?
Небо скажет: «Вот чудеса –
Чай осенний с сушеной сливой!»

А земля вздохнёт тяжело:
Ей в туманах, вечерних, ватных,
Добрых встреч сохранять тепло,
Земляничных объятий запах.
Самовар луны на столе.
Тучи зреют, как в печке сушки,
Небо снова идёт к земле…
Мы – к тому, кто нам греет души.

* * *

Завороженно смотрят старики,
Как воробьи дерутся из-за корок.
И кажется, что кто-то огоньки
Зажёг в зрачках их – чёрных коридорах,
Когда с чугунных падает оград,
Из облаков – их прокололи ветки,
Весёлый птичий дождь как из ведра.
И крыльев тень ложится им на веки.
И к воробьишке тянется рука
Седого деда, что в фуфайке летом,
Чтоб накормить от пуза дурака.
Пускай поймёт он: жизни суть не в этом.

* * *

Не губи меня, Дровосек!
Я лет сто уж сельчан не мучаю
И её не нарочно съел,
Эту бабушку самую лучшую.
Я сперва ей собакой служил:
Приносил домашние тапочки
И, клыки свои обнажив,
Улыбался я Красной Шапочке.
А потому вдруг забунтовал –
Надоело мыло с мочалкою…
Я ведь бабку и не жевал –
Проглотил прямо с креслом-качалкою.
Не губи меня, Дровосек!
Лучше спрячь топор под подушку.
Люди чаще сжирают тех,
Кто в них вкладывает свою душу.

* * *

Когда я состарюсь, свою красоту
Я подарю какой-нибудь девочке.
Скажу: лови её на лету!
Средство-то чудодейственное.
И встрепенувшись, она замолчит,
Моргая ресницами длинными.
А сердце моё веселей застучит,
Как будто занозу вынули.

* * *

Мне кажется, что смысл таков:
Созвездья, мишки два знакомых,
К землянам с неба тянут ковш,
Чтоб те могли его наполнить.
А люди ходят по земле,
Считая: в небе – вечный праздник.
И мишкам предлагают хлеб
Своих мечтаний и фантазий.
Приглядываюсь: мчатся дни –
Медведи сильно отощали.
И ясно мне, что их кормить,
Как мужа, следует борщами.
Чтоб дотянулись до небес
Две птицы – две руки с обедом...
А где-то в сердце ковшик есть,
Чтобы его наполнить небом.

* * *

Когда человек умирает,
То маленький-маленький лифт
На небо его забирает,
Где ничего не болит.
Он в пункт прибывает обменный.
И ждёт приглашения в суд.
А мимо контейнер младенцев
На грешную землю везут.

* * *

Слышишь, кресло скрипит?
Скрип да скрип, скрип да скрип –
Потирая затекшую шею.
Старый дом ещё спит, старый дом ещё спит.
Выстилаются сумерки шерстью.
А цветная звезда, извернувшись блохой,
В спину неба впивается краем.
Слышишь, ходиков ход: ох-ох-ох, ох-ох-ох,
Ха-ха-ха – голоса фотографий.
На рассвете сильней, пахнут вещи сильней –
Проступают их тёмные души.
А хозяйка во сне, все летает во сне,
Позабыв, что давно уж старушка.

* * *

Все убегало: мужчины и молоко…
Было смешно мне, но прежде бывало грустно.
Я зарубила себе на носу закон:
Речка не возвратится в сухое русло,

Волгою будь хоть – с жемчужинами на дне…
Всё растеряли мы, разбегаясь, напрочь.
Смерть была рядом, была по плечу вполне…
Только у жизни больше прекрасных качеств.
Я до сих пор не люблю в тех краях бродить:
Кто-то тебя узнает, окликнет, отметит словом…
В прошлом копаться – как пескарей удить
В глине сухой и гордиться своим уловом.

* * *

Женщина едет с горки
В шубке своей из норки.
Грустно ей, ты хоть тресни,
В путах своих депрессий.
Женщина едет с горки.
День начался с разборки,
День начался с обманки –
Вот и схватила санки.
Женщина едет с горки
Мимо собаки, кошки…
Вот она в карусели
Врезалась для веселья.
Так помогите, боги! –
Спрячьте её в сугробе.
В жертву примите шубку,
Жизнь превратите в шутку.
Дайте хоть на денёчек
Всё, что она захочет!

Проза

Павел КРУСАНОВ

Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил педагогический институт им. А.И. Герцена (ЛГПИ) по специальности «география и биология». Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати. С 1989 года начал работать в издательствах на редакторских должностях. В настоящее время – главный редактор «Лимбус Пресс».

Лауреат премии журнала «Октябрь» (1999), финалист премии «Национальный бестселлер» (2003, 2006, 2010) и премии «Большая книга» (2010). Живет в Санкт-Петербурге.

КОНЕЦ РЕЗИДЕНТА

«Если дюгонь – рыба, то человек – птица», – Пётр Алексеевич проводил взглядом три рокочущих вертолёта, кочующих в дрожащем небе цепочкой к авиабазе в Острове. Недавно он перечитал «Моби Дика» и вновь подивился причудливой систематике китов, которую автор приводил в своём почтенном сочинении. Сиреновые – ламантины, дюгони и приказавшие долго жить стеллеровы коровы – по этой классификации относились к рыбам на том основании, что не пускали водяных фонтанов.

У небольшого озерца, сочащегося долгим ручьём в речку Скоробытку, съехали на обочину и заглушили двигатель. Пал Палыч хотел посмотреть – не сидит ли где утка. Осторожно, чтобы ненароком не хлопнуть дверью, он взял с заднего сиденья пятизарядный винчестер, спустился боком, припадая на одно колено, по откосу и, нырнув в серые заросли ольхи, скрылся из глаз.

Вечерело. Лягушки давали на озере звонкий концерт. По другую сторону дороги за прозрачными кустами лозы, обсыпанными пуховыми комочками вербного цвета, носились над болотистым лугом белобрюхие чибисы. Пётр Алексеевич тоже вышел из машины, вдохнул полной грудью сырой, напоенный земляными запахами прели воздух, взял ружьё и встал возле испускающего печной жар капота. Прислушиваясь к ору и свисту проснувшейся жизни, он следил за береговыми кустами, – вдруг Пал Палыч спугнёт утку и та сдуру махнёт в его сторону.

Бурая прошлогодняя осока стелилась по лугу, то тут то там щетинящемуся сухими стеблями дудок. Молодые стре́лки зелени только начинали пробиваться сквозь зачёсы старого травяного ворса. Пётр Алексеевич собирался добыть сегодня вальдшнепа на тяге. Вместе с уткой боровая птица была вписана в путёвку, взятую им в охотхозяйстве. Небо как на заказ понемногу застилали ровные облака, обещавшие не то хмарь, не то морось, но при этом было довольно тепло – лучшей погоды не стоило и желать.

Вскоре Пал Палыч показался из кустов. На озерце было пусто, если утка здесь и садилась, то сейчас укрылась в прибрежном *сите* (Пал Палыч называл озёрный камыш то тростой, то ситом, поскольку внутри тот был губчатым, в дырочку; при этом Пал Палыч полагал, что троста – местное словечко, в то время как сито – учёное, книжное название) или землисто-бурой траве дальнего тряского берега. Хоть утки и не было, Петра Алексеевича не покидало чувство радостного возбуждения, пропитывавшее, казалось, всю материю мироздания – лягушки заливались в этой луже так самозабвенно, так радостно голосили о своём житье-бытье, как, должно быть, ангелы седьмого неба, встречая душу праведника, славят Царствие Небесное.

После озерца отправились в Иваньково, где Пал Палыча ждал дед Геня, былой товарищ по охоте, теперь постаревший, потерявший зубы и ловчую прыть. Он звонил утром, сказал, что видел следы – кабаны перешли дорогу и теперь бродят в чащобе, где Пал Палыч на звериной тропе, рядом с засидкой в семнадцать набитых на ствол осины ступеней (меньше нельзя – учуют), сыпал на прикорм кукурузу. Если Пётр Алексеевич имел виды на вальдшнепа, то Пал Палыч намерен был провести ночь на дереве. Твердить ему о неприглядности самовольного пострела не имело смысла – на этот случай у него в запасе был ворох встречных аргументов, начиная от претензий прохвостам-егерям и оборотням-охотоведам, готовым выгнать зверя под ружьё местного бугра или залётного туза в любой сезон, и кончая лицемерными исключениями – мол, коренным народам Севера не возбраняется бить заповедного тюленя и кита, поскольку это их природный промысел, а мужику в добыче, какую брали искони в лесу его отцы и деды, отказано. Разгорячённое подобным спором лицо его без слов говорило: хрен с коромыслом. Пал Палыч был уверен, что нипочём не возьмёт на охоте лишнего, а потому и зверя от его малого беззакония не убудет. Стеллерова корова эту уверенность, воскресни она и прими участие в прениях, определённо бы не разделила.

Слушая такие речи, Пётр Алексеевич всякий раз убеждался, что люди волевые от природы не годятся в мыслители – истина постоянно требует от человека уступки перед своей непреложностью, а сильные натуры на уступки скупы.

– Всё хотел спросить, Пал Палыч, – Пётр Алексеевич аккуратно объезжал торчащие из грунтовки булыганы, – а что Гарун?

– А что Гарун? – Пал Палыч поднял белёсые брови.

– Охотитесь?

– С им?

– С ним. Толк есть?

– Толк есть, – Пал Палыч вздохнул, – да, знать, ня втолкнут весь.

Пётр Алексеевич мотнул с усмешкой головой.

– Вы, Пал Палыч, иной раз как юродивый.

– Так мы, Пётр Ляксеич, какие есть. – Пал Палыч задорно улыбнулся. – А что ня так?

– Да говорите, будто Ксения Блаженная, прости, конечно, Господи… Слыхали? Та тоже – всё загадками. Её в сочельник добрым словом привечают, а она: пеките блины, пеките блины…

– А скажу ясно, – подбоченился Пал Палыч. – Испортили собаку в городе. Я её и той вясной натаскивал, и осенью по чарнотропу, когда травы отцвели и ня сбивают больше запахи. Ни в какую – заснула в ней ро́да. Загубили пса хозяева́-то прежние. Загубили подчистую.

Гаруна, породистую двухлетнюю лайку, год назад привёз Пал Палычу приятель Петра Алексеевича – зоологический профессор Цукатов, тоже любитель побродить с ружьём. Так вышло, что его учёный коллега от Гаруна отказался – брал щенком как домашнего питомца, а он вырос и стал велик для городской квартиры. Пётр Алексеевич знал суровую простоту здешних нравов – тут охотник бестолковую собаку за здорово живёшь кормить не станет – и взгрустнул о незавидной судьбе красивого чёрного пса с белой грудью и хвостом-бубликом. Пусть Гарун не промысловик – но мог ведь стать другом, весёлым и верным…

– В лес отвели? – Голос Петра Алексеевича окрасили траурные нотки. – Под ракитовый куст?

– Под какой такой куст? – переспросил Пал Палыч.

– Это так, фигура речи.

– Вы, Пётр Ляксеич, меня ня путайте. Мы в школе как учились? В первом классе – год, во втором – два… Я Гаруна Гене отдал. Дед уж ня охотится, один живёт, а так хоть рядом есть кто – существо.

– Это вы хорошо, – взбодрился Пётр Алексеевич. – Правильно сделали.

– Он его на цапи во дворе держит. Чтоб лихо ня подкралось.

– Домашнего пса – на цепи?

– Ему ня нравится, а что поделать? Ня гожий на охоту. Сорвётся, по дяревне покружит, а потом обратно прибягёт.

Пётр Алексеевич решил тему не развивать, подумав о себе рассудительно: «Ну, брат, тебе не угодить».

С Гаруна разговор перешёл на деда Геню. Когда Пал Палыч только начинал баловаться ружьём, Геня был уже знатным охотником, знал повадки зверья и ходил в лес, как в свой дровяник за поленом. Молодые побаивались старших – вдруг зайца возьмёшь, а Геня скажет: то ж мой, я его к празднику, на Покров берёг. И не поймёшь по неопытности – балагурит или всерьёз. Теперь не то. Теперь не было над Пал Палычем шишкаря, кроме леса-батюшки и небесных ловцов, что ушли не превзойдёнными и ястребиным глазом видят сверху зверя на путях его. «Нас в сямье восемь дятей было, – иной раз впадал в сдержанную похвальбу Пал Палыч. – Старшой помёр скоро, ма́льцем ещё – меня отец, как его, Пашкой назвал. Так за двоих и живу: болячек в детстве – ломом ня отбиться. И паховая грыжа, и дистрофия – ноги колесом, и этот самый… инурез – до сядьмого класса в постель мочился, до созрявания. Но, правду сказать, и силёнок на двоих – Бог ня обидел. Это в смысле той силы-то, жизнянной – няугомонный больно. В лясу сутки буду бегать – ня умаюсь».

Жизненная сила, должно быть, далась ему по наследству. Рассказывал Пал Палыч, что отец его в девятнадцать лет со старыми родителями (он был младшим из семи сестёр и братьев) оказался в оккупации. Когда немцы по деревням собирали годный к работе люд, чтобы гнать в Германию, отец схитрил, прикинулся мёртвым – лёг в гроб посреди горницы, а на двери бумажка: «Осторожно – тиф!» Но немцы, видно, по-русски не читали. Пришли – один у окна встал, другой у дверей, а третий – в дом. Старики-родители голосят, да бестолку. А как фриц отца в гробу в белом исподнем увидал, так смекнул и – дёру. Словом, уберёгся – чего он в их Германии не видел?

Теперь Пал Палыч вещал с пассажирского сиденья:

– Если на кабаньей тропе место ищешь, куда корм сыпать, гляди, где свиньи рылом зямлю́ грабли. И чтобы рядом дерево годящее, куда и пярекладины набить и засесть удобно. А ещё – чтобы сосна или ёлка большая. Кабан любит о них тяреться – паразитов со шкуры на смолу клеить. Та сосна вся в шарсти, и кора у ней клыком пропорота, чтобы сочила всплошь. – И он полоснул рукой по воображаемому стволу, оставляя на нём смолистую зарубку.

Дед Геня встречал гостей на крыльце – в старой, неопределённого цвета куртке, сливающейся с любым природным фоном, засаленных штанах и обрезанных под боты резиновых сапогах, обутых поверх шерстяного носка. Прошамкал что-то не то приветливое, не то лукаво-недовольное – Пётр Алексеевич не разобрал. Зато Пал Палыч по-свойски хохотнул и протянул хозяину прихваченный из дома пакет:

– На-ка вот, попробуй нашего.

В пакете была кроличья тушёнка, закатанная в стеклянной банке, и пара уже почищенных Ниной щук – ведро свежей рыбы Пал Палыч утром привёз с Селецкого озера, где у него стояли сети. За крыльцом, возле конуры, заливался на привязи Гарун.

Приняв пакет, дед Геня снова что-то *протарабарил* беззубым ртом, словно говорил на языке шуршащей под ногами сухой травы и шумящего на ветру прошлогоднего камыша. «Как в опере», – подумал Пётр Алексеевич, имея в виду не музыкальность речи, а то, что и там и там разобрать слова было одинаково трудно. Недавно он с женой ходил в театр, где давали «Царскую невесту», и впечатления от спектакля были ещё свежи. В том числе благодаря режиссёрскому решению – опричник Грязной был похож на Раскольникова в горячке, а боярин Лыков, вернувшийся из неметчины, – на Ленского, поскольку костюмеры нарядили его во фрак, цилиндр и крылатку.

Дед Геня между тем продолжал свою арию. Пётр Алексеевич попросил Пал Палыча перевести.

– Охота, говорит, нынче ня та, – с готовностью растолковал Пал Палыч. – Раньше зверья было ня в пример гуще. Зайцы без счёта, кабаны, козы, лисы… За баню иной раз выйдешь, а там лоси стоят как на привязи.

Дед Геня закивал – ввалившийся рот его некрасиво улыбался, зато глаза… глаза сияли.

– Ты, дед, когда помрёшь, меня ня забывай. – Пал Палыч потрепал хозяина по плечу. – Оттуда, с облаков-то, веди меня на кабана. Если ня туда заверну, ты направляй. – Недолго помолчав, Пал Палыч добавил: – А и ня знаю, помрёшь ли. Такие, как ты, ня умирают – такие навсегда остаются в нашей пячёнке.

Дед что-то прошамкал в ответ и засмеялся. Смех его в услугах толмача не нуждался.

Пал Палыч зашёл в комнату и достал из шкафа зачехлённое ружьё, которое держал здесь специально на браконьерский случай. Свою магазинку поставил на его место. Ружьё – двуствольная ижевка – едва ли не за бутылку было приобретено им с рук в соседнем Дедовичском

районе ещё в начале бедовых девяностых и, разумеется, нигде не регистрировалось. Если что, его всегда можно сбросить, потом разбирайся – чьё добро.

Собравшись, наконец пошли к машине.

Дед Геня неожиданно изъявил желание ехать с ними.

– Ладно, – сказал Пал Палыч. – Вы, Пётр Ляксеич, пока вальдшнепа слушаете, Геня рядом побудет. А я – на засидку. Как смяркнётся, вы сюда – в Иваньково. Подрямлите. А я покараулю до полнóчи – и тоже к вам.

Пути от Иванькова до перелеска, где обычно тянул вальдшнеп, было километра два. На глинистом просёлке, отражая бледное небо, взблескивали небольшие лужи. Поля вдоль дороги, на которых некогда ходили волной под ветром овес, рожь и голубой лён, теперь бесхозно зарастали где березняком, где молодыми соснами. Геня с заднего сиденья что-то вещал, но чувствовалось, что он обращается к слушателям без особой надежды, как поэт к звезде.

Добравшись до места, Пётр Алексеевич свернул с просёлка и завёл машину на небольшой холм, поросший редкими кустами, которые дальше густели и переходили в опушку перелеска. По бездорожью машина шла уверенно – земля была упругой: тёплая весна пока скупилась на дожди, и почва, напитанная лишь талыми водами, не раскисла.

– А правильно, – одобрил Пал Палыч и махнул рукой в ту сторону, куда бежал путь. – Там дорожина в низок идёт, грязь такая – на брюхо сядете.

Воздух дышал влажными запахами пробудившейся земли. Пока Пётр Алексеевич переобувался в сапоги, Пал Палыч закинул на спину рюкзак с топориком, положил в карман, аккуратно смотав проводок с выносной кнопкой выключателя, небольшой подствольный фонарь и подхватил ижевку. Махнув на прощание рукой, он быстрым шагом направился в тот самый низок, за которым по полю и лесу ему предстояло ещё пару вёрст топать до засидки.

Дед Геня, попыхивая папиросой, переминался с ноги на ногу возле машины. На нём были всё те же обрезанные под боты сапоги и засаленные штаны, только куртку теперь запирала молния и перетягивал ремень.

Понемногу смеркалось – до заката оставался чих бараний. В лесу за низиной, где скрылся Пал Палыч, бормотал тетерев, на голой берёзе, молодые ветви которой красновато румянились спросонок, звонко щёлкал дрозд, кто-то тенькал, кто-то цвиркал, кто-то скучно, как подтекающий кран, цедил по капле один и тот же монотонный писк. Пётр Алексеевич подпоясался патронташем, зарядил ружьё семёркой и отправился к перелеску выбирать позицию. Дед Геня не отставал, то и дело покряхтывая и бухтя что-то себе под нос. Пётр Алексеевич разбирал лишь отдельные слова – похоже, старый охотник давал наставления и делился опытом. Увы, принять и оценить его уроки не было никакой возможности – чтобы постичь таинственный язык, в который нарядились ловчие секреты, требовался если не розеттский камень, то по крайней мере – программка с либретто.

Подступающие ли сумерки навеяли, птичий ли перезвон или образ деда Гени, беседующего со звездой, – припомнился внезапно Петру Алексеевичу завскладом типографии Русского географического общества Иванюта. Сам Пётр Алексеевич работал в этой типографии главным технологом. Практически ровесники, они были дружны. Завскладом писал стихи, несколько изданных им сборников с ироничными дарственными надписями стояли у Петра Алексеевича за стеклом книжной полки. Однажды в задушевной беседе Иванюта ему исповедался. В его юности не было поэтических конкурсов и премий, которые могли бы поддержать и высветить молодое дарование. Да и бес с ними, ведь в юности он твёрдо знал, что любая награда по своему достоинству всё равно окажется ниже его таланта и мастерства – чтобы она пришлась им вровень, ей следует быть исключительной и присуждаться раз в столетие. Потом он повзрослел, изведал аплодисменты, какое ни на есть лауреатство, прочие отметины признания и поверил – волна успеха, как могильная плита, накрыла пеной навсегда. Теперь он говорил себе, что не стоит требовать слишком многого – довольно и того, что талант чествуют и увенчивают, тогда как обычно он остаётся в безвестности. Потом волна схлынула, премии стали обходить его стороной, поскольку народились новые поэты и встали в очередь за венцами. И он покинул подступы к пьедесталам, сделавшиеся такими тяжкими от того, что недавно были столь радостными и утешительными. Вновь оказавшись без наград, он больше не мог согреться мыслью о ничтожестве их значения, потому что и сам его дар уже не виделся ему таким могучим и всепобеждающим, – тогда в сердце его закрались раздражение и ревность. Чтобы не пойти вразнос, он замкнулся, ушёл из шумного поэтического круга, где каждый считал себя гением и одновременно мучительно сомневался в собственной избранности, затворился во внутреннем скиту. С той поры он решительно избегал публичности, и это была одна из тех спасительных причин, которые позволяли ему иногда чувствовать себя счастливым.

Вот и дед Геня тоже словно был в затворе – не доброхотно, а, что ли, вынужденно, обречённо. Затвор навыворот – уединение благодаря невнятице, которой, точно кашей, был наполнен его рот, сам по себе вполне к общению готовый…

– Ну цо? Ружьё да у́да обедают худо?

Петр Алексеевич вздрогнул. Что это было? Кто сказал? И ясно так – звонкий отзвук как будто бы ещё вибрировал оборванной струной в пространстве.

Дед Геня улыбался, смоля вонючий табачок.

Бывает, мелькнёт безмолвно слово в голове, а кажется – снаружи громом громыхнуло. А тут не слово – целый табунок. Ну не старик же со своей изношенной, скрежещущей в суставах речью так чётко выдал…

Вдали раскатисто хлопнул выстрел. Дед Геня повёл ухом и откликнулся невразумительной тирадой, смысл которой, напрягшись, Пётр Алексеевич всё же уловил: картечь. Ну, то есть вдарили картечью.

Первая пара показалась над верхушками деревьев неожиданно – без циканья и хорканья. Или Пётр Алексеевич за весенним гамом спускающегося в сумерки леса их просто не расслышал. Вальдшнепы ссорились на лету, наскакивали друг на друга, закладывали резкие виражи, бросались в сторону, ныряли и вспархивали, стараясь достать один другого длинным клювом. Задиристые самцы летели невысоко, но стороной – не под выстрел. Тем не менее сердце Петра Алексеевича забилось бодрее, он приподнял ружьё и, весь обратясь в зрение и слух, проводил драчунов взглядом.

Дождь так и не брызнул, но в остальном порядок – тепло, безветрие и пасмурная пелена на небе.

Вскоре сквозь посторонние птичьи посвисты послышалась хрипловатая тростниковая дудочка: хрвок-хрвоок-ци-цик – раз, другой, третий – и в бледном свете неба над опушкой взмыл трепещущий вальдшнеп. Чуть упредив, Пётр Алексеевич сбил его одним выстрелом – ржаво-бурый, с волнистыми пестринами комок колесом рухнул вниз. Дед Геня удовлетворённо крякнул. Он сидел рядом на земле, подоткнув под зад полу куртки. День ещё не померк – долгоносую птицу Пётр Алексеевич нашёл без фонаря.

Пролётный вальдшнеп, похоже, уже откочевал, остался *местовой*, так что тяга была средней. Тем не менее Пётр Алексеевич подстрелил ещё двух и двух досадно упустил, пальнув одному в угон метров с двадцати дублетом и промазав, а другого попытавшись взять королевским выстрелом над самой головой и – тоже мимо, после чего наступило затишье. То есть вальдшнеп тянул, но в стороне, за низиной. Некоторое время Пётр Алексеевич ждал, что носатая пичуга пойдёт и на него, но та не шла, прочерчивая дуги над деревьями в недоступном выстрелу соседстве. Не утерпев, он спустился к дороге, миновал вдоль зарослей ольхи, стволы которой оплетал сухой прошлогодний хмель, широкую слякотную лужу в низине и встал с другой стороны перелеска, на краю опушки.

Затянутое хмарью небо уже почти погасло, лишь на западе из-за горизонта его озаряли последние закатные лучи. Вдали опять громыхнул гулкий выстрел, но в этот раз деда Гени рядом не было, а на свой слух Петру Алексеевичу все выстрелы казались одинаковыми – между тем, возможно, это уже Пал Палыч пулей бил подсвинка… Тут Пётр Алексеевич услышал хорканье и развернулся на звук к едва различимым во мраке кустам. Тростниковая дудочка свистнула вновь, ближе, ещё ближе, и впереди над ветвями показалась нечёткая чёрная точка. На Петра Алексеевича невысоко, над самыми кустами шёл вальдшнеп, как говорят охотники – *на штык*. Вскинув ружьё, Пётр Алексеевич выстрелил. Вальдшнеп рухнул вниз, в кусты, на устилающую сырую землю прошлогоднюю листву. Тут уж без фонаря – никак.

Провозившись некоторое время с поисками, Пётр Алексеевич подобрал добычу. Кругом плясали и тревожно разбегались разбуженные лучом фонаря тени. Вальдшнепу от лобового выстрела досталось – одна из дробин перебила ему верхний клюв, и он косо надломился, а в месте надлома повисла кровяная капля. Почувствовав ладонью на спине птицы что-то твёрдое, Пётр Алексеевич внимательно рассмотрел трофей: на ноге вальдшнепа болталось жестяное колечко, а на спине, подвязанный на двух тонких резиночках, продетых под крыльями, крепился, точно крошечный ранец, небольшой чип. «Отдам профессору, – подумал про кольцо и чип Пётр Алексеевич, – он знает, как распорядиться». Настроение у него было бодрое – охота удалась.

Между тем сумрак над кустами и в стоящем за ними лесу сделался и вовсе непроглядным. Пора было возвращаться. Светя под ноги лучом и разбрызгивая тени, Пётр Алексеевич отправился назад через раскисшую низину.

Дед Геня сидел на устланной старой травой земле у машины, привалившись спиной к двери, и дымил папиросой. Машину Пётр Алексеевич не закрывал, так что тот мог преспокойно разместиться внутри, но отчего-то не разместился. Бросив окольцованного вальдшнепа на землю возле колеса, где уже лежали три птицы, Пётр Алексеевич открыл багажник – достать пакет, чтобы добыча не пачкала кровью рюкзак и коврик. С кряхтением поднявшись с земли, дед разразился чередой шершавых звуков, судя по интонации – одобрительных. И в самом деле: в такой темноте взять вальдшнепа одним выстрелом – дело не плёвое. Пётр Алексеевич внутренне улыбался: похвала старого охотника, пусть даже не вполне разборчивая, была ему приятна.

И вдруг отчётливо, как будто в зоб ему вложили новый голос, дед Геня произнёс:

– Ня путай мудро́го старика со старым мудаком.

На этот раз не было ни ослышки, какая случается порой в задумчивости, ни морока минутной дрёмы наяву – говорящий был очевиден, пусть и окутан павшей темнотой. Воистину чудна́я речь была у деда: точно ворох пепла от сожжённой газеты, в котором нет-нет да попадались обгоревшие клочки с обугленным, но всё же читаемым текстом – увы, бессмысленным в отрыве от истлевших причинностей и связей.

На обратном пути Пётр Алексеевич вспомнил про фляжку, которую перед отъездом на охоту сунул в карман рюкзака – она с тех пор так и валялась вместе с рюкзаком в багажнике. Забыл про неё начисто – вечер был тёплый, и тянул вальдшнеп недурно – держи ухо востро, вот и вышло, что а) без нужды и б) некогда. Зато теперь фляжка придётся кстати, поскольку Пётр Алексеевич решительно не знал, чем ему заняться с разговорчивым, но при этом досадно безъязыким Геней до той поры, пока не вернётся слезший с дерева Пал Палыч.

Вскоре в свете фар показалось Иваньково, и машина свернула к избе старика. Пёс у конуры зашёлся лаем, но, увидев хозяина, умолк и принялся мести хвостом.

Захватив фляжку, вид которой Геню явно воодушевил, Пётр Алексеевич следом за хозяином поднялся на крыльцо. В сенях переобулись, сняли куртки, и старик, рассыпая из-под носа шамкающий говорок, принялся хлопотать в кухне над столом. Горбушка хлеба, банка привезённой Пал Палычем кроличьей тушёнки, три солёных огурца на блюдце и два стакана – всё убранство.

Дед Геня исторг протяжный, но нерасчленяемый порядок слогов и вопросительно взглянул на Петра Алексеевича. На всякий случай тот кивнул. Хозяин, сипло кашлянув, прошаркал к холодильнику, потом – обратно, и на столе появился шмат розоватого на срезе сала. Предложенный Геней кухонный нож был сточен в шило, поэтому Пётр Алексеевич достал из поясных ножен свой и быстро насёк несколько тонких ломтиков. Потом нарезал хлеб и огурцы, после чего свернул фляжке голову и плеснул в стаканы пустивший крепкий дух коньяк.

– За славную охоту, – провозгласил Пётр Алексеевич. – Пусть и Пал Палычу сегодня повезёт.

Хозяин согласно закивал, поддакнул и опрокинул стакан в тёмную яму рта. В успехе Пал Палыча он был заинтересован напрямую – тот всякий раз, взяв кабана со здешней осины, щедро делился мясом с дозорным, следящим за ходом зверя, так что хватало старику и себя потешить дичиной, и отправить гостинец сыну, живущему, со слов Пал Палыча, в Пскове и наезжавшему проведать Геню, увы, не часто. Пётр Алексеевич тогда подумал: «Известная история – одно из двух: старикам вечно не хватает либо внимания детей, если они разделены, либо пенсии на их содержание, если великовозрастные чада от стариков не отлепились».

Так и сидели – дед Геня смолил папиросу за папиросой, сорил бесполезными словами, Пётр Алексеевич, ковыряя ножом тушёнку,

прислушивался, ловил интонацию, следил за мимикой хозяина и в тех местах, где полагал это уместным, выражал бодрое согласие или улыбался. И тут дед в очередной раз вразумительно изрёк:

– А цо бояца мне? Ня бяри чужого ницо́го и ня бойся нико́го.

Словно из мутной булькающей лужи вырвался чистый фонтанчик гейзера и снова в мутное бульканье упал.

На этот раз Пётр Алексеевич уже не удивился, напротив – обрадовался определённости высказывания и охотно Геню поддержал:

– Вот это верно. И звучит как тост. – После чего налил коньяк в стаканы.

Когда фляга опустела, вновь набивший рот кашей, однако же повеселевший и теперь беспрестанно улыбающийся лучистыми глазами дед достал засаленную колоду карт – тут уж и слов не требовалось, чтобы его понять.

Перебрались в комнату на старинную оттоманку с валиками и подушками, обтянутыми изрядно повытертым и залоснённым гобеленом, где, развалившись в турецкой неге, лёжа на боку лицом друг к другу, принялись резаться в подкидного дурака. Во рту хозяина дымила папироса, рядом грудой окурков ершилась жестяная пепельница. Большая русская печь, протопленная ещё перед приездом гостей, дышала каменным теплом.

Дед Геня оказался ловок в картах – из десяти партий Пётр Алексеевич остался в дураках восемь раз. Выигрывая, старик возбуждался и радовался, как голопуз, получивший в руки погремушку.

За окном стояла казавшаяся из избы непроглядной темь, комнату заполняла сизая пелена, лампочка под потолком пускала в табачном дыму иглы жёлтого света. Понемногу Петра Алексеевича сморило. Заметив это, дед Геня благодушно предложил подремать и, подавая пример, откинулся на подушку. Кажется, Пётр Алексеевич уже понимал его без перевода, как клоуна Асисяя, – довольствуясь интонацией и мимикой.

Сон Петру Алексеевичу приснился странный, беспокойный, городской. Большой концертный зал; на заднем плане сцены – музыканты с гитарами, мандолинами и медными духовыми играют что-то шумно-ритмичное, с трубными подвывами, а перед рампой летают вверх-вниз визжащие кошки на парашютах, и дамы в кринолинах пьют чай из ночных горшков.

Момент появления Пал Палыча Пётр Алексеевич проспал. Однако вынырнул из забытья легко, без вязкой тяжбы между сном и явью. Когда он открыл глаза, Пал Палыч извлекал из шкафа винчестер и ставил на его место ижевку. Дед Геня сидел на оттоманке и молча следил за манипуляциями гостя.

– Что делать – ня пришёл кабан на кукурузу, – словно бы отвечая на незаданный вопрос, сказал Пал Палыч. – Ты, дед, сляды глядел – ня обознался?

Глаза старика улыбнулись, шевельнулись ввалившиеся губы, но он по-прежнему молчал, и в его молчании странным образом чувствовалась какая-то осмысленная завершённость и полнота.

– Ня злись, дед, ещё придёт – куда ему деваться? Будем с мясом, ня боись.

Как будто смущенный непривычным безмолвием старого охотника, в котором, вероятно, ему мог померещиться укор, Пал Палыч заспешил, поторапливая Петра Алексеевича к отъезду.

Вышли на улицу. Ночь была черна, как обморок вселенной, – точно и не апрель, а поздний октябрь на дворе. Из конуры молча вылез Гарун – в темноте его выдавали лишь позвякивание цепи и белое пятно груди. Сели в машину. Дед Геня остался на крыльце – его силуэт озарял желтоватый свет, падающий из открытой двери.

По пути к Новоржеву Пал Палыч вспоминал юность.

– После техникума, я в армии служил на танке. По телевизору биатлон показывают – видали?

– Танковый?

– Ага. У нас в то время тоже было, только ня называлось биатлоном, так – соревнования. Гянерал-майор Макаров нашим корпусом командовал. Сержантам, какие займут первое, второе, третье место, – тем альбомы бархатные в подарок. А офицерам – авторучки чарнильные с золотым пяром. Соревнуемся, а тут офицеры ниже сержантов показали результат. Так он, Макаров-то, офицерам ня дал ничего. А нас, трёх сержантов, вызвал. Я младшим был, а двое на полгода меня старше. Вот гянерал-майор-то и вручает: вам, говорит тем двум, на дембель альбомы, а тябе, говорит мне, ещё служить, ты офицерскую ручку держи… Только и смеху потом: «Ну, Павлуха, даёшь! Офицер!» – Пал Палыч тряхнул головой и коротко, но заливисто рассмеялся. – Только я на сверхсрочную ня остался. Мы с Ниной ещё до армии сговорились, чтобы жаниться. Как отслужил, позвали в Ломоносов на танкоремонтный завод. А Нина ни в какую: «Я без зямли ня могу, мне цветы нужны и природа…»

С обочины дороги в свете фар взлетела какая-то крупная хищная птица.

– Филин, – с одного взгляда определил Пал Палыч и, немного помолчав, признался: – А свинья-то пришла. В кустах долго стояла – осторожная, но к кукурузе ня вышла. И других ня пустила. Учуяла, или что… А деда я так – подразнил.

– Давно вы с Геней в приятелях? – В голове Петра Алексеевича забрезжило не до конца оформившееся соображение.

Пал Палыч с готовностью переменил тему.

– В молодых годах я по всему району охотился. Мясо меня ня интяресовало – мы любители были зайца, лисы, енота… В бригаде ходили. Ня за шкуру даже. Увлекало нас просто. Конечно, шкуры сдавали, они денег стоили, но ня дорого – мотоцикл ня купишь. Так – на порох да капсюли. Патроны-то сами снаряжали. Тогда Геню и узнал. Он с Иванькова приходил в Голубево охотиться, а там у материной родни дом. Побаивались его. Он охотник старый – опасались, вдруг ня так что, ня ту лису возьмём… Я говорил уже. Ня боялись даже – уважение было. Он же простой, ня жадный дед – притягивает. Ну, и начали общаться…

Ночные тени в свете фар, густые вдали, по мере приближения подтаивали и отползали в придорожные кусты. Весенний воздух был пуст – летающая впотьмах дребедень ещё не народилась и не расправила слюдяные крылышки.

– Был у нас с Геней в бригаде случай. – Подоспевшее воспоминание озарило взгляд Пал Палыча озорным светом. – Старшие встали на номера – Геня, Хомиченко, второй секрятарь, и ещё трое, а мы с Толей Евдокимовым – в загоне, как молодые. Мы, значит, в загоне, а тут гуси летят – октябрь был месяц или сентябрь, ня помню. Толя – р-раз – стволы на гусей. Он, может, и стрелять ня собирался, а я откуда знаю? Я сразу в мозгах: ага, он будет первых бить, а я, значит, с серядины

и сзади. И тоже стволы вверх. Ня дожидаясь, когда он выцелит, – бух! А он тоже – бух! Тут сразу собаки заорали – метров в пятидесяти. Заорали и – на номера. А Геня, он такой – если кто в загоне выстрелил, он бросает номер и на выстрел бяжит, знает – зверь завален. По сябе ж судит. Чего тогда на номере стоять? А мы-то стреляли по гуся́м, Пётр Ляксеич. Понимаете? А лось поднялся и пошёл прямо на него – на евоный номер. А его нет. Ох, как он нам с Толей хвосты накрутил!

– Гусей-то взяли? – поинтересовался Пётр Алексеевич.

– Какое! Ня попали. Да… – Пал Палыч хохотнул в ответ какому-то забавному манёвру памяти. – Это он, Геня, мне показал, где один старик иваньковский клад зарыл. Родни у него, что ли, ня осталось… Чуть по молодости разума ня лишил – к лопате уж потянулся. Про клад в дяревне знали – что под яблоней вот на этом гяктаре. Местные, иваньковские-то, считай, все искали. А как найдёшь? – Пал Палыч, словно для подаяния, протянул вперёд ладонь. – Где копать? С какой стороны от яблони? В метре от ней, в полутора? А яблонь – целый сад. Ня нашли…

И тут невероятное соображение оформилось – на Петра Алексеевича *снизошло*. Да так, что сам оторопел.

– Слушайте, Пал Палыч, а ведь это он не со мной, он с вами говорил.

И Пётр Алексеевич рассказал про странные, словно в миг просветления туманной речи произнесенные, слова деда Гени.

– Так что? – не сразу понял Пал Палыч.

– А вы сложите, – предложил Пётр Алексеевич и сам наглядно, копируя особенности говора, сложил: – «Ну цо? Ружьё да у́да обедают худо?» – «Что делать – ня пришёл кабан на кукурузу. Ты, дед, сляды глядел – ня обознался?» – «Ня путай мудро́го старика со старым мудаком». – «Ня злись, дед, ещё придёт – куда ему деваться? Будем с мясом, ня боись». – «А цо бояца мне? Ня бяри чужого ницо́го и ня бойся нико́го».

Некоторое время Пал Палыч озадаченно молчал, склоняя голову то к одному плечу, то к другому. Казалось, немыслимая догадка Петра Алексеевича поразила и его. Однако затруднение решилось быстро.

– А это вот что – это Геня упражняется. – В полумраке салона, освещённого лишь цветными огоньками приборной доски, Пал Палыч повернул длинный костяной нос к Петру Алексеевичу. – Видать, и в этом деле тоже ня без выучки.

– В каком деле? – Теперь не понимал Петр Алексеевич.

– А чтобы мне оттуда, с облаков-то, слать вясточку. Ну, чтобы мимо зверя ня прошёл. Пока ня очень что-то у него. Настройка сбита – ишь как увело, ня в тот момент…

В машине снова повисла тишина. Пал Палыч беззвучно шевелил губами, видимо, повторяя разорванный во времени, сверхъестественный диалог, а Петру Алексеевичу, всё ещё ошеломлённому своим открытием, – так ребёнок бывает ошеломлён мёртвым танцем отброшенного ящерицей хвоста, – опять припомнился завскладом типографии Русского географического общества Иванюта. Точнее, не он сам, а его лироэпические строки:

Но где-то там, где вызверилась ночь
И берег запорошен звёздной пылью,
Мне предстоит отчаянным усильем
Сломать сургуч и немочь превозмочь.

Вскоре с макаро́вской горки показались огоньки Новоржева – дома были темны, горели только фонари, да и те из экономии – через один. Пётр Алексеевич, приободряясь, тряхнул закисшей головой – приехали.

Через несколько минут возле добротных, в два этажа, хором Пал Палыча они уже выходили из машины в свежую весеннюю ночь.

Спустя месяц профессор Цукатов рассказал Петру Алексеевичу, что передал кольцо и датчик-чип по назначению. Окольцевали вальдшнепа в Великобритании где-то в Уэльсе; датчик, осуществляя биолокацию и реагируя на свет, позволял следить за путём миграции птицы, отдельно учитывая дневные и ночные перемещения, помогал определять место гнездования и чёрт знает что ещё – снять информацию мог лишь производитель или владелец соответствующей спецаппаратуры. Вдобавок британские орнитологи присвоили добытому Петром Алексеевичем кулику, словно внедрённому агенту, оперативную кличку, зачем-то отчеканив её на кольце. С подобным и профессор, и его коллеги столкнулись впервые. Должно быть – важная птица, региональный резидент.

Вальдшнепа звали Айвор Новелло.

Марина РЯБОЧЕНКО

Родилась в 1958 году. Окончила Московский полиграфический институт, работала в московских СМИ – газеты «Московский комсомолец», «Советская торговля», еженедельник «В защиту прав потребителей», журнал «СПРОС». Координатор театрального отдела Центрального Дома актера.

Публиковалась в журналах «Смена», «Южная звезда», «Север», «Изящная словесность». Автор книг «Записки из музыкального магазина», «Рассказы о Маринке», «Я работаю риелтором», «Здравствуй, Тунис!»

Живет в Москве.

ТОСКА СМЕРТНАЯ

Алену Борисовну на работе побаивались и за глаза называли не иначе как «бой-баба». Была она высока и широка в бедрах, еще густые, вьющиеся волосы всегда укладывала в старомодный пучок. С юности близорукая, Алена Борисовна всегда ходила в очках, которые придавали ее лицу с крючковатым носом и маленькими пронзительными, будто всегда прищуренными глазками еще более грозный, неприступный вид. Лет с пятидесяти на ее пышной груди повисла на веревочке вторая пара окуляров – для чтения – из-за развившейся с возрастом дальнозоркости. Самым выдающимся у Алены Борисовны был голос – зычный, строгий, с неизменной ноткой металла при любом разговоре.

Алена Борисовна всю жизнь проработала в корректорской одной из газет, где в корреспондентах трудился ее муж. Вот уже больше двадцати лет была заведующей своим отделом. Руководимый ею коллектив был чисто дамский, всего-то шесть человек – три молоденькие женщины да три дамы под пятьдесят. Работа была ответственная, а дамочки так и норовили взять какой-нибудь отгул, больничный или за свой счет – чтобы подтирать сопли деткам и внукам. Подходить к Алене Борисовне с такими просьбами было крайне опасно – увидев у своего стола просительницу, Алена Борисовна сощуривала глаза, долго молча вглядывалась в лицо жертвы, и казалось, что в ее руке вместо ручки сейчас мелькнет скальпель… Отгулы давала неохотно, больничные терпела, но ворчала. Но что там слабый пол! Трепетал и сильный, когда она, распахнув двери, появлялась на пороге кабинета и начинала отчитывать любого, невзирая на чин, за грязно – с ошибками и опечатками – набранный текст. А муж ее, Александр Моисеевич, прежде чем отправиться на деловую встречу, которыми так богата жизнь журналиста, вначале бежал отпрашиваться к жене, а уж затем к заведующему отделом, ибо образ бой-бабы был присущ Алене Борисовне не только на работе, но и дома. Впрочем, Александра Моисеевича жизнь как в

танке вполне устраивала. За толстой, непробиваемой броней жены ему было и покойно, и сытно, и безопасно.

Алена Борисовна более всего ценила чистоту, порядок и незыблемость всех проявлений жизни. Подъем, завтрак, обед, ужин, отбой происходили четко по расписанию. В доме у нее не было лишних вещей, а все нужное лежало по нужным местам, в холодильнике – в какое время суток ни заглянешь – всегда стоял набор из трех блюд: борщ, котлеты, компот.

Алена Борисовна рожала единожды – дочку Анечку. Любила ее очень, но нюни никогда над дочуркой не распускала. Анечка росла идеальным ребенком: как заводная кукла, всегда опрятна и причесана, с утра до вечера шагала по расписанию: школа – дом – музыкальная школа – дом. После десятилетки – а окончила она ее, естественно, с золотой медалью – Анечка сразу поступила в МГУ на филфак. И там училась на отлично, подавая какие-то большие надежды. Но вот на последнем курсе вдруг засобиралась замуж. Алена Борисовна, хорошенько поразмыслив, дала добро – партия оказалась достойной. Жених был старше Анечки на пять лет, тоже окончил МГУ. Программист по специальности, работал в какой-то большой организации и вроде считался первым человеком в своем деле. Родители жениха – люди не бедные – тут же подарили молодым свой трехкомнатный, пусть и небольшой по метрам, кооператив, а сами перебрались в двухкомнатную квартиру к дряхлой, уже давно требующей присмотра матери.

Еще три года Анечка жила по расписанию. Окончив университет, пошла в аспирантуру, продолжая подавать большие надежды. Но оправдать их так и не успела – получив степень, через шесть месяцев родила.

Когда Алена Борисовна с мужем приехали к роддому, когда Алена Борисовна увидела в кружевном белоснежном оперении маленькое розовенькое личико внучки Полиночки, с ней что-то случилось. Такое, чего никто вокруг не заметил, а она сама и предположить не могла. Будто невидимая рука вынула из ее сердца осколочек льдинки, и оно потеплело. Алена Борисовна влюбилась! Она ни в коей мере не изменила своего стиля жизни, по-боевому вела хозяйство и дома и на работе, но все свободное время пропадала теперь в трехкомнатном кооперативе. По хозяйству помогала мало, зато отходила от внучки – пеленала, катала по двору в колясочке, трясла погремушками… Когда Полиночка подросла, Бабаля – так, как умела, называла ее малышка, – вооружившись висящей на груди парой очков для чтения, перечитала внученьке всю детскую классику, начиная с Маршака. Когда Полиночке исполнилось четыре, дочка снова родила – Оленьку. Алена Борисовна влюбилась во второй раз и теперь каждую минуту своей жизни таяла, таяла от счастья, ни секунды не раздумывая, исполняя все невинные прихоти внучек…

И вдруг наступили дурные времена. Перестройка скрутила до боли в кишках. К этому времени младшей внучке уже исполнилось два годика, ее даже определили в детский сад, и Анечка готова была приступить к большой интересной и денежной работе. Но вот беда – таковой в стране просто не оказалось. Неожиданно лишился службы и муж Анечки. Большая солидная организация чуть ли не каждый месяц стала меняться в названии и личном составе, а через полгода и вовсе перестала нуждаться в услугах программиста. Алена Борисовна со страхом

озиралась по сторонам и кругом видела только разруху и пепел. Ей даже стало казаться, что все живое в стране стало героями картины «Последний день Помпеи».

Однако нужно было выживать. Алена Борисовна слышала, что многие уважающие себя люди отправились за спокойной жизнью в чужие страны. От некоторых счастливчиков доходили слухи о райском и безбедном существовании на новых местах. И поэтому, когда дочь сообщила родителям о своем решении отправиться на ПМЖ в Америку, Алена Борисовна даже не сопротивлялась. Уж лучше ПМЖ, чем получать продукты по карточкам, бояться выпустить ребенка во двор, не иметь достойной работы. В Израиль, где вряд ли нужны программисты, Анечка не хотела. Решили держать путь на запад – за океан. Найти какие-то дальние связи, подать документы и дождаться разрешения на выезд оказалось делом нервным, долгим, отнимающим последние силы и надежды. И все-таки разрешение дали. Чтобы иметь хоть какой-то капитал на первое время, молодые продали кооператив и с минимальными пожитками погрузились в самолет. Алена Борисовна очень плакала, целуя в аэропорту нежно-розовые щечки внучек. Успокаивала себя лишь тем, что, если девочкам там будет хорошо, то и она будет счастлива.

После тяжелого расставания Алена Борисовна по-прежнему держалась стойко. Возраст и у нее, и у мужа был уже пенсионный, но работу ни она, ни он не оставили и с первых дней начали откладывать рубли на поездку к дочери.

Четыре года прошли в тоске по внучкам. Конечно, Анечка звонила каждую неделю, давала трубку то Полиночке, то Олечке… Но со временем девчушки стали забывать бабушку, и разговоры получались короткие, скучные, ни о чем. Жизнь у Анечки клеилась, но не очень. Работу и она, и муж нашли, старшая дочь уже пошла в школу… А подробностей Алена Борисовна не знала – Анечка не очень откровенничала. И вот Алене Борисовне стукнуло шестьдесят. Она решила сделать себе незабываемый подарок и, взяв двухнедельный отпуск, отправилась с мужем в гости к дочери.

В аэропорту далекого Нью-Йорка, только сойдя с трапа самолета, Алена Борисовна тут же стала прикладывать платочек к глазам – так волновалась перед долгожданной встречей, так соскучилась. Когда они с мужем, получив багаж, вышли в зал и увидели родных, Бабаля, припав одним коленом на сверкающий пол, сгребла в охапку внучек, пусть неузнаваемых, каких-то чужих, но таких любимых… Девочки смутились, но стояли смирно, вопросительно глядя на отца.

Уняв чувства, Алена Борисовна обняла и зятя, и уже бодро и почти весело уселась в автомобиль, предвкушая радостную встречу с Анечкой, которая ждала родителей дома, готовила обед. В машине Бабаля, правда, опять, всплакнула. Внучки, которых она усадила рядом с собой, по правую и левую руку, жались не к бабушке, а к дверям.

– Ох, забыли, забыли меня, – приговаривала Бабаля, пытаясь прижать к бокам смущенных внучек.

Анечка встретила родителей радостно, со слезами. По доброй русской традиции сразу усадила за стол. Праздничный обед произвел неизгладимое впечатление на Алену Борисовну. Нельзя сказать, что было невкусно… Все было съедобное, привычное по названиям – борщ, жареное мясо, картошка, но абсолютно непривычное на вкус, будто неживое. А главное – Анечка подавала всем строгие порции и горячего, и закусок, никаких излишеств, типа родных сердцу заливных, салатов оливье и «Мимоза», на столе не было… «Голодают!» – со страхом догадалась Алена Борисовна.

Алену Борисовну местные небоскребы не интересовали вовсе. Все, все ее внимание было обращено к жизни дочери и ненаглядных внучек. И все, решительно все казалось ей ужасным. И то, что дочка работала самой обычной маникюршей-педикюршей и, в общем-то, сама содержала семью… И то, что зять-программист никому тут не пригодился или не сумел быть полезным и стал таксистом… Город знал плохо, зарабатывал мало, после работы, по русской традиции, выпивал… И то, что внучки, хоть и говорили по-русски, но были уж совсем не русскими душой. И неуютный по-западному, с чужой мебелью на съемной квартире быт, и порционная кормежка были далеки от идеала той жизни, о которой мечтала для своих любимых Алена Борисовна.

Две недели пролетели как миг. Лишь в последнюю перед отлетом ночь дочка в разговоре с матерью вдруг всплакнула, коротко пожаловалась и на начавшего спиваться мужа, и на душевную тоску по оставленной жизни.

– Анечка, а может, назад? – с надеждой спросила Алена Борисовна.

– Что ты, мамочка! Там уж с корнем все вырвано, жизнь другая стала, опять привыкать надо, все сначала начинать… А здесь уж какие-никакие корешки проросли. Девчонки – так совсем как дома…

Такие простые слова сказала дочка. Но для матери они оказались больнее разрыва сердца. Только в эту секунду Алена Борисовна поняла всю истинную сущность положения. И дорога через океан в тысячи километров и четыре года показалась ей вечностью…

За долгие часы перелета из Нью-Йорка в Москву Алена Борисовна не проронила ни слова, не притронулась к еде. Александр Моисеевич, конечно, удивлялся, что жена не проголодалась, но с удовольствием уминал вторую порцию. На следующий день, в воскресенье, жена будто бы оживилась и стала разбирать чемоданы, но на самом деле только раскидала все вещи по полу. Достав толстую пачек фотографий, легла на диван и, как четки, по кругу стала перебирать глянцевые снимки. К плите не подходила, о еде забыла, на все вопросы мужа отвечала как бы с трудом и односложно… Когда в понедельник Алена Борисовна опять не встала с дивана и даже не подумала идти на работу, Александр Моисеевич забеспокоился, стал советоваться со знакомыми, в конце концов вызвал врача.

Алена Борисовна оказалась практически здорова: и сердце работало по возрасту, и давление было почти в норме. Не найдя объяснения странной болезни, врач определила ее как стресс, тоску, что вполне естественно для людей такого возраста, да еще вкусивших «тамошней» жизни. Сказала, что все пройдет, дайте только срок. Из таблеток прописала успокоительное, а главное лекарство – внимание, легкая и питательная еда…

Александр Моисеевич старался, как мог. Готовил на пару покупные котлетки, по ложечке вкладывал йогурт в рот жене… А Алена Борисовна оставалась по-прежнему ко всему безучастной, перебирая и перебирая яркие фото. Несколько раз звонила Анечка, мать говорила с ней так же односложно, будто издалека. Александр Моисеевич, не видя перемен в состоянии жены, еще раз вызывал врача. Тот ставил тот же

диагноз, давал те же советы. Но ни забота, ни внимание, ни успокоительные не давали результатов. Алена Борисовна почти совсем перестала говорить, есть, пить. Ни на минуту не стихающая тревога поселилась в душе Александра Моисеевича, она же гнала его из дома, и он на полдня вырывался на работу, к людям. На исходе второй недели Александр Моисеевич, вернувшись домой, по обыкновению сразу же вошел в спальню, к жене. Алена Борисовна лежала на кровати. Вокруг нее по правую и левую руку были разложены фотографии Анечки, Полиночки, Оленьки... Увидев чужое, исхудавшее, навсегда застывшее в тоске лицо жены, Александр Моисеевич все-таки окликнул ее – и с той минуты сам как будто выпал из жизни.

Очнулся только на кладбище. Вокруг скромного гроба стояло человек десять – престарелые свекры, две давних подружки жены, несколько человек из редакции и «девочек» из корректорской. На лицах этих чужих, в сущности, людей была не столько скорбь, сколько неподдельное изумление – никто не ожидал от «бой-бабы» такого поворота чувств. Дочь прилететь не смогла – ее не пускала работа. Воткнув в холодную землю последний венок, все засобирались к маленькому автобусу, который вез в кафе, на поминки. Александра Моисеевича из деликатности оставили на несколько минут одного.

Комкая в руках черный фетровый берет, не замечая простуженного ноябрьского ветра, Александр Моисеевич читал и перечитывал имя жены на казенной кладбищенской табличке. Только сейчас и рассудком, и сердцем он понял, но не мог поверить, что в его жизни случилось самое страшное, непоправимое. Он хотел было подумать, как подобает минуте, о чем-то возвышенном, вечном, но в голове почему-то роились самые простые мысли – что вот он один, старик, никому не нужный, придет в пустой дом и не услышит родного голоса с призвуком металла, и никто не подаст ему горячего борща и ароматных котлет… И что теперь так будет всегда.

– Алена! – вдруг громко, в какой-то смертной тоске вскрикнул он над свежей могилой.

Астрид ХАЛСТРЕМ

Родилась в 1959 году на Урале. Окончила юридический факультет Московского государственного открытого университета. Преподавала английский язык в школе, работала корректором,экскурсоводом. Живет в Москве.

ЧЕМОДАН ЛЮБВИ

Старый отец умер. Трое детей съехались из разных городов России на похороны в посёлок лесорубов: делить наследство и решать, к кому поедет доживать век мать.

Было начало марта. Вдоль улицы ещё высились сугробы, но сосульки с крыш свисали всё длиннее и начинали звонко капать днём.

Старшая сестра, жена генерала, занялась распродажей родительской мебели. Во двор то и дело заходили жители посёлка и, как правило, выносили из дома покупки – диван, стулья, шкафы и разные мелочи.

Вторая сестра сидела с матерью в летней кухне, перебирая старые фотографии. Муж старшей сестры, генерал, просматривал книги, оставшиеся от тестя. Все они были о войне – тесть прошёл её до Берлина.

– А где же Юрик? – спохватилась мать. – Обедать пора. Вон Миша знак подаёт, – кивнула она на лобастого полосатого кота. Тот дрогнул ухом, услышав свою кличку, и продолжил вытаскивать лапой котлету из ведра с отходами.

– Юрка на отцовской машине уехал, – сердито объявила жена генерала. – А на неё уже два покупателя!

– Людок, – с лёгким укором сказал генерал жене, – это же отцова машина, пусть напоследок поездит на ней, об отце подумает.

Мать и вторая сестра, Светлана, согласно кивнули. Светлана смахнула слезу.

Послышалось шуршание шин по ноздреватому снегу у ворот.

– Вот и приехал Юрик, – с короткой улыбкой сказала мать.

Сын, маленький лысый человек, быстро вошёл в летнюю кухню. Он весело улыбался.

– Об отце думал! – фыркнула Людмила и вышла во двор.

– Да, думал! – не меняя настроения, громко сказал ей вслед брат. – С новенькой учительницей пообщался, – сказал он остальным.

– А ты откуда знаешь, что она новенькая? – высоким голосом спросила его мать. – Сто лет ведь здесь не был!

Сын засмеялся:

– Сама сказала. А я ей про сон свой давний рассказал. Помнишь, мам?

Та покачала отрицательно головой. Генерал со Светланой выжидающе посмотрели на него.

– Этот сон я увидел в армии, перед дембелем. Я в нём был в числе декабристов. Нас, как известно, судили. Одних к казни приговорили, других к ссылке. Я в числе последних оказался.

Светлана прыснула. Генерал и мать улыбнулись.

– И вот судья вынес приговор мне! – улыбаясь им в ответ, продолжал Юрий. – Сослать, говорит, его на малую родину! А я как заору: «Никогда-а!!» Весь солдатский корпус разбудил.

Вошла Людмила.

– Юрка, – обратилась она к брату, – дай ключи от машины, покупатели пришли.

Во двор по такому случаю вышли все. Возле жёлтой отцовской «Волги» стояли двое, желающих купить её. Машина хорошо послужила отцу, бывшему главе поселковой администрации.

Пока Людмила торговалась, а Юрий давал пояснения о машине, мать медленно обходила её, поглаживая.

Вечером устроили застолье. Назавтра собирались ехать в райцентр, переоформлять машину на нового хозяина.

В дверь постучали.

– Да! – дружно сказала вся семья.

Вошла молодая женщина в белой пушистой шапочке и светлой шубке.

Мать вышла из-за стола, шепнув всем: «Это новенькая учительница, за молоком».

Юрий сделал было приглашающий жест, к столу, но Людмила сузила глаза, наступила ему под столом на ногу.

В летней кухне мать предложила учительнице присесть за стол, поставила перед ней двухлитровую банку с молоком.

– Последний раз подоила корову, Александра, – сказала хозяйка. – Завтра поутру её уведёт на свой двор Тамара Ткачёва. Если нравится молоко нашей Бурёнки, договаривайся с ней.

Учительница отрицательно покачала головой:

– Вера Ильинична, я тоже уезжаю.

– Школу бросаешь? – нахмурилась та. – Не жаль детей?

– Жаль, – дрогнувшим голосом ответила учительница. – И себя жаль. Надоели за месяц стуки в окна и двери по ночам. А дети ещё не успели привыкнуть ко мне...

– Так я и думала, – печально сказала пожилая женщина.

Она встала из-за стола, помолчала секунду-другую и продолжила:

– Я письмо напишу, а ты его по адресу доставишь. Человек тебе поможет. Он один живёт.

И, не дожидаясь вопросов учительницы, пояснила:

– Любимый это мой... был. Хотела замуж за него, да дети не дали бросить старого мужа. Сказали, если от папы уйдёшь, откажемся от тебя...

– Боже мой! – прошептала Александра.

– Я тогда два чемодана к нему отправила, один с постельным бельём, другой – с платьями, – продолжила Вера Ильинична. – А вернуть попросила только чемодан с платьями.

– Не судьба, значит, – сказала грустно учительница.

– Не судьба, – сухо подтвердила Вера Ильинична. – Теперь вот с Людкой жить придётся. Она больше всех настаивала не бросать отца.

Женщина пошла к выходу, Александра за ней.

– Завтра зайди за письмом. Пожалуйста, – на прощание сказала Вера Ильинична.

Александр Иванович, которому было адресовано письмо, жил на окраине районного центра. Один не один, а с тремя резвыми звонкоголосыми собаками. Им пришлось до хрипоты лаять на Александру, подошедшую к забору, прежде чем хозяин вышел на крыльцо.

Спрятав собак в сарай, он подошёл к калитке, сухопарый, лысый, краснолицый, в старом растянутом свитере.

– Здравствуйте, Александр Иванович, – сказала ему девушка. – Я к вам от Веры Ильиничны. С письмом.

– Заходи, – сказал он и пошёл в дом.

– Садись к столу, – предложил старик.

Она села на стул, стараясь не касаться грязной, в крошках, клеёнки на столе.

«Старый холостяк...» – пронеслось в её голове.

– Ну, что там Веруня пишет? – спросил хозяин, ставя на стол тарелку с хлебом и две рюмки.

Девушка удивлённо провожала глазами его движения. А хозяин продолжал ставить на стол сковородку с жареной картошкой, лук, кусок сала и, наконец, бутылку водки.

– Дайте, пожалуйста, тряпку, – вместо ответа попросила она. – Стол грязный.

– А, – махнул он рукой, – ерунда!

– Дайте тряпку, – настойчиво повторила девушка.

Старик беспомощно оглядел свою кухню.

– А давай стол газетой застелем, – примирительно предложил он.

Она кивнула.

– Ну, я старый охотник Сашка. А ты кто? – спросил хозяин, поднимая рюмку водки.

– А я Александра Ивановна, учительница, привезла вам письмо от Веры Ильиничны.

Он опустил улыбку на газету, как прожектором, ища ею что-то в заголовках.

– Ну, и что Веруня пишет? – повторил свой вопрос.

– Так сами прочитайте.

Александра протянула ему пухлый конверт. Не дождавшись, когда он возьмёт, положила конверт на расстеленную газету.

Оба они даже не обратили внимание на полное сходство в своих именах и отчествах.

Старик взял конверт, положил на стол, погладил и отодвинул.

– Я только что с охоты, – сообщил он, выпив рюмку водки.

Александра к своей не притронулась.

– Устал очень. Годы не те снег по тайге месить. Ты выпей за моё здоровье. Теперь только оно мне нужно.

Он небрежно кивнул в сторону пухлого конверта.

– Сегодня глухарей на току наблюдал. Как женихались! Стрекотали, налетали друг на друга! Легко шлёпнуть мог, хотя бы одного. Да что-то под сердцем заныло, опустил ружьё. А и промёрз же, сидя в кустах! Эх!

Александр Иванович покачал головой и опрокинул очередную рюмку.

– Ах я, старый!.. – всполошился Александр Иванович. – Собак-то в сарае запер! Пойду выпущу да покормлю.

Он быстро вышел, хлопнув входной дверью. И вдруг за окном что-то громыхнуло.

Александра вздрогнула, напряглась в ожидании.

Послышался дружный короткий лай собак, он перешёл в рычание. И всё стихло.

Девушка заёрзала на стуле.

Но снова хлопнула дверь – вошёл хозяин, кряхтя и потирая правую руку от плеча до локтя.

– Поленница обвалилась, – объяснил он гостье, – чуток задела меня. Сам виноват – давно нужно было переложить её.

Он сел за стол и снова потянулся к бутылке.

– А знаешь, чего я сейчас испугался? – спросил гостью. И объявил: – Носка чёрного! Поленница обвалилась, а он, как змея на поленьях лежит. И я испугался. Хотя змей не боюсь, не раз в руках держал. Кожа у змеи прохладная и нежная.

– Фу! – передёрнула плечами Александра.

Старик грустно усмехнулся и указал рукой на дверь из кухни в комнату:

– Там возле шкафа чемодан Верунин. Когда она попросила вернуть ей тот, что был с платьями, а этот, с постельным бельём, оставить, я его на поленницу поставил. Не мог в доме держать. Конец июля был. И в чемодане гадюка поселилась. Беременная.

– А сейчас что в чемодане? Там, в комнате? – испуганно спросила девушка.

– Постельное бельё, – ответил старик.

– Зачем оно вам... после змеи? – прошептала Александра.

– Да змея ничего ему не сделала. Я её в лес унёс, беременную.

– И не убили?

Старик меленько засмеялся, отрицательно покачал головой.

– Вот сегодня заночуешь у меня, постелю тебе бельё из чемодана.

– Не-ет, – ещё больше испугалась Александра. – Мне уже идти надо, чтобы на поезд не опоздать.

– Поезд? А что, в лесхоз теперь поезд ходит?

– Не ходит. Я в город уезжаю.

– Вот завтра и уедешь. Провожу тебя. А сейчас посидим-поговорим, раз приехала.

Александр Иванович достал из холодильника вторую бутылку водки.

– Я не буду водку пить, – упрямо сказала Александра. Чай поставьте. Пожалуйста.

Старик поднялся с табурета, поставил на плиту чайник, серый от грязи. Подбросил дров в печь.

– Мне Вера Ильинична в дорогу пирог дала и колбасы, – сказала девушка.

– Доставай, – улыбнулся старик. – Любил я её пироги. И про колбасу знаю: она мясо своих бычков и свиней на мясокомбинат всегда возила, чтобы ей колбасу там делали. Персональную.

– Я не знала об этом, – улыбнулась и гостья, – раскладывая на столе гостинцы от Веры Ильиничны.

– Ну, так с такой закуской выпьешь чарку? – спросил старик. И вдруг дрогнувшим голосом попросил: – Выпей, прошу. Чувствую, уйду скоро к праотцам. Хочу напоследок посидеть с хорошим человеком, по душам поговорить.

– А вдруг я нехороший человек? – спросила девушка.

– Ты?! – засмеялся старик. – Да ты ребёнок ещё невинный.

– Ну вот, ребёнок! А вы меня совращаете водку пить, – пошутила она. И вдруг почувствовала, что хорошо ей рядом с этим одиноким человеком, которому разбили сердце, который любит всякую живность...

Александра взяла в руку полную рюмку. Александр Иванович протянул свою, чокнуться.

– Я вам сейчас слово скажу, а вы опишите то, что представили, услышав его...

– Говори.

– Дверь.

– Вот она, в заимке, – старик протянул в сторону руку и сжал ладонь, как будто схватился за ручку двери. – Рядом совсем.

– А что за дверью?

– Ночь, холод. А в заимке тепло. И у нас с тобой сейчас тепло...

«Неужели он правда скоро умрёт?.. Такой славный человек!..»

После третьей рюмки Александре захотелось рассказать Александру Ивановичу про свою жизнь в лесхозе.

– Сватался ко мне один, через неделю, как приехала...

– Как фамилия? – спросил старик.

– Ивлев.

– Нормальная семья, спокойная. Охотники хорошие отец с сыном. Ну, что не сложилось?

– Да смешной он такой: всё время ногти грызёт и уши у него...

Александра не договорила, как Александр Иванович захохотал.

– Дурёха ты! – похлопал он девушку по плечу, встал, чтобы убрать с плиты выкипевший чайник, который возмущённо выпускал последний пар.

– Дурёха, да! Я поняла это только сейчас, с вашей историей... Он ночью дрова привёз к дому, где я квартировала; духи хотел дорогие купить; шкурки норковые показывал – хотел шапку мне сшить.

Александра расплакалась не на шутку.

– Да ты что, бог с тобой! – растревожился Александр Иванович. – Дело поправимо. Я сам к Ивлевым съезжу.

– Зачем? – вытерла слёзы девушка. – Он уже другую сосватал. И та сразу согласилась.

– А-а! – разочарованно произнёс старик и сел на табурет, прислонившись к стенке.

Тут же встал, проверил кочергой, все ли угольки догорели в печи, закрыл все заслонки.

– Спать пора, – сказал устало. – Ложись на диван. Я тебе два полушубка дам. А себе постелю Верунино бельё. Пришла мне пора на нём спать.

Александра встала, хотела сказать, что пойдёт к ночному поезду, но ноги были непослушными.

Проснулась она от знакомых голосов, Александра Ивановича и – Веры Ильиничны!

Они оба смеялись, да так звонко! И явно забыв про неё, спящую говорили о своём, сокровенном.

– Я тебя вечно буду любить, – голосом нежным, по-старчески с трещинкой, ворковала Вера Ильинична.

– Не надо вечно, Веруня. Мне хватит до конца моего того, что было у нас с тобой.

– Если мне плохо у детей будет, примешь меня? – понизив голос, спросила Вера Ильинична.

Наступила тишина. Александра затаила дыхание, ожидая ответа Александра Ивановича.

– Ты сейчас оставайся, Веруня, – сказал он ровным голосом. – Третьей попытки не будет... по причине моей смерти.

Александра услышала быстрые шаги. Думала, Вера Ильинична к выходу побежала. Нет, это Александр Иванович, явно не желавший продолжать диалог с ней, вышел за дверь во двор.

– Ну, а я дважды вдовой не хочу быть, – послышался шёпот Веры Ильиничны. – Пусть меня дети хоронят.

Дверь хлопнула. Наступила тишина в доме. Со двора не слышно было ни голосов, ни лая собак.

Вдруг запела синичка.

Александра послушала её минутку, встала и быстро собралась в дорогу. Вышла во двор. Никого. Собаки зарычали из сарая, запертые.

Она вышла за ворота. На большой дороге, ведущей в центр, к железнодорожному вокзалу, тоже никого не было.

По колдобистой дороге, шедшей вправо от большой в сторону леса, шли двое: высокий старик, засунув руки в карманы старой дублёнки, и маленькая женщина в норковой шубе, обхватившая его руками.

Александра не решилась их окликать и ушла к поезду не прощаясь.

ОДНАЖДЫ В ХОСТЕЛЕ

Загуляли четверо на Петроградской стороне до той поры, когда уже мосты развели. Что делать? Утром на работу...

– Я тут хостел один знаю, – сказал Михаил, – переночуем.

– Романтика! – засмеялась его девушка Алла.

Саша с Валерой переглянулись: вспомнили Париж! Два года назад угораздило их забронировать по Интернету хостел в восемнадцатом округе Парижа.

– Ну что, – сказала Саша другу, – переночуем в местном хостеле?

Он хмыкнул.

– Пошли.

– А-а-а! – сказали все четверо, оказавшись в мрачном вестибюле.

Девушка-администратор улыбнулась понимающе.

– Не «Астория», конечно, – сказал Михаил, осторожно втягивая запах, какой-то старый и тяжёлый. – О! Это кошма на полу так smells, – подвёл он итог своим ощущениям.

– Smells, alas*, – согласилась с ним девушка-администратор. – Вы находитесь в бывшей квартире профессора Преображенского...

– Неужели?! – засмеялись пришедшие.

– С этого места цена вопроса резко возрастает? – весело полюбопытствовал Михаил.

– Цена фиксированная, – ответила администратор. – А вам смешанный номер нужен?

– Нет! – опередила Саша всех с ответом. Потому что вспомнила смешанный номер в парижском хостеле: там были две двухъярусные кровати.

...Ей с Валерой пришлось занять верхние ярусы. Нижнее место под ней было уже кем-то занято, потому что рядом с ним стоял огромный серый чемодан и на постели валялись джинсы. Нижнее место под Валерой занимала юная пара. Оказалось, испанцы. Сказав русским «Hi!», они спрятались под одеялом. Саша с Валерой очень устали за день, набегавшись по Парижу, устроились на своих «верхних полках», заведя будильник назавтра, и уже засыпали, когда услышали стальной голос вошедшего:

– You sleep together?**

Он явно обращался к влюблённым испанцам.

– Yes, – ангельскими голосками ответили те.

---

* Пахнет, увы *(англ.)*.

** Вы спите вместе? *(англ.)*

Дальше была немая тишина.

Рано утром Саша и Валера проснулись в номере одни. Парочка исчезла, огромный чемодан и его владелец тоже. Саша с другом переехали в уютную гостиницу шестого округа Парижа. На целых пять дней!..

Валера с Михаилом ушли ночевать в мужской номер, Саша с Аллой – в шестиместный женский.

– А-а! – опять сказала Алла. – Это тюремная камера с нарами!

– Нет, – нахмурилась администратор. – Это хостел.

При входе в номер она включила только маленький ночник у крайней кровати.

– Старайтесь не шуметь, уже почти три часа ночи.

– Может, это вообще хоспис, – проворчала Алла.

– Через дорогу есть гостиница, – посоветовала администратор.

– Нам же только переночевать, – успокоила подруга Аллу.

Они заняли нижние места и только тогда заметили, что на верхнем ярусе кровати в углу спала женщина. А нижняя постель в углу напротив была заставлена пакетами из бутиков.

Минут через пять, когда они уже улеглись, Алла сказала:

– Саш, тебя запах не раздражает?

– Да, раздражает, это от полового покрытия старого, – ответила Саша. – Давай переберёмся наверх.

Пока они возились, устраиваясь на новых местах, женщина в углу проснулась и вздохнула.

– Извините, мы вас разбудили, – сказала ей Алла шёпотом.

Та не ответила.

Подруги закрыли глаза, заставляя себя уснуть.

– А вы откуда? – услышала Саша сквозь сон.

Алла уже спала. Ответить пришлось Саше.

– Питерцы мы, загуляли, не успели на свой берег до развода мостов, вот и решили здесь переночевать.

– А-а! – сказала женщина из угла. – А я в клинику приехала. Онкологическую.

У Саши сон как ветром сдуло. Она растерянно молчала, не зная, что ей сказать.

– Вы замужем? – спросила женщина.

– Сейчас нет, была, – ответила Саша.

– А-а, – протяжно произнесла женщина. – Дети есть?

– Сын, уже подросток, – сказала та.

– У меня трое, – сообщила женщина. – Думаю, как станут жить без меня. И дети, и муж.

– Дети маленькие? – спросила Саша.

– Тринадцать, семь и три с половиной, – скороговоркой произнесла женщина.

– Вы совсем молодая, – вырвалось у собеседницы.

Женщина помолчала, вздохнула, сказав:

– Это и обидно. Не увижу, как детки будут взрослеть, жениться, замуж выходить... Внуков не увижу...

– Почему вы так уверены в этом? – спросила Саша.

– У меня диагноз абсолютно точный, – сказала та с тоской. – Мужа вот жалко. Немного бы пораньше, я бы ему женщину подобрала, похожую на себя.

Саша хотела было возразить ей, как вдруг она спросила:

– А сейчас у вас есть мужчина?

– Есть, – поспешно ответила Саша, догадавшись о смысле её вопроса.

– У вас после развода много мужчин было? – продолжала допытываться женщина.

Саша недовольно пошевелилась под одеялом.

– Мы с мужем девственниками поженились, – объявила женщина. Она опять протяжно вздохнула. Тоска в её голосе смешалась с горестными нотами.

– Я никогда не слышала об абсолютном диагнозе, – сказала Саша, уходя в сон.

Но тут же ей пришлось проснуться. Дверь распахнулась, номер осветился лампой коридора. Вошедшая уверенным движением включила свет.

Это была стройная, высокого роста молодая женщина со стрижкой-шапочкой над длинным, как с картин Модильяни, лицом.

Она пристально, надменно, даже с брезгливостью, оглядела всех трёх женщин, лежавших на верхних местах. Прошла к своей постели, быстро составила на пол пакеты с логотипами дорогих бутиков, сбросила туфли, серое пальто, стала снимать легинсы. Ноги у неё были босые, с великолепным педикюром.

Посмотрев на чистое белое постельное бельё, сказала сипло:

– Shit!*

Но всё же легла в постель и натянула на голову пододеяльник.

– Свет, пожалуйста, выключите! – сказала ей Саша.

– Он мне нужен! – ответила та.

– А нам нет, – сухо сказала Саша, спускаясь по лесенке кровати на пол, в сторону общего выключателя. – У своей кровати включите ночник, если нужно.

Саша, прежде чем выключить свет, взглянула на женщину в верхнем углу.

Та тоже смотрела на неё.

«Какая красивая, – подумала Саша. – И молодая. Совсем не похожа на больную».

Женщина была смуглой, с длинными волосами, под одеялом угадывалось большое полное тело.

Саша выключила свет, и тут же послышалось:

– Чёрт!

Это сердито и громко сказала та, с лицом «от Модильяни».

– Что? – спросила Саша.

– Кольцо уронила, – ответила та.

Саша снова включила свет.

Девушка с лицом «от Модильяни» вскочила с постели, схватила телефон и босиком выбежала в коридор.

Без высоких каблуков она была среднего роста, с красивыми тренированными ногами и грудью кормящей мамы под длинной футболкой.

– А кольцо? – крикнула ей вслед Саша. Но та хлопнула дверью.

Саша со смуглянкой переглянулись.

Смуглянка сообщила:

– Я с ней вчера вечером познакомилась. Её Катя зовут. Она из Москвы.

---

* Дерьмо! *(англ.)*

Саша посмотрела на валявшиеся туфли Кати. «От Fendi, – оценила она про себя. – И пальто от Fendi».

– Во-он кольцо! – показала пальцем смуглянка. – Возле пакетов.

Саша проследила за её указательным пальцем: возле одного пакета лежало кольцо Bvlgari – белое, окаймлённое с обеих сторон золотом.

– Птица! – сказала Саша. – Почему она в гостиницу напротив не пошла?

– Потому что в гостинице её найдут в два счёта! – сообщила смуглянка.

– А в такой клоаке меня не догадаются искать! – сказала стремительно вошедшая в номер Катя. – Нашли моё кольцо?

– Тебе надо, ты и ищи, – сердито ответила Саша, перейдя на «ты».

– Ух ты какая, питерская! – засмеялась низким голосом Катя.

– Это она на ресепшен ходила, справки о вас обеих наводила, – сказала смуглянка.

– Помолчи, Светка, – оборвала её Катя. Повернувшись к Саше, сказала: – Репортаж из хостела решила вести?

Саша посмотрела на неё с усмешкой.

– Ты лучше расскажи, от кого здесь прячешься?

– От слуг народа, – засмеялась та без всякого смущения.

– Что так? – продолжала держать насмешливый тон Саша.

– С нянькой расправилась, как и положено с прислугой. А та в полицию, храбрая, позвонила.

Саша ещё раз посмотрела на грудь кормящей мамы.

– Так полиция тебя и здесь найдёт! Как раз из хостелов быстрее туда сообщают сведения о постояльцах. Ты вроде не первый раз путешествуешь, должна знать, что чем дороже гостиница, тем больше твоя тайна защищена.

Катя серьёзно и внимательно посмотрела на Сашу.

– Московская полиция у моего папá в кулаке, – сказала она задумчиво. – Картой я нигде не расплачивалась, только наличными. Администратору этого хостела сто долларов за счастье будут, чтобы сведения обо мне не передавала...

– Что, так жестоко расправилась с няней, что в бега пустилась? – спросила Саша.

– Да вещи её за двери своей рублёвской дачи вышвырнула и пригрозила, что обвиню в краже бриллиантов.

– Лихо! – усмехнулась Саша. – Но не оригинально. Не ты первая так подличаешь.

– Зато моя нянька первая из всех обвиненных в трубу полезла: написала на меня заявление в рублёвскую полицию.

– Смелая, молодец! – сказала Саша, и в её голосе появился блестящий металл.

– Её смелость гроша не стоит, – засмеялась Катя. – Слуги народа уже показали ей кузькину мать.

Саша смотрела на смеющуюся Катю молча. Смуглянка вздохнула и тяжело повернулась к стене.

– Хочешь, я тебе покажу своё чадо? – спросила Катя и, не дожидаясь от Саши ответа, достала из сумочки фото. С него смотрел маленький круглоглазый... вьетнамец!.. Или лаосец?!.

– Его отец – вьетнамский миллиардер! – засмеялась Катя своим низким, неженственным голосом.

Саша продолжала молчать. Вообще-то она растерялась и испытывала неловкость.

– Я впервые почувствовала себя беременной, гуляя по Малайзии. Уже уехала из Вьетнама и не хотела вспоминать того... фу, его волосатую грудь!.. Но было поздно пить боржоми... Папа сказал, что моё чадо станет суворовцем!

– Катя, я не спрашиваю, сколько тебе лет, но для меня очевидно, что тебе не пятнадцать, – строго сказала, наконец, Саша. – Ты не очень хорошо воспитана, если несёшь всё это сейчас перед незнакомыми людьми.

– Ну, это вы, питерцы, такие воспитанные! – скривила рот Катя. – В коммуналке ведь по-другому нельзя, правда?

Тут послышался голос Аллы, вовсе не сонный:

– Кому наши коммуналки поперёк горла, кроме нас?

Катя опять засмеялась басовито.

Из своего угла сказала Света, явно не хотевшая ссоры:

– А у меня дочка завтра в олимпиаде по английскому участвует. Вот стих на английском мне выслала на телефоне, плохо понимаю, правда, весь английский забыла со школы.

Света протянула Саше свой телефон, на экране которого высвечивались шесть строк стихотворения в оригинале.

– Похоже на Блейка, – неуверенно сказала Саша.

– Дай посмотреть, – протянула руку Алла.

Катя сидела на своей постели, закинув ногу на ногу и продолжала смеяться.

Света передала телефон Алле, и та вслух прочитала:

When the angels in clouds begin to cry,
White snow falls and falls from sky.
And there is no day there is no night,
There is only snow as grey morning light.
«What is the love? – I asked the snow,
And all the world answered, «I don't know».

– А что нужно сделать с этим стихотворением на олимпиаде? – спросила она Свету.

– Кажется, перевод сделать, тоже в стихах, – вздохнула та. – А дочка моя не сочиняет стихи.

Тогда Саша сказала Алле:

– Давай по принципу буриме, а?

Та поняла, улыбнулась. Обе полезли в сумочки за блокнотами и ручками.

– Ты первая начинай, – предложила Саша.

– Так... – на секунду задумалась Алла. – «Ангелы в облаках чистят крылышки...»

– О, как! У тебя они не плачут, – улыбнулась Саша, – ну, ладно: «Падают к нам снежинками их пёрышки»...

– «День перепутался с ночью, закат с рассветом...»

– «Есть ли любовь на свете где-то?»

– «Молча снежинки на землю падают»...

– «Нежною свежестью всех нас радуют».

– Как хорошо! – захлопала в ладоши Света. – Можно, я вышлю это дочке?

– Конечно! – польщённо ответили Саша и Алла. Они переглянулись, засмеявшись, потому что обе с удовольствием подумали: как хорошо, что притихла эта Катя.

– Слушай, Саш, – предложила Алла. – А теперь давай напишем каждая свой перевод!

– Ок! – полная вдохновения, ответила та.

Через три-четыре минуты они дали листочки Свете, и та прочитала вслух:

Посмотри, как стремятся снежинки к земле!
Под покровом снежинок она будет в тепле.
И не день, и не ночь – только утренний свет...
Я у снега спросил: «Есть любовь или нет?»
На вопрос мой весь мир встрепенулся в тиши.
И как будто услышал я: «Ты поищи».

– Это кто из вас? – довольно улыбнулась Света.

– Я, – тоже улыбнулась Алла. – Это художественный перевод, не дословный. «Переводчик прозы – раб, переводчик поэзии – соперник», – сказал кто-то из великих.

Света стала читать Сашин перевод:

Когда ангелы в облаках начинают плакать,
С неба хлопьями снег начинает падать.
Нет ни ночи, ни дня,
Где рассвет – не понять.
И спросил я у белого снега:
«Что такое любовь?» – Промолчал снег в ответ...
А ответил весь мир: «Это ДА или НЕТ».

По ту сторону двери осторожно постучали, и голос Михаила произнёс громким шёпотом:

– Девушки, не проспите рассвет над Невой! Мы уже в умывалку пошли.

– Это ещё кто? – удивилась Катя.

Из-за двери было сказано:

– Свои в городе.

Катя засмеялась своим басом.

Саша быстро спустилась со второго яруса, подошла к двери и ответила Михаилу:

– Через пять минут мы тоже в умывалке будем. От нас направо или налево?

– Налево, – ответил Михаил. – Ждём!

Саша вышла к стойке администратора, едва освещённой маленькой синей лампочкой. За стойкой на раскладушке спала девушка-администратор.

На шорох Саши она приподняла голову, спросила:

– Уже уходите?

– Через полчаса, – ответила Саша шёпотом. – У меня вопрос: зачем мои данные открыли этой москвичке Кате?

– Я ничего ей не открывала, – резко села на раскладушке девушка. – Она сказала, что вы очень похожи на её бывшую коллегу, просила уточнить вашу фамилию и дату рождения.

– Эх, ты, простота! – сказала Саша, махнула полотенцем и пошла в номер за Аллой.

В умывалке было холодно, прокурено, но раковины сияли чистотой, и на каждой лежал розовый кусок мыла.

Валера с Михаилом курили в открытое окно. Алла присоединилась к ним. А Саша сказала:

– Вам легче, сигареты всегда в кармане! А мне бы сейчас глоток крепкого кофе!

– Сгоняй на угол Зверинской, в свой любимый магазинчик! – пошутил Валера.

– Да с удовольствием бы, – улыбнулась Саша, – времени нет.

В умывалку вошла Катя, с пушистым кремовым, явно не из хостела, полотенцем.

– Привет, – сказала она. – Ну и как вытирать лицо портянками?

– У тебя есть опыт? Хочешь сравнить с нашим? – спросила Саша, ещё злая на неё за враньё.

– Саш, – сказал Михаил, – не зверей. Целый день впереди, ещё напьёшься кофе.

– Угу, – ответила Саша, яростно орудуя указательным пальцем во рту вместо щётки.

На раковине кроме мыла стоял тюбик с пастой, наверно, кем-то забытый. Все четверо почистили зубы.

– Ну вот, питерский пролетариат экспроприировал зубную пасту, – прополоскав рот, произнесла Катя.

Все четверо переглянулись. Алла спросила:

– Это ваша паста?

– Нет, – засмеялась, уходя, Катя. – Просто я никогда не беру чужое, меня так ещё в детстве научили папá и мамá!

Михаил поморщился. Алла взяла его под руку. А Саша сказала, глядя на Валеру:

– Представляешь, эта девица московская у администратора мои данные выпытала.

Все удивились:

– Зачем? И, кажется, администратор не должна никому наши данные рассекречивать.

– Ну ладно, – деловито сказал Валера, – пора ехать домой, в родной душ, к родному тостеру.

– И к кофеварке! – засмеялась Саша.

Когда они проходили мимо женского номера, Саша, сказав: «Я сейчас», зашла в него.

Света лежала с открытыми глазами, счастливо посмотрела на вошедшую:

– Думаю, дочка победит в Олимпиаде с такими переводами.

– А рядом с твоей подушкой паучок по стенке ползёт, – объявила с улыбкой Саша, – вверх ползёт, к удаче, думаю, диагноз тебе неточный поставили. Всё на ядерном уровне изменится положительно...

– Вы что, с ума сошли, так со мной разговаривать? – послышался из коридора Катин басовитый голос.

– Пока, Свет, выздоравливай, обязательно выздоравливай, – торопливо сказала Саша и выбежала в коридор.

У стойки администратора стояли трое ее друзей, растерянно переглядываясь, а перед ними – Катя!

Всё её лицо «от Модильяни» было в красных пятнах.

– Ты у меня сядешь! – ткнула она пальцем в Валеру.

Девушки потянули своих друзей за дверь хостела.

– Хорошего дня! – бросила администратору на ходу Саша. На Катю она не стала смотреть.

Вылетели из гулкого подъезда на улицу.

– Что там было без меня? – выдохнула Саша.

– Достала она нас! – гаркнул Валера.

– Начала нам втирать о своём дворянском происхождении! – добавил Михаил.

– А Валера назвал её шариковой и папу её швондером, – продолжила Алла.

Саша прыснула, Михаил и Алла подхватили её смех, но Валера сказал:

– Я позвоню Мухину. Он здесь, на Петроградке, служит, уже вес имеет в полиции... Сейчас про эту девицу узнаем...

– Алло, Сань, – сказал он, когда после долгих гудков услышал сонный голос приятеля. – Тут такое дело...

И Валера вкратце обрисовал ситуацию.

Мухин с той стороны выслушал, затем что-то сказал коротко.

– Что?! – изумлённо спросил Валера. – Какую ещё объяснительную?

Он растерянно уставился на свой телефон, который резко замолчал, потому что майор полиции Мухин отключил свой.

– Что? – спросили его трое друзей.

Валера, нервно сжимая в руке телефон, кривя губы сказал:

– Майор питерской полиции Мухин приказал явиться и написать объяснительную по факту оскорбления дочери его высокопоставленного московского коллеги.

Секунд пять все молчали.

– Пошли в метро, – позвала Алла. – Дождик накрапывает. А Мухина забудь. И номер его удали!

– Так нам и надо! – сказала Саша. – Искателям приключений.

... На улице Рубинштейна, уже одна, Саша остановилась у дома, в котором жила её бабушка-переводчица, в тридцать седьмом объявленная «врагом народа»...

ЧАЙ С ЗЕМЛЯНИЧНЫМ ВАРЕНЬЕМ

В то лето Елена приехала в гости к бабушке уже совсем взрослая – решила отдохнуть после защиты диплома. Тогда безработица еще никому не грозила, и можно было планировать свое будущее как очевидное.

Бабушка по старой памяти достала из подполья несколько банок варенья из лесной земляники, потому что в детстве Елена поглощала его, как Карлсон. Но на этот раз ее больше занимал местный клуб и окрестности старинного уральского поселка. В клубе она решила поставить спектакль – одну из своих нереализованных студенческих идей.

А окрестности были удивительными. Одни названия окружающих поселок гор чего стоили: Синяя, Лысая, Толстая... И где-то неподалеку находился памятник «Европа – Азия», до которого Елена очень хотела добраться!

Заведующая клубом, яркая энергичная брюнетка – настоящая Аксинья из «Тихого Дона» – приняла ее предложения с большим энтузиазмом:

– Мы сегодня же напишем большое яркое объявление перед клубом: «Добро пожаловать в драматический кружок и туристическую секцию!» Сегодня танцы, многие увидят его.

Елена шла по вечерней улице к бабушкиному дому, довольная началом...

Вдруг сзади раздался дружный топот ног. Елена удивленно оглянулась: человек десять подростков бежали за ней. Они резко остановились, как только заметили, что Елена обернулась.

Елена пошла дальше – они снова побежали за ней.

Тогда она круто повернулась и пошла им навстречу. Подростки сделали несколько шагов назад и остановились, выжидая.

– Вы зачем меня преследуете? – спросила Елена прямо.

– А просто так, – ответил за всех, улыбаясь до ушей, самый маленький.

Елена внимательно оглядела их. Подросткам было лет по тринадцать-пятнадцать.

– Ребята, а вы в поход хотите?

Они молчали.

– В общем, так, – расхрабрилась Елена. – Завтра встречаемся в клубе. В шесть.

Повернулась и пошла своей дорогой.

– А мы придем, – звонко сказали ей вслед сразу несколько голосов.

Они пришли.

Им интересно было стать артистами и пойти в поход к памятнику «Европа – Азия».

Елена вместе с мальчишками выбрала в одном из журналов самодеятельности пьесу с красивым названием «Радуга над домом». Тема явно была близка всем: семья, взаимоотношения сводных братьев и сестер, отчима и мачехи.

Из декораций были стол с несколькими стульями, кресло с журнальным столиком – для первого акта. Для второго – скамейка, а рядом с ней пальма в кадке из холла клуба: нужно было изобразить парк. Ну, и вовремя включали и выключали свет, изображая либо вечерний парк, либо домашний уют.

Премьера прошла с аншлагом. В первых рядах сидели преподаватели ПТУ и учителя школы, где учились ребята.

Артистов хвалили. Пожилые зрители говорили, что дебют был таким удачным, как спектакли во время войны, которые на сцене этого клуба ставили эвакуированные ленинградцы.

На следующий день заведующая клубом объявила Елене, что всем участникам спектакля профком завода выдаст премии, маленькие, но приятные! И предложила Елене съездить со своим спектаклем в подшефную деревню.

Был выделен автобус. Мальчишки, кряхтя, затащили в него громоздкие колонки. (Магнитофон при этом был кассетный.)

В автобусе все горланили песни под гитару: «Вот! Новый поворот! Что он нам несет? Пропасть или взлет?!.»

Автобус остановился перед железнодорожной линией.

Водитель сказал:

– Я вас здесь подожду. А вы перейдите через путь – и вон он, клуб.

Клубом было новенькое брусовое здание. От железнодорожной линии метров двести.

Мальчишки опять закряхтели под тяжестью колонок.

Войдя в клуб, удивленно огляделись:

– Здесь же и без колонок все будет слышно!

– Ребята, – послышался виноватый голос звукооператора Валеры. – Я кассету забыл дома.

– А зачем мы тогда колонки перли?!– заорали все на него.

– Спокойно, – сказал Толя-гитарист. – У меня же гитара.

Зрителями были бабушки: деревня, похоже, была вымирающая. Они искренне сопереживали семейной драме на сцене, часто вытирая глаза уголками своих косынок. Одна из них, видимо, так поверила в игру актеров, что стала громко возмущаться поведением «отчима»:

– Ты что, не мужик, что ли? Не можешь помирить детей с женой? Она и так на твоих двоих пошла!

«Отчимом» был самый рослый из подростков – рыжий Костя. Он не выдержал укоров из зала и, крикнув: «Я что, настоящий ее муж, что ли?!» – убежал из клуба, хлопнув дверью.

Артисты на несколько секунд смутились, бабушки опешили. Потом и те и другие стали смеяться. Елена, игравшая роль мачехи, громким шепотом сказала Толе: «Пой!» Толя понял, объявил конец спектакля и начало концерта. Елена выбежала на улицу разыскивать Костю. Тот, еще красный от возмущения, сидел в автобусе. Елена успокоилась. Она вернулась в клуб и предупредила ребят, чтобы Косте не напоминали о происшедшем.

– Ну да, – согласились они. – А то точно подеремся.

Выходя из автобуса в поселке, они спросили Елену:

– А когда в поход?

– Завтра, – засмеялась она.

Погода была жаркая. Точной дороги к памятнику «Европа – Азия» никто из них не знал. Папа одного из мальчишек начертил примерный план местности до памятника. А масштаб не обозначил. Они шли с рассвета до полудня. Не выдержали жары, сбросили рюкзаки прямо на обочину проселочной дороги и повалились на них.

Костя и Толя пошли вверх по косогору на разведку. Через две-три минуты вернулись и сообщили:

– До памятника метров восемьсот, не больше.

Все разом вскочили, взгромоздили на себя рюкзаки и, как стадо слонов к водопою, ринулись в гору.

На самом деле бежали километра два, пока не показался памятник – символическая часовня. Хотели разозлиться на Костю и Толю за «восемьсот метров», но сил уже не было никаких.

Самое главное, они были на границе Европы и Азии! Дошли!

Елене пора было уезжать из поселка.

На прощание она пригласила мальчишек на чай с бабушкиным земляничным вареньем. Костя рыжий пришел с покрашенными в черный цвет волосами. Рыжие брови и крупные веснушки выделялись теперь особенно отчетливо. Маленький Юра нарисовал синяк под глазом. Это они явно сделали в память о драмкружке.

– Ты, наверно, никогда больше не приедешь? – спросили мальчишки Елену.

– Наверно, – ответила она.

Помолчали.

– А знаешь, – сказал Юра, – на сцене клуба когда-то пьяный художник повесился.

– Зачем ты мне об этом сейчас сказал? – удивилась Елена.

– Просто. Ты же не знала. А про три достопримечательности нашего поселка тебе кто-нибудь рассказывал?

– Нет. Это что?

– Телевышка, Абзал Мишка и Пилосьян-сберкнижка.

– Ну, про телевышку понятно, а остальное – это что или кто?

– У Абзала Мишки винный магазин, а Пилосьян – подпольный миллионер. Или миллиардер.

Елене стало смешно. В то советское время такая информация не могла звучать правдоподобно.

– А ты знаешь, – спросили мальчишки, – что про тебя учителя говорят: «Это та приезжая, которая с нашими хулиганами связалась»?

– Нет, не знаю, – смеялась Елена. И притворно спросила в ответ: – А что за хулиганы? Я ведь только с вами все время была: спектакль ставила, в поход ходила...

Мальчишки переглянулись. Потом, как по команде, поднялись, сказав:

– Ну, мы придем к поезду проводить тебя. А это возьми от нас...

Они достали из-под стола заранее спрятанный газетный ком.

– Открой, – попросили они Елену, – когда мы уйдем.

...В ворохе газет оказался маленький пластмассовый пупсик.

В тот год Елена вышла замуж и родила ребенка.

ПЕТЬКА, ВИТЬКА, ЛИЛЬКА И ЖИЗНЬ

Сентябрь в Баварии – необыкновенно красивый. Дождик, если и брызнет на минуту-другую, не снизит ваше настроение ни на градус.

В начале сентября ещё летают бабочки, прыгают кузнечики. Нежные мелкие цветы трепещут под лёгким движением воздуха по обочинам асфальтовой дорожки, которая ведёт далеко-далеко по окраине маленького городка, в сторону зелёных холмов и леса.

Лес совсем рядом. За тесной толпой вековых елей угадывается глубина сказочной чащи, которую, возможно, воспевали братья Гримм.

Теперь Лиля будет вспоминать милую Баварию, родину своих предков, в снах и застольях на своей родине, куда вернулась. Навсегда!

Её вернул старинный друг детства, Петя. Он предложил ей купить домик своей матери, со старым садом и огородом.

Нашла она Петю по Интернету, вернее, информацию о том, что Голиков Петр Петрович – инвалид второй группы. Всё совпадало: год рождения, адрес места жительства. Правда, в ответном письме Петя сообщил ей, что в материнском доме только прописан, а живёт в Чимкенте. Дом, знакомый Лиле с детства, он никак не может продать, все говорят ему, что заломил цену!.. Тогда Лиля предложила продать дом ей.

Петя, похоже, не поверил, но сразу пригласил в гости.

Он встретил Лилю с утреннего поезда на своей машине.

– А улицы тогда были шире! – глядя в окно машины, сказала Лиля.

– Ну, да, – смеялся Петя, – и дома были выше.

Включил громче её любимую песню: «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок...»

– …На нашу улицу в три дома, где всё просто и знакомо, на денёк, – хором громко пели они.

Лиля сделала глубокий вдох: так счастлива, даже не верится!

Не было никаких тридцати лет в красивой ухоженной стране! Хотя... Там остался взрослый сын. Он её пока не понимает. Смеётся, говорит: «Вернёшься, мать!»

«Не вернусь, – думает Лиля. – Хотя ведь могу жить теперь на два дома».

Подъехали к металлическим воротам, крашенным голубой краской.

– Ну вот, – улыбнулся Петя, легонько хлопнув подружку детства по плечу, – ты дома.

– Который час? – спросила та.

– Без семи десять, – ответил он. – Ещё утро. Но уже тридцать восемь градусов. В полдень будет сорок один или даже сорок два!..

– Можно, я пройдусь по улице? – спросила.

Он понимающе кивнул: иди, мол.

Она вышла из машины, предусмотрительно повязав на голову шифоновый шарф, и пошла по односторонней улице, угадывая в незнакомых домах и постройках рядом с ними саманные домики с плоскими крышами из тридцатилетней давности.

Дорога, пыльная, в глиняных, запечённых солнцем, колдобинах, высокие заборы, каких тогда не было.

Что было? – Невысокий штакетник, белённый известью; пышные кусты георгинов и изящные мальвы у приворотных мостиков, над журчащим по вечерам арыком. Когда на главном канале открывали шлюзы и жители всего посёлка радостно поили свои сады водой.

Вербы и серебристые тополя были!

Теперь арыки засыпали, проложив трубы, по которым под пыльной землёй вода поступала в каждый дом. Верб и тополей осталось мало.

Она вдруг почувствовала, как жгучее солнце стукнуло её по темечку.

– Ого! – встрепенулась женщина и побежала к далёкой тени дерева.

Знакомый арык был впереди, справа, на повороте должен быть дом казахов, с овчарней, блеянием серых и чёрных овец и их душным запахом, смешанным с запахом готовых лепёшек на тандыре.

Вместо казахского дома на повороте стоял магазин.

Зашла, поздоровалась и спросила, можно ли где-нибудь присесть.

– Можно, можно, – сказала продавец-казашка. – Рядом.

Она выбежала из-за прилавка, открыла дверь сбоку: там была комната со столами и широкими скамьями, покрытыми ковриками и подушками.

– Отдохните, – сказала она. – Чаю хотите?

Лиля покачала головой.

– Только прилягу ненадолго, – ответила ей. – Отвыкла я от такой жары.

– Первый раз у нас? – спросила девушка, поддерживая её под локоть.

Лиля мельком посмотрела на её молодое скуластое лицо, ответила:

– Жила я на этой улице тридцать лет назад.

– Ой, – сказала та, покачав головой, – меня тогда ещё не было. Какой дом ваш был?

– Между домом Скрыльниковых и казахским...

– Ой-бой! – засмеялась казашка. – Бабушка Мауя должна вас знать. Это её дом. Я её внучка.

– Ты дочь Бахета или Шико?

Она перестала улыбаться, сказала тихо:

– Мою маму звали Сандулаш. Шико её звали в детстве. Она давно умерла. Такая, как я сейчас, была.

– А тебе сколько лет? – спросила Лиля.

– Двадцать один год. Меня Баяне звать.

Женщина молча смотрела на девушку.

– Отдыхайте, – спохватилась Баяне, – ко мне покупатель пришёл.

Лиля лежала, прикрыв глаза.

Дверь приоткрылась со скрипом. Женщина сквозь ресницы увидела детские лица. Любопытные глаза рассматривали её, маленькие рты хихикали. Она пошевелилась.

Дети, захлопнув дверь, скрылись.

Лиле очень жалко было Шико. Вспомнила, как она подходила к забору, разделявшему их дворы, и звала Лилину маму: «Аня-а, вишня дай! Пожалиста!»

Мама смеялась, набирала в стакан с дерева крупную спелую вишню, протягивала его через забор Шико.

Тётя Мауя в долгу не оставалась, угощала Лилю свежеиспечёнными баурсаками...

Женщина перешла из чайной комнаты в магазин. Покупателей не было.

– Уже уходите? – спросила Баяне.

– Да, спасибо тебе, хочу немного пройтись по знакомым улицам.

– Приходите к нам в гости, обязательно, – сказала Баяне. – Вечером, мы с бабушкой будем ждать. С нашей большой семьёй познакомитесь.

– Спасибо, конечно приду, – ответила Лиля, – на наш бывший дом хочу посмотреть.

– Вашего дома уже давно нет, – покачала головой Баяне. – Другие новый построили.

Лиля поёжилась: то ли солнечный удар мурашки по её коже пустил, то ли ещё что...

– Спасибо, – ещё раз сказала она, – обязательно приду.

До арыка было метра два. Теперь он представлял собой болото с мусором.

Лиля повернула назад, к дому Пети.

Он стоял у калитки.

– Я знал, что быстро вернёшься, – улыбнулся. – Заходи.

Широко распахнул калитку.

– Двор какой-то маленький и тесный стал, – удивилась она.

Петя махнул рукой в сторону плоской крыши.

– Помнишь большую ветку тополя, которая почти лежала на крыше?

– Помню, ползали с тобой и Витей по ней, то с тополя на крышу, то с крыши до тополя, где в развилке тебе старший брат домик сколотил.

– Да-а! – с удовольствием вспомнил Петя. – Я даже ночевал в том домике. Правда, комары кусали! Ох, и здоровые они раньше были!

Оба расхохотались: это мы здоровые стали!

– Ветку ту пришлось спилить, а то бы крышу продавила.

Петя открыл железную, тоже крашенную голубой краской, дверь. Немного пригнувшись, вошёл первым.

Повернулся, взял Лилю за руку.

– Боже! – изумилась та. – На яичных желтках, что ли, эту избушку строили?! Всё как было! И печка та же, крепкая ещё. А наш дом снесли...

– Уже знаешь? – сочувственно сказал Петя. И тут же спросил: – Витьку хочешь увидеть?

– Конечно! Всех хочу увидеть поскорее! А вечером к казахам сходить, бывшим соседям!

– Ладно, сходим все вместе! Бахет твою фотографию недавно показывал.

Лиля удивилась:

– Откуда она у Бахета?

– И у меня есть, – засмеялся Петя. – А у Витьки пятеро детей!

– У него тоже моя фотография? – спросила женщина.

Петя засмеялся.

– Нет, по-моему, вы ведь с ним дрались всё время. Он вспоминает, как ты ему голову куском угля пробила до крови.

– Не помню, – удивилась Лиля.– Надо же, я тридцать лет вспоминала, как играла с Витей и со всеми в прятки и догоняшки, а, оказывается, он всё это время обиду на меня держал. Знаешь, – сказала она Пете, – Витя забудет про обиду, когда подарок от меня получит.

Петя с интересом посмотрел на неё.

– Я ему такую огромную пивную кружку привезла! И тебе тоже.

– Пивную кружку?

– Нет, – засмеялась Лиля. – Никогда не догадаешься! Ты ведь не такой злопамятный, как Витя.

Петя молча смотрел на неё большими карими глазами, от которых расходились лучиками морщины.

– Этот подарок тебе от моего папы, – объявила она ему.

– Ты же писала, что он умер...

– Два года назад. Но после нашего отъезда отсюда папа мучился совестью, что не дал тебе на прощание одну игрушку...

– Не помню, – пожал плечами Петя.

– Это был игрушечный мотоцикл с мотоциклистом. Немецкая игрушка, невиданная здесь.

– А-а, – напряг лоб Петя. – Нет, не помню.

– Давай принесём мои сумки из машины, – предложила Лиля. – Он там. Папа говорил, что ты плакал и просил оставить ему на прощание тот игрушечный мотоцикл.

Петя махнул рукой.

– Не помню, сказал же тебе.

– Возьми, пожалуйста, игрушку, – протянула Лиля другу детства сувенирный пакет. – Ну, пожалуйста. А то я за отца буду всю жизнь мучиться совестью.

Петя нехотя взял пакет.

– Спасибо, – задумчиво произнёс он. – Не буду пока открывать, потом.

И положил пакет на холодный чугун древней плиты.

В дверь раздался лёгкий стук.

– Это Витька, – уверенно сказал Петя.

Да, это был он. Вошёл, не дожидаясь ответа на свой стук.

Лиля не могла узнать в нём того Витьку: кряжистый мужик с седым ёжиком волос на голове.

– Здорово, Петь! – протянул он руку-лопату другу.

– Здорово, Лилька! – сграбастал тут же в охапку гостью и приподнял на полметра.

Лиля весело взвизгнула. Пятьдесят лет как не бывало!

– А помнишь… – ставя её на пол, начал Витя.

– Помню! – воскликнула она. – Пробила тебе голову куском угля.

– Да не, – смутился Витя. – Помнишь, как мы борщ ели в нашем дворе, а прямо над нами абрикосы висели на ветках. Вкусные были! Только вчера спилил дерево. Гнилое уже было, могло бы упасть внезапно, придавить кого-нибудь.

– А-а, – вспомнила Лиля вкусные абрикосы. – Ну, хорошо, что вовремя спилил. Говорят, у тебя большая семья, да?

Витя опять смутился, но сказал с улыбкой:

– Все дети послушные, потому что жена строгая, директором работает. Вот такая она!

Витя развёл руки, показывая, какая его жена необъятная, потом поднял руку, изображая ее рост.

Лиля чуть не поверила, да Петя захохотал.

Витя спросил деловито:

– Ты не очень устала с дороги?

Лиля подняла вопросительно брови.

– Так, ребята, – обратился он к Лиле и Пете. – Сегодня идём на день рождения Василия Давыдыча.

– Он ещё жив? – удивился Петя.

– А то! – как за себя, с гордостью произнёс Витя. – Девяносто пять исполнилось! К двенадцати приглашали, поспешим. Лиль, ты отлично выглядишь, обойдёшься без зеркала и прочего.

Сели в Петину машину – и дали газу по улице.

Приехали. Открыли калитку и оказались в цветнике перед большим белым домом.

Как принято на юге, каменную дорожку сопровождал низкий заборчик. Худой старик, на вид лет восьмидесяти, держа в кулаке пучок травы, перемахивал через этот заборчик.

– Давыдыч, здорово, это ты нам к водке несёшь? – крикнул Витя.

– Кроликам, – усмехнулся старик. – Здорово, Витя!

Стол во дворе, рядом с виноградником, был уже накрыт.

Лиля вдохнула желанный запах жареной рыбы, пытаясь угадать, какой. Вокруг стола хлопотали две женщины, невестка и внучка старика. Из дома вышел сын, друг Вити.

Все мужчины поздоровались за руку.

Пришёл ещё гость, муж внучки, и маленькая женщина.

– Это моя жена, – взяв её за плечи, сказал Витя, – а это старший мой, Сашка.

– В честь деда, – улыбнулась Лиля, вспомнив отца Вити. Тут же спросила: – А дядя Саша где?

Витя покачал головой, сказав ей: «Потом, не сейчас».

Лиля села рядом с Витиной женой, явно стеснительной особой.

Стали поздравлять Василия Давыдыча, подносить ему подарки: рубашку, бутылку водки, с пожеланием распить её в следующий день рождения, и жбан пива, увидев который, Василий Давыдыч довольно облизнул синие старческие губы.

Очень ему понравилась кепка с длинным козырьком и солнцезащитные очки. Сразу примерил и отказался снимать.

Обнявшись с сыном и Витей, он сидел, как иностранец, подпевая старинную казачью песню. На гармони наяривал Сашка.

– А дедушка наш Бухенвальд прошёл! – гордо и звонко сказала Лена, внучка Василия Давыдыча.

– Прошёл, – гордо согласился старик.

– Откуда столько песен старинных знаете? – спросила Лиля Витю.

– Так ты не знаешь, мать ведь моя была ссыльная казачка.

– Царство ей небесное! – сказали женщины.

– Если бы не она, отец никогда такой дом не построил бы, пролетарий. Он работать умел, только деньги экономить да копить – никогда! Пролетарий!

Витя махнул рукой.

Лиля обратилась к Василию Давыдычу.

– Как вам удалось выжить там, в Бухенвальде?

– Удалось, – ответил старик. – Я жить так хотел, что удалось! Никому не показывал, что душа моя еле в теле держалась, а здоровые мужики падали духом, ну, и гибли: от болезни, от пули!..

– Вы немцев ненавидите? – спросила она.

– А зачем? – глуховато засмеялся Василий Давыдыч. – У нас же здесь полпосёлка немцев было. Порядок, чистота была! Злодеев не было! Сами они пострадали, от войны, от политики.

– Ладно, отец, наливаем, за твоё здоровье! – сказал сын Василия Давыдыча.

Все с удовольствием и искренне выпили за него.

Невестка внимательно следила за свёкром. Часа два уже сидели за столом.

– Дедуль, тебе, может, прилечь? – спросила она его.

– И то, – согласился он.

Сам поднялся, невестка и внучка, обняв дедушку с обеих сторон, повели в дом.

А застолье ещё продолжалось, с песнями, каких Лиля давным-давно не слышала. Пили, ели, вспоминали ушедших родителей, шутили друг над другом – какими были и какими стали!..

– Меня казахи, бывшие соседи, пригласили в гости, – вслух вспомнила Лиля.

– Когда это они успели? – удивился Петя. – Ты же в другой конец улицы ходила.

– В магазин зашла, а там внучка тёти Мауи работает, – объяснила Лиля.

– А, тогда железно ждут, – сказал Витя. – Давай вместе пойдём. Мы с Бахетом в одной упряжке работаем уже лет двадцать.

Зашли в магазин, закупили конфет.

– О, это по-казахски! – сказал Бахет, принимая подарки. Он был худенький, сморщенный, ничем не напомнив Лиле крепыша Бахета из её детства.

Куат, младший брат Бахета, играл для гостей на аккордеоне, потом на пианино. Слухач! Нигде ведь не учился. С разрешения соседа-немца приходил к тому в дом, слушая игру целой семьи на инструментах, наблюдая за движениями рук исполнителей. Когда немцы уезжали в Германию, продали инструменты Куату.

Сидели за столом, чай пили из самовара, но жена Бахета наливала его в пиалы по-казахски – понемногу. Сладости, фрукты были на столе. А Лиля сразу потянулась к любимым с детства баурсакам – казахскому хворосту.

Тётя Мауя, по-прежнему стройная, ну, конечно, сморщенная, была нарядно одета, с золотыми серьгами, колье и браслетом. Только к столу подошла с палочкой, жалуясь на боли в ногах...

– Лилька, Лилька, – качала она головой, глядя на гостью с доброй улыбкой.

Дом у казахов был просторный, в каждой комнате стоял диван, на стенах висели большие фотопортреты членов семьи.

– Эти фотографии кто делал? – спросила Лиля.

– Вейс, – сказал Бахет. – Ты, наверно, его не помнишь.

– Помню, – возразила Лиля. – У меня сохранилась фотография второго класса. А ещё мой детский портрет.

– Вейс тоже уехал, когда из тюрьмы вернулся. Могила его дочери затерялась, потому что после отъезда немцев кладбище заросло бурьяном, как лесом, – сказал Витя.

Лиля ахнула:

– А я хотела могилу дедушки найти! Его похоронили рядом с дочерью Вейса. На её могиле всегда цвели незабудки, и немцы-родственники поливали их водой из круглого цементированного колодца. Вот по нему я и хотела найти могилу дедушки.

Витя усмехнулся.

– Я тебе уже всё объяснил, а ты вообще наивная, через тридцать лет захотела увидеть всё здесь, как после вчерашнего дня. Что до Вейса, так дочь его умерла, когда он сидел...

– Вот за что он сидел, я не помню, – сказала Лиля.

Витя помрачнел:

– В день Победы пьяный встал из-за стола и крикнул: «Хайль Гитлер!», дурак. Донесли на него и посадили. Говорят, плакал потом, каялся, да поздно было.

Петя сказал:

– Давайте съездим на кладбище, чтобы Лиля не мучилась.

Ну и поехали.

И всё оказалось таким, как обрисовал Витя: бурьян колючий выше головы.

– Не переживай, – успокоил Лилю Бахет, ожидавший друзей в машине. – Дух твоего дедушки очень доволен, что ты его искала! И он тебе будет помогать в твоих делах!

– Это хорошо! – переглянувшись, засмеялись Лиля и Петя.

Петя объяснил остальным:

– Лиля мамин дом покупает у меня.

– Молодец, Лиля, – похвалил Бахет.

– Ты же моей жене обещал, – обиженно произнёс Витя.

– Ну, Витя… – взяла за руку друга детства Лиля.

Он помрачнел. Но всё же взял себя в руки, улыбнулся.

– Лилька, ты же не сможешь здесь постоянно жить, – пустишь мою молодёжь на квартиру?

– Да твоя молодёжь вся в Чимкент уедет, – сказал Петя.

– И то, – согласился Витя. Но, не удержавшись, полюбопытствовал: – А за сколько покупаешь, Лиль?

Услышав сумму, изменился в лице, нахмурился.

– Легко тебе на евро покупать. Домик, можно сказать, сарай, – сказал он, – но земля у тебя, Петр, хорошая! Не истощилась до сих пор.

– Да уж, старались мы всей семьёй!

Дневной зной уходил медленно. В воздухе появилась едва уловимая прохлада, как нежность проявляется в человеке, который остывает от ярости.

– Лиль, а ведь у тебя душ в саду есть, – сообщил Петя.

– Петька, – нежно протянула Лиля, – какая я сегодня счастливая...

Её друзья довольно заулыбались.

Сколоченную из фанеры кабину душа венчала бочкой с водой. Вместо дверей висело фланелевое одеяло. Зелёное с белым, в клетку.

Лейка душа была большая, и когда Лиля повернула кран, на неё полился горячий дождь.

– Боже, как хорошо, – шептала Лиля под струями воды. – Какая же я счастливая!

В доме она достала из большого баула подушку, одеяло, комплект постельного белья. На стол постелила скатерть, купленную в Нюрнберге. Ну и ничего, что рождественская!

Застелила кровать, с облупившейся синей краской на спинках. Вспомнила, как на этой самой кровати спала со старшей сестрой Пети. Мама иногда разрешала ей ночевать у Голиковых.

Матрас был жёсткий, новый. Петя постарался.

Лиля босиком прошла по крашеному дощатому полу в кухоньку, погладила нежно уже щербатый старинный стол; так же нежно погладила чугунную плиту печки, прошла во вторую комнату, совершенно пустую.

Жена Пети, как он сказал, выбелила весь домик и пол покрасила, совсем на днях.

Во второй комнате когда-то стояли две кровати, тёти Вали и Пети. Но медсестра тётя Валя редко ночевала дома, надрывалась на работе в больнице. О её приходах можно было узнать по крепкому запаху «Беломора».

Лиля вытянула ноздрями из памяти запах папирос...

Вернулась в спальню и растянулась на кровати.

По всему посёлку перебрехивались собаки. Стрекотали сверчки. Далеко прогудел поезд.

Полная луна смотрела в окно. У Лили не было сил встать и занавесить его. Так и забылась во сне, под улыбкой луны, пока ту не закрыло мохнатое облако.

За счастье, даже если оно недолгое, надо платить.

Дорого.

Юрий БАБИН

Родился в 1985 году в селе Ошминское Нижегородской области. Окончил биологический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Работает в научно-исследовательском институте. Живет во Владимире.

ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ

Мокрая и наглая весна взялась ниоткуда и расшатала мое юное сознание. Еще вчера я смотрел вокруг прямо и спокойно: кругом лежали непоколебимые снега – я любил это морозное, застывшее бытие.

Но весна оказалась особенной. От резкого, яркого света и тяжелых мокрых сугробов, тающих на солнце, от превращения, что совершилось за считанные дни, оттого, что жаркие пылающие ангелы в спешке переплавляли мир, я первый раз в жизни ощутил необычную немую душевную ломоту. Если б я мог трезво рассуждать в то время, я бы сказал себе: успокойся, перетерпи. Все это потому, что наши корни вплетены в этот мир, им сотни тысяч лет, и ты – словно дерево. Только малая часть тебя способна сопротивляться, но и ей иногда приходится туго. Однако же в то время я знал мало мудреных слов, и мне нечем было себя успокоить. Поэтому я глупо мучился и держал на хрупких детских плечах глыбу нового опыта: меня душила черная тревога и необычная, взрослая печаль – будто я был столетний старик.

После уроков мы с Толиком бродили около школы. Я искренне желал поделиться с другом важным опытом самопознания, но мне приходилось молчать, потому что в тот день мы здорово разругались и чуть не подрались из-за возникшей ниоткуда и уже пропавшей глупости. Поэтому мы хранили независимый и гордый вид. Из вежливости мы перебрасывались короткими фразами, отпуская замечания по поводу битвы разгоревшейся перед крыльцом – парни разделились на две команды и с криками забрасывали друг друга тяжелыми мокрыми снежками.

У школы мы собирались меняться вкладышами от жвачек. Толик был первым коллекционером вкладышей с машинами. Мой друг держал накопленное в трех коробках из-под обуви, и если б за каждый фантик давали по рублю, он стал бы миллионером. Особенно его привлекали какие-то красные спортивные машины с белыми полосками на капоте. Они попадались крайне редко, и поэтому мой друг охотился за ними неустанно.

Из школы выскочил наш приятель Витька и подбежал к нам. Толик не спеша открыл портфель и вытащил подлежащее обмену. Витек отдал вкладыши. Толик внимательно их рассмотрел и сказал:

– Витян, это другие.

– Как так! – притворно воскликнул хитрый Витька.

– Мне другие надо. Тут черная машина. Мне нужна красная.

– Я вчера отдал такие Вовчику. На пугач поменял.

– Дурить меня будешь? – Толик схватил Витька за ворот.

– Ты чего, Толян, я перепутал просто!

– Ладно, дуй. Эти тоже пригодятся, – завершил разговор Толик.

Мы послонялись вокруг школы, раздумывая, вступить нам в снежную потасовку или нет. У двери в спортзал, одетые в спортивные костюмы, курили старшие парни. Один из них крутил на указательном пальце баскетбольный мяч. Еще один показывал остальным, как правильно бить «с вертушки». Он подпрыгивал и рассекал воздух ударами ног, как бешеная мельница. Мы постояли рядом, слушая их разговоры. Но скоро они вернулись в зал, все остальные тоже разошлись, и ничего интересного около школы не осталось.

– Надо топать к Вовчику, – сказал Толик.

Он боялся, что упустит редкие машины.

Наш приятель жил на окраине. Мы решили сократить путь и выбрали тропу, что тянулась позади домов через поле. Кругом бурлили грязные и шумные ручьи. Они рыли в снегу глубокие норы. Мы плелись по снежному месиву – глубокий след сапога тут же заполняла холодная темная вода.

Я чувствовал, что сумей я каким-то образом проникнуть внутрь себя, в грудную клетку, схватить и отодрать то, что вцепилось изнутри в меня, – и все пройдет. Мне казалось, будто эта хворь – какой-то душевный зуд, разновидность прилипчивой заразы. Я пытался свою болезнь хоть как-то определить в словах и, конечно, совсем не преуспел в этом, но еще больше ухудшил свое и без того гадкое состояние духа – да еще и холодной воды в сапог зачерпнул.

Мы поднялись на холм, где стоял новый, еще не потемневший от времени дом, в котором жил наш приятель. Не успели мы подойти к двери, как худющая длиннолапая гончая бросилась на нас из конуры. Собака заливалась лаем и то прыгала на нас, то припадала к земле. Мы отмахивались от нее портфелями.

Из дома вышла сестра нашего приятеля Вовки.

– Найда, фу! – крикнула она.

Услышав команду, собака сделала широкий круг, взяла на тропе след и резво убежала прочь.

Я смотрел на девушку, на ее лицо в веснушках, на русые волосы, искрящиеся на солнце, и вдруг как-то особенно остро пожалел, что она такая взрослая и наверняка скоро куда-нибудь уедет.

– Вы к Вовчику? Его нет, – сказала сестра. – Он к Роме ушел.

Мы пошли обратно. У подножия холма находился большой прямоугольный пруд. Мы видели плот из березовых бревен. Он вмерз в толстый лед в тени крутого дальнего берега. Толик рассказал, как прошлым летом они с Вовкой катались на этом плоту и гигантская щука переломила хвостом багор, которым они отталкивались от илистого дна, так что они с трудом добрались после до берега. Я представил себе этот щучий хвост, пятнистый и гибкий, подобный по размерам хвосту нильского аллигатора, и, вместо того, чтоб поверить словам друга, сказал:

– Врешь ты все.

– Не веришь – не верь, – ответил безразлично Толик.

Мой друг ушел далеко вперед. И даже по тому, как он развязно размахивал портфелем, по тому, как он сталкивал на затылок шапку, я видел, что он сейчас презирает меня за неверие в его историю про исполинскую щуку, способную крушить весла и багры и топить плоты и лодки.

Я подобрал с земли щепку, достал из кармана перочинный нож, проковырял в щепке дырку, засунул туда лучинку, отрезанную от этой же щепки, и на лучинку нацепил в качестве паруса вырванный из тетради клетчатый листок. Парус получился выпуклый, словно грудь гордого генерала.

Вдоль деревянного тротуара бежал бурный ручей. Я запустил корабль по этому ручью, и он полетел вперед, размахивая белым парусом, подпрыгивая и закручиваясь на порогах. Когда корабль обогнал Толика, мой друг принялся кидать в него снежки – они разбрызгивали воду и взрывались вокруг. В ответ я засветил снежком Толику в спину. Вторым промазал. Мой друг ответил. Я закрылся портфелем. Снаряд разбился о школьную сумку, мокрый снег попал мне за шиворот, и я тут же ответил еще раз, но опять промахнулся.

– Ты чего, как баба, в спину кидаешь, а? – заорал Толик и швырнул в меня еще один снежок.

– Я ты чего мой фрегат топишь? Сделай свой и топи сколько влезет! – закричал я в ответ.

Толик отвернулся, и мы продолжили наш путь как и раньше: мой друг независимо шагал впереди, а я держался за ним.

По утопающей в слякоти улице мы с трудом пробрались к дому, где жил наш приятель Ромка, и постучали в окно. Никто не выглянул. Услышав голоса, мы пробрались через темную ограду, где пахло старым сеном и мышами. Позади дома мы нашли Вовчика и Ромку. Они стреляли из пневматической винтовки по галкам – крикливые птицы расселись на высоком сухом тополе. Ромка сидел на деревянной бочке и стучал по ней пятками. Он держал в руках коробку с пульками и со знанием дела рассуждал о баллистике. Вовка, низенький и лопоухий парень, долго прицеливался, швыркал носом и гримасничал, закрывал то один глаз, то другой и наконец спускал курок. Они словно не заметили, что мы появились рядом, но при виде нас заговорили еще горячее о ружьях, снайперских выстрелах и подбитых галках. Ромка давал советы, показывая пальцем на дерево. Вовка с ненужной силой ломал ружье и с лязгом его захлопывал. Я с тяжелой завистью смотрел на упражнения в стрельбе, на такие заманчивые ребристые пульки в картонной коробке.

– Вовчик, мы к тебе, – вмешался в их разговор Толик и рассказал приятелю про неудачный обмен.

– Не знаю. Может, и разменяю. Мне они тоже нужны, – ответил Вовчик уклончиво.

И он снова особенно ловко ломал ружье, вставлял пульку, с силой захлопывал оружие, так что оно приятно и громко клацало, и вскидывал его к плечу. Я решил остаться и поглазеть, подстрелят ли они галку. Я завидовал нашим приятелям, а Толик вообще не мог вынести вида чужой пневматической винтовки, потому что владеть этим оружием значило – быть предельно счастливым. Однако же он повременил уходить. Не выдержав в конце концов – палить по галкам, даже каждый выстрел мимо, в тысячу раз веселее, чем за этим наблюдать, – он сказал:

– Ветром сносит – не видишь, что ли. Бери правее.

Тут я с ним согласился – совет прозвучал разумно и убедительно. Мы с Толиком переглянулись и покинули стрельбище.

На улице нас окликнула мамаша Ромки – тяжелая, широкая женщина с головой в черных буйных кудрях.

– Вы к Сережке сейчас? – сказал она и, не дожидаясь ответа, продолжила: – Так занесите ему, Наталья Сергеевна просила.

С этими словами она вручила Толику синий бидон.

Толик открыл крышку, заглянул внутрь, сморщился и произнес:

– Тащи.

– Ну и фиг ли, – ответил я, принимая бидон, – и потащу, чего мы, не к Серому, что ли?

– Вот и пейте с ним это молоко. Будете как эти – молоковозы, – ответил Толик.

Серега жил в обветшалой двухэтажке. Мы не застали его дома. Мы долго звонили в дверь, надеясь избавиться от бидона, и разглядывали исцарапанные ключами стены: «Алиса», «Кино», «Цой жив» и «БГ» – дело рук старшего брата Сереги.

Мы снова пошагали прочь: раз уж день не заладился, стоило просто пойти наугад. Мы сделали порядочный круг, и весеннее светило жарило нас то справа, то слева, то пекло затылок.

– Где этот чувырло?! Ходим, как придурки, с бидоном чужого молока, – ругался по дороге Толик.

Я решил поднять настроение друга и достал свой новенький пугач. Этот инструмент был выкован из толстой медной трубки. В портфеле я выделил под него отдельный отсек и, кроме этого устройства и коробка спичек, ничего там не хранил. Я достал спички. Накрошил в трубку три головки, подумал и добавил еще одну – для большей радости. Старательно размолол заряд гвоздем, взвел, вытянул руку в сторону, зажмурился и, нажав на резинку, спустил гвоздь. Пугач только щелкнул. Я взвел еще раз – снова осечка. Я решил, что это из-за влажности воздуха, про которую говорила по телевизору улыбчивая женщина, и, разозлившись и на эту влажность, и на эту женщину, сунул пугач обратно в портфель.

Вскоре мы нашли Серегу. Он стоял на мосту. Здесь мы иногда дожидались друг друга, если кто-то из нас запаздывал из школы. Серый наполовину перевесился через перила и размахивал портфелем из стороны в сторону, будто хотел забросить его подальше.

Рыхлый снег на реке истоптали последние рыбаки. Река медленно выгибала спину, чтоб сломать хрупкий лед. Раскатистый треск должен был вот-вот зазвучать, если подождать еще пару минут.

– Ты чего тут? Сброситься решил? – спросил Серегу Толик.

– Ты чего с бидоном? – буркнул Серега, глядя на меня.

– Тебе тащу, – ответил я.

– Скисло уже все, – добавил Толик.

Серый нахмурился и взял у меня бидон. Серега гармонично дополнил нашу горестную компанию: его угрюмый и настороженный вид отлично вписался в наше тугое молчание. Втроем мы побрели дальше, почти не разговаривая.

Вскоре на дороге мы увидели кровь – она глубоко прожгла снег. Испуганные и взволнованные, мы свернули в проулок, куда вела цепочка красных следов, и на обочине дороги увидели грязный «уазик». Около машины курили милиционеры с ружьями на плечах.

Отстрел собак.

О нем объявили заранее, и я понял, что забыл напомнить деду о том, чтоб он привязал нашего рыжего пса. Я побежал домой изо всех сил. Толик побежал со мной. Мы вместе научили моего пса подавать лапу, сидеть и лежать – голос подавать так и не научили, – и теперь он у всех клянчил еду своими номерами: попеременно выкидывал то одну, то другую лапу, потом садился, потом вставал и вдруг припадал к земле – и после все сначала.

Мы с Толиком то бежали, то, совсем задохнувшись, шли пешком в гору. Я представил, что сейчас увижу свою собаку совсем мертвую где-нибудь на грязной обочине, подстреленную. Что я буду делать тогда? Понесу ее на руках. Похороню в снегу, под яблоней, думал я горько, сколочу и поставлю на ее могиле собачий хлипкий крест.

Серый не мог бежать из-за ценной ноши. Он далеко отстал от нас и только изредка припускал трусцой. Впрочем, как он ни берегся, он поскользнулся и расплескал половину молока. Ко всему этому, навстречу нам попались крикливая орава старших парней из соседнего поселка, учившихся в нашей школе. Мы послужили для них отличной бегущей мишенью. Они со смехом швырнули в нас с десяток снежков, твердых, будто ядра. Мне попали в спину, Толику угодили по башке, Серому не попало, но один снежок влепился со скоростью метеора в бидон, отчего у того слетела крышка и, перевернувшись, злосчастный сосуд выплеснул остаток молока. Осталось на дне, – наверное, с полкружки. И от этого Серега стал предельно мрачен, потому как предчувствовал домашнюю ругань.

В темной ограде, где стоял кислый запах сена и хлева, лежал мой бедный пес. Его шею крепко охватывал широкий кожаный ошейник, от которого к скобе, вбитой в стену, тянулась новая блестящая цепь. Собака лежала неподвижно, прижав уши к умной башке. Пес постучал хвостом по земле, когда мы вошли. Его сажали на цепь пару раз в году за какие-нибудь уж очень дрянные провинности – этой зимой, к примеру, ему удалось похитить кусок мяса, когда дед разделывал забитого теленка, – и поэтому пес чувствовал, что его наказали самым страшным способом, но не понимал за что.

Дед, сутулый, в валенках и незастегнутой фуфайке, работал в ограде. Он перебрасывал мешки с мукой в громадный ларь.

– Все грызет, грызет ошейник-от, – проворчал дед, увидев нас.

Я был рад за собаку, но не настоящей, а холостой, беззвучной радостью. К разодранным облакам на небе, к тающим грязным сугробам на обочинах и порывистому ветру словно бы примешалась алая собачья кровь и хлопки выстрелов, и резко оборвавшийся вдалеке тонкий визг. И теперь весь этот мир навалился на меня разом.

– Ни фига не случилось с твоей псиной, а я вот молоко разлил, – повторял Серега грозно и монотонно, как заклинание, на обратном пути.

– Серый, – сказал я ему, – фиг ли твое молоко?

Но я не сумел сравнить на словах собачью жизнь и его никчемную потерю. Не получилось. Только вдобавок разозлился еще и на Серегу, повторяя в голове одну и ту же мысль: «Собака – она живая, она одна, а молока у коровы целое вымя каждый день».

Нужно было переползти этот день по дороге, то размытой, в слякоти, то скованной льдом. Толик потирал ушибленную снежком голову. Серый с унылым выражением лица изредка заглядывал в бидон: он открывал крышку в надежде, что молока там прибавится каким-то чудесным образом хотя б на два пальца. Я соскребал спички в пугач, чтоб громко выстрелить из него и спугнуть свою тяжелую тоску. Я подолгу смотрел на солнце сквозь полуприкрытые веки и повторял в уме, словно заговор, бессмыслицу из слов, случайно пришедших на ум.

Мы тащились по дороге. Навстречу нам брела кобыла, запряженная в широкие деревянные сани. За повозкой шли люди в темных одеждах. Бородатый старик в лохматой шапке правил лошадью. В санях спиной к нему сидела женщина. Она кидала в слякоть, в глубокие следы полозьев, еловые ветки.

Какая-то тетка выходила на дорогу, но, увидев это мрачное шествие, она поторопилась и свернула в проулок, будто лошадь могла взбеситься и рвануться прямо на нее. Две старухи громко спорили на обочине, размахивая клюками. Увидев сани, они отступили с дороги и скрылись на соседней улице. Впереди саней, прихрамывая, шла женщина в черном пальто, пуховом сером платке, который она постоянно поправляла, и серых валенках с кожаными заплатами. Она несла на руках, как ребенка, сверток в желтом полотенце и поглядывала на людей, стоящих в проулках подальше от повозки. Тетка заметила нас, унылых, еще издалека и подбежала, такая радостная, будто вот-вот сбросит тяжелую неловкую ношу со спины или избавится от ноющих болей. Задыхаясь, она произнесла скороговоркой заранее заготовленные слова – мы ничего из них не поняли – и вручила нам сверток.

Лошадь, сонная и толстобрюхая, с растрепанной длинной гривой, кивая головой, прошагала мимо нас. Она глубоко зарывалась тяжелыми копытами в рыхлый снег. Протащились со снеговым шелестом сани, где на соломе лежал гроб – простой длинный ящик. Затем толпа, колыхаясь, прошла мимо, и вскоре печальная процессия скрылась за поворотом.

Мы отступили на обочину и развернули полотенце. Там оказался пакет с конфетами и три куска мыла.

– Опа! – воскликнул Толик и тут же запихнул одну конфету в рот.

– А может, нельзя брать-то сразу и жрать? – опасливо спросил суеверный Серега.

– Не хочешь жрать конфеты – жуй мыло, – Толик захохотал и сунул ему в карман куртки кусок мыла. – Будешь пузыри пускать изо рта!

– Э-э-э, чего творишь, чудило! – засмеялся Серега и потянулся к свертку.

Толик увернулся, запихивая следующую конфету в рот.

– Все мое! – сказал он, пережевывая с хрустом карамельку.

– Толян, делись! – вступил я в дело и схватил его за рукав.

Толик вырвался и чесанул по улице прочь от нас.

Мы смеялись, задыхались на бегу и швыряли в Толика рыхлые снежки. Толик пригибался и бежал зигзагами по дороге от одной обочины до другой. Мы догнали его, потому что ему приходилось держать в одной руке портфель, а под мышкой сверток, и наш друг в упор с размаху швырнул в нас горстью конфет. Серый чуть было не схватил Толика, но тот отскочил и подставил ему ногу. Серый закрутился, удерживая равновесие, и с хохотом шмякнулся на спину, так что шапка с него слетела и далеко разлетелись по дороге и его портфель, и загремевший бидон. А я со всего разбега, с рычанием, налетел на Толика, сбил его плечом, и мы, вцепившись друг в друга, с диким ором перевалились через сугробы на обочине дороги и покатились под гору, рассыпая по снежному склону яркие конфеты.

Наверху бродил Серый, что-то кричал нам, ругательное и доброе, и подбирал с дороги трофеи. А мы внизу смеялись до рези в животе и не могли остановиться, и боролись, утопая в сугробах, и швыряли друг другу в лицо и за шиворот пригоршни талого снега.

Андрей КОРОБОВ-ЛАТЫНЦЕВ

Родился в 1989 году в Чите. Окончил филологический факультет ЛГПУ. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Этическая центрированность философского языка Ф.М. Достоевского». Работал в Воронежском государственном университете, в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, сейчас – преподаватель Московского православного института св. Иоанна Богослова.

Автор книг «Швы» (2013) и «Философские очерку о русском рэпе» (2016). Живет в Москве.

АНАБАСИС

Колонна из пяти фур медленно двигалась по Среднерусской равнине. В Белгороде к ним должны были присоединиться еще три машины. Гуманитарный груз был собран очень быстро, и Юра едва успел напроситься в одну из машин волонтером. Всё происходило вообще очень быстро в эти сутки. Фактически за эти сутки переменилась вся жизнь.

Юра нарекся волонтером, однако первоначально никаких конкретных планов у него было. Он мог после доставки груза уехать восвояси, а мог и остаться воевать. Или, скажем, остаться специальным корреспондентом на журналистских правах (хотя какие там были права у журналистов в этом жарком августе 2008-го, в южной горной стране, города которой вдруг так внезапно и легко стали бомбить?).

Юра учился на третьем курсе филфака по специальности «практическая журналистика», так что он нашел бы, как остаться в Осетии по своему странному журналистскому праву, или журналистской дерзости. Впрочем, он очень смутно осознавал, что и как будет делать, он полагался на судьбу, что она подскажет. Так он рассказал мне при встрече. Рассказал также про тот момент, когда по новостям передали, что Цхинвал бомбят «Градами». Рассказал, как через час он уже говорил с куратором гуманитарной колонны, которая отправлялась на следующий же день. Через каких-то друзей, приятелей друзей и приятелей друзей приятелей Юра вышел на этого куратора. Позвонил. Разговор вышел глупый и короткий. А на следующий день утром на автовокзале он встретил куратора, познакомился с водителем, сел в машину и поехал.

Странное чувство было тогда у Юры. Ему было весело от самого себя и хорошо от того, что он сделал, на что решился. Свободу свою, перемешанную с весельем, он чувствовал в себе почти как вещество, где-то в крови, в теле, чувствовал невероятно. Страха не было. На страх в его теле просто не хватало места, хотя сколько страха еще вчера вечером вместилось в его ночное ожидание утра, того самого утра, когда он встанет наконец с кровати, оденется, возьмет рюкзак, в которой еще вечером собрал все необходимые вещи, закроет дверь на ключ, спустится в метро и доедет до Теплого Стана, откуда будут уходить фуры с гуманитаркой!..

Тогда, ночью, – ожидание, медленность, страх, который всю кровь сгустил в венах и мешал ей течь к мозгу, к сердцу, чтобы по-настоящему думать и чувствовать всё; но теперь страха нет, теперь свобода и радость, и сердце толкает кровь в мозг, в руки и в ноги, и всё в нем живет, мыслит, чувствует! И так все правильно, что он собрался и внезапно бросил университет, Москву и московскую жизнь!

В Осетии он все же возьмет в руки автомат. После Осетии добровольно окажется в российской армии, два года будет служить где-то под Москвой. А после армии – вновь на филфаке, где мы с ним и встретимся и где он расскажет мне обо всем, что видел. О развалинах Цхинвала, о беженцах, о трупах, о «подвигах» грузинских воинов, стрелявших по жилым домам, куда спрятались от них местные жители…

А в 11-м году после филфака Юра пропадет куда-то надолго, и мы с ним встретимся только прошлым летом в Донецке. В разгрузке и с автоматом, он поприветствует меня легко, будто мы не виделись только пару дней, а теперь встретились после выходных перед лекцией в холле филфака и обсуждаем прочитанную книгу. Мы и будем обсуждать прочитанную книгу, книгу войны, которую каждый из нас читал по-своему: Юра на практике, воюя, а я в теории, размышляя о смысле войны посреди самой войны.

Юра служил в батальоне моего дальнего, но хорошего московского приятеля, и этим вечером я пришел к ним в расположение.

– Значит, и ты здесь, – как-то довольно улыбаясь, сказал Юра, подливая в крепкий чай коньяка.

– Я не мог не приехать.

– Пишешь?

– Сейчас задумал докторскую писать. О войне.

– Тогда понятно. Давай к нам? – произнес он так же легко, как произнес слова приветствия, будто даже не обратив внимания на мой ответ о том, пишу я или не пишу, будто и вообще разницы нет, что я делаю, потому что дело, с точки зрения Юры, здесь может быть только одно и он им именно и занимается. И предлагает мне тоже.

Донецк в 14-м году был пуст. Обстрелы центра, магазины не работают. На улицах можно встретить БТР чаще, чем машину. Школы, университеты, библиотеки, магазины и кафе – всё пустое. Как в страшных фильмах. Только это не фильм. Чем заняться в пустом городе? Я и сам думал о том, чтобы примкнуть к какому-нибудь батальону, в то время это было сделать несложно, люди были нужны везде. Вроде бы у меня было дело – писать о войне, и я днями сидел у себя в съемной квартирке, читал, что писали о войне Бердяев, Эрн, Карсавин, Александр Зиновьев и другие мои коллеги из прошлого. Делал выписки, составлял список литературы, продумывал план, предмет-объект, актуальность…

– Если ты пишешь о войне, тебе надо повоевать. – сказал мне Юра. Я не удивился, что он не спросил, как меня вообще занесло в Донецк, какими путями, зачем. Всё нам было понятно. А кроме понятности была еще та самая свобода, о которой мне рассказывал Юра после

своего возвращения из Осетии в 2008 году. Я чувствовал её сам уже пару месяцев, пока находился в городе. И этой свободе было наплевать на прошлые пути, какими шел человек, ей был важен момент здесь и сейчас, но даже и его не хватало, она рвалась вперед, стремилась пожрать следующий момент во всей его полноте, со всеми его опасностями, рисками и подвигами. В этой свободе, рвущейся вперед, мы чувствовали свое бессмертие. Пусть и временное.

– А если бы все-таки стал писать о смерти, то мне надо было бы умереть? – отшучивался я намеренно, чтобы услышать от Юры, неглупого человека, еще какие-то аргументы, которых сам я для себя еще не находил, хоть и искал.

– Ну, смерть – это апофатика же, тебе ведь и Владимир Петрович тогда в аспирантуре говорил, что тема гиблая и что сказать ничего не получится.

– И тем не менее я сказал, и на двести страниц причем, и кандидатку защитил. – парировал я без хвастовства. Юра это понял.

– Да, но все равно это другое. – Юра закурил сигарету, дал мне тоже. Затянулся и задумался. – Тут не апофатика, потому отстраниться нельзя, тут познавать надо, потому что тут живой опыт, тут живая жизнь. Понимаешь, тут всё другое. Тут совсем не так, как в Осетии. И не как в Приднестровье. Тут еще больше свободы. Пока что. – Нахмурился он. – И вот пока она есть, её надо скорее использовать, взять максимум. Для русских здесь, конечно. Но и для себя. Экзистенциально взять себе этой свободы, понимаешь? Завоевать себе новые территории в своем сознании.

Я понимал всё, о чем говорил мой старый университетский товарищ, который после филфака, оказывается, успел еще побывать много где и набраться военного опыта. Я понимал, что он прав. И понимал, что мне надо решаться. Вопрос был прост на самом деле. И не был настолько судьбоносным, как мне казалось вначале.

– Ну вот и славно, – сказал Юра. – Сейчас придет политрук, он хороший у нас, тоже писатель, кстати. Погутарит с тобой для проформы, а завтра в путь. В Шахтерск.

За Шахтерск тогда шли жестокие бои…

Сергей ТУЛУПОВ

Родился в 1952 году в городе Йыхви Эстонской ССР. Служил в рядах Советской армии. Окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина по специальности «инженер-экономист», работал в Череповце, где и живет в настоящее время. Публиковался в журналах «Русский пионер», «Союз писателей», коллективных сборниках.

СОВЕСТЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ

При въезде в деревню Енюково, недалеко от поворота на Белозёрск от трассы Питер – Вологда, приметил двоюродного шурина Василия Николаевича, следующего от магазина в противоположную сторону от дома.

– Василий! Привет! Я тебе продукты привёз, садись в машину, подвезу, – притормозив «узбечку», окликнул родственника жены с противоположной стороны единственной деревенской улицы.

– Здравствуй! Чего, маленький, что ли, пешком доберусь через полчаса. Да и дела у меня, а ты езжай, бабка дома, – подвыпивший Василий, возрастом давно за полтинник, продолжил вояж к следующему дому, высматривая соседей, благоразумно скрывшихся в доме. – Ну что, мать вашу, попрятались от Васьки! Думаете, промолчу, как вы комбикорма с птицефабрики тащите или как ваша дочка второго ребёнка в городе нагуляла, хрен знает от кого?

Не дождавшись от хозяев никакой реакции, Василий направился к добротному дому приятеля Сашки, чинно сидевшего в хорошем настроении на скамеечке под цветущей яблоней за невысоким забором.

– Чего не убегаешь, Санька? Думаешь, если в прошлый раз стопку налил, так не скажу, что ты пару соток земли под картошку прихватил без оформления? – Василий ухватил бороду в кулак и отпустил, и так несколько раз, вспоминая околомагазинные сплетни.

– Привет, Василий Николаевич! Может, зайдёшь? – Александр, степенный мужчина с хитринкой в глазах, попытался угомонить разгорячённого портвейном друга детства и перевести очередную разоблачительную тираду в посиделки. – Повторяешься, Вася. На прошлой неделе про землю говорил.

– Некогда мне, муж сестрёнки приехал – продукты привёз, может, вечером зайду, если морду не набьют. А набьют, всё равно зайду, так что стопкой не отделаешься, – Василий поздоровался за руку с приятелем и громко добавил: – А про счёт в городском Сбербанке жена знает? А про заначку в мастерской?

Отмахнувшись, словно от назойливой мухи, от оправданий приятеля, Василий с блеском в глазах, чуть сгорбившись под бременем возложенной на себя миссии, направился в конец деревни. То приближаясь и усиливаясь, то удаляясь и ослабевая, более получаса доносились оттуда обличительные монологи «деревенского прокурора», прерываемые редкими репликами женщин или сочными матюгами мужчин.

С синяком под глазом и в хорошем настроении вскоре протрезвевший Василий вернулся домой. Очередная миссия была успешно завершена в авральном режиме, наверное, в честь приезда гостя.

– Батька его такой же взбалмошный был. Ещё до войны, бывало, на собрании возьмёт слово и, пока в пух и прах не разнесёт бесхозяйственных колхозников и бездельников, – начальству тоже доставалось, – никак не успокоится. На войне погиб, царство ему небесное. А где теперь колхоз, да и птицефабрика еле теплится... Вот Вася, как без работы остался, пару раз в месяц у магазина заправляется портвейном и новостями, потом по деревне их персонально разносит, – мать или бабка Нюра, как её называл Василий, изложила версию обличительных вояжей сына, пока тот куда-то отлучился из-за стола с традиционным чаепитием. – Его и запугивали, и били, даже участкового натравливали – всё без толку, – кряхтя, старушка медленно поднялась со стула и отправилась подремать.

– Я тебе там положил картошки с полмешка, а сверху морковки и свёклы, а капуста квашеная у вас своя, потому и не предлагаю, – сполоснув руки из реликтового рукомойника и вытерев полотенцем не первой свежести, Василий Николаевич присел за стол.

– Слушай, Василий, а ты почему не женат? – поинтересовался у родственника для продолжения разговора. – Что, невест в деревне мало?

– Как из армии возвратился, три года отбарабанил, невест считай, в два раза больше было, чем женихов. А всё потому, что парни после армии кто на целину, кто на стройки, а многие в город на меткомбинат подавались, – Вася задумался, что-то вспоминая с улыбкой. – Бывало, в поселковый клуб завалимся компанией на танцы, летом жарко, девки без трусов. На пол набросаем табаку, а в брюки засунем по огурцу и ходим королями – любую бери, редко отказывали. Вот и избаловали, а хозяйку в дом взял на четвёртом десятке, да с матерью не ужилась…

– Слушай, а ты не пробовал не критиковать односельчан, сам ведь тоже не ангел, – задал давно напрашивающийся вопрос двоюродному шурину в продолжение разговора.

– Пробовал вначале, даже слово бабке давал, но как-то не получилось, почти месяц болел непонятно с чего. Решил, что будет лучше, если в глаза высказать, чем по-соседски сплетничать или промолчать, – неожиданно убедительно ответил Василий Николаевич, добровольно возложивший на себя роль «деревенской совести».

Василий ушёл из жизни в начале этого века, не поняв и не приняв другой мир отношений, до самой кончины продолжая всё более редкие деревенские обходы; мать пережила сына на два года. Деревня не захирела, утратив свою «совесть» в лице Василия Николаевича, добровольного обличителя односельчан. За пятнадцать лет преобразилась, всё больше напоминая дачный посёлок, где горожане, новые владельцы домов, почти не знают или не хотят знать соседей, не нуждаются в излишнем общении и не выносят сор из избы.

Михаил ЧИЖОВ

Родился в 1946 году в Горьком. Окончил политехнический институт.

Член Союза писателей России. Автор нескольких сборников прозы и публицистики. Биографическое исследование «Константин Леонтьев» получило «Серебряного Витязя» на VII Международном Славянском литературном форуме «Золотой Витязь» 2016 года и вошло в шорт-лист Бунинской премии. Дважды лауреат премии «Болдинская осень», неоднократный обладатель премии Нижнего Новгорода.

Ранее – инженер-электрохимик в крупном химическом объединении, действительный государственный советник Нижегородской области I класса.

ОБМАНУЛ

Кошку Серку семья Шаровых считала уникальной. Да кто же из людей не считает своих домашних и свои вещи самыми лучшими на свете. И ботинки лучше всех, и квартира, и сами не в пример другим хороши, а уж кошка тем более. Красавица, умница с тысячью и одним достоинством.

И судьба у неё, можно сказать, героическая. Умирающий одинокий старик Васильич, сосед по общему тамбуру в обычном доме-муравейнике, просил Шаровых взять кошку на довольствие после окончания своего земного пути. Шаровым и раньше приходилось ухаживать за Серкой в дни, когда старик или лежал в больнице, или лечился в санаториях. Мало ли разных житейских ситуаций, требующих помощи от посторонних, тем более когда силы на исходе. Потому-то Серка была хорошо знакома Шаровым.

Попала кошка к соседу случайно и, одновременно, закономерно по причине доброго его сердца. Серка привязалась к нему на дедовом садовом участке, сама напросилась в гости, да так и прикипела к стариковскому одинокому сердцу. Никто не знал, сколько Серке лет, да и она была молчуньей, от которой никто не слышал обычного и требовательного «мяу». Видимо, жизнь так жестко потрепала да потискала её в своих ежовых рукавицах, потрясла на ухабах да рытвинах, что приучила: молчание – золото.

Поначалу Серка нелегко переживала переход к новым хозяевам, к новым порядкам, но они, видимо, не очень-то сильно отличались от стариковских: Шаровы тоже были немолоды. И она свыклась, да и выбирать-то было не из чего. Хорошо, что не стала бездомной.

У Ивана и Марьи Шаровых квартира была большой, трёхкомнатной, с окнами на две стороны света: восток и запад, не то что у старика –

на мрачный север. Серке это обстоятельство пришлось весьма по вкусу, и, как только всходило солнце, она забиралась утром на застеклённую лоджию и, растянувшись на столе с заботливо и заблаговременно постеленном пушистом коврике, нежилась под горячими лучами, прогревая свои немолодые косточки. К вечеру она перебиралась на балкон, на встроенный ларь, равный по высоте подоконнику. За стеклом, прямо под лапами Серки зияла пропасть семиэтажной высоты, пугавшей кошку. К каким только суровым условиям не привыкает живое существо. К любым! Самым что ни на есть сложным и неблагоприятным. Привыкла и Серка.

По вечерам, когда Иван усаживался на диван почитать книгу, Серка тут же подбиралась к нему поближе, прижимаясь гибким телом к теплой ноге полюбившегося ей хозяина. Тот рукой поплотнее притягивал кошку к себе. Живое тянется к живому. Она не перечила, а переполнявшая её радость раздувала кошачью грудь: «Мур-мур-мур!»

– Ах, ты, Серка-мурка, мехова тужурка. Красота ты моя, красота!

Кошка прекрасно смотрелась в своей серо-серебристой шубке. «Британка»! Однотонная и гладкошёрстная, с пушистыми щеками, делавшими её небольшую мордочку округлой и представительной. Нравом она отличались покладистым, если не сказать скромным, лишний раз на глаза не лезла, даже есть не просила. Казалось, могла целыми сутками не есть и не пить, а лежать на мягком стуле, задвинутом под стол. Самый укромный и спасительный её уголок в квартире. Когда проголодается, то зайдёт на кухню, посмотрит на свои мисочки-тарелочки с несвежей, по её мнению, едой, повернётся и молча выйдет. Вот тогда надо срочно готовить новое угощение: то ли голову куриную разделать, то ли сметанки свежей, качественной, положить, то ли говяжьей или куриной вырезки. Любила она побаловаться спинкой красной заморской рыбки, тёшу не любила, речную рыбу не признавала. Гурманка, одним словом. Известно, что бывшие бездомными кошки быстро зазнаются, как, впрочем, и люди. Недаром явлена миру такая мудрая поговорка: «Из грязи – в князи».

Лето Шаровы проводили в пригородной деревне, в собственном доме, доставшемся Ивану по наследству от родителей. Тут-то и выяснилась одна неприятная особенность Серки: она панически боялась переездов. За два-три дня до отъезда Мария выставляла на видное место контейнер для транспортировки кошек, чтоб, значит, Серка психологически подготовилась и свыклась с непреложным и обязательным действом. День отъезда кошачьей интуицией определялся безошибочно. Серка с утра пряталась в укромное место под столом. Достать и уговорить её мог только Иван. Видимо, жизнь у одинокого старика выработала в ней стойкую приязнь именно к мужчинам. В такси Серка металась в своём контейнере и от страха справляла большую и малую нужду, а если дорога была тряской, то её ко всему прочему и тошнило.

В деревне стерилизованная Серка гуляла только по саду-огороду, да и то с опаской, не смея появляться на улице. Такая её настороженность, если не сказать, трусость была для Шаровых удивительной: ведь прежний хозяин утверждал, что Серка была отличным и удачливым крысоловом. Но то ли стерилизация безжалостно сломала ей охотничий ген и уничтожила смелость, то ли годы изменили Серкину натуру, неизвестно. Шаровы видели лишь одно, с каждым годом переезд давался кошке всё труднее и труднее.

Так прошло три года. Серка, которую Иван называл любовно «животным с непропорционально большими глазами», стала членом семьи, своеобразным ребёнком трёхлетнего возраста, не говорящим, но всё понимающим и различающим слова и просьбы. Иван, сидя в кресле, бывало, скажет:

– Серка, иди к папе на колени.

Кошка после краткого раздумья спрыгивала с дивана или с иного другого места и подходила, потягиваясь, к креслу. Тыкалась щекой в ногу хозяина, терлась, поднимала хвост трубой. Иван, изучив кошачьи привычки, говорил с усмешкой:

– Ну, хватит кобениться, – а сам в это время гладил её по спинке и ласково брал в руку длинный хвост. – Прыгай!

И ещё знал Иван, что глядеть на Серку в момент прыжка нельзя, она раздумает или будет ходить вокруг и около и ждать пока хозяин не отвернётся.

Лёгкий шорох. Иван косит глазом, а Серка уже на подлокотнике и, грациозно ступая, проходит на сдвинутые колени и ложится на них. Иван массирует кошке позвоночник, нежно почёсывает голову, а та на всю комнату поёт кошачью песню любви. Однако Серка не злоупотребляет временем хозяина: минут через пять она спрыгивает и идёт к хозяйке. Не ревнуй, мол, я и тебе уделю пять минут, и даже больше, смотря как будет нравиться мне твоя ласка. Деликатность Серки можно смело назвать уникальной. Если Иван подсаживался на диван к Марье и Серке, сидящей рядом, то кошка тут же уходила в свой укромный уголок. Чувствовала, что она третья лишняя. При виде подобной щепетильности Иван вспоминал где-то читанный-перечитанный рассказ о том, какой может быть кошка при одиноком мужчине. Пригласил как-то такой мужчина в себе домой женщину. Чайку попить да поточить лясы-балясы с известной сценой, что случается между мужчиной и женщиной под вечер. Встала мадам с постели, а кошка вцепилась в неё голую и стала с яростью раздирать когтями тело её белоснежное. Что тут было, что было! Словами не пересказать.

У них же всё было ладно и спокойно, но в последнее время навалилась на Серку непонятная хворь. Её стал душить странный кашель, напоминающий отрыжку. Серка словно хотела что-то вытолкнуть из своих внутренностей, давилась, натужно вытягивая светло-серую шею. Судороги пробегали вдоль живота и горла, а потом утихали. Серка сглатывала невидимый комок и успокаивалась до поры до времени. И дышать она стала как-то бурно и животом, подтягивающимся к позвоночнику при вдохе. Бывало, что она не ела вовсе по целым дням, видимо, оберегая себя от лишних судорожных порывов кашля. Лечилась голодом, как подсказывала ей кошачья натура. Кашель мог уменьшаться или даже исчезать на время, но потом возвращался, а аппетит Серки падал, что приводило хозяев в отчаяние.

Шаровы ходили к ветеринарам, заочно консультировались, так как таскать Серку по ветлечебницам было для неё и для Шаровых мукой мученической. Сдавали анализы, но никто толком не мог ничего сказать. С виду – здоровая кошка, худенькая, правда, слов нет, но других приступов не наблюдалось, по ночам играла с искусственными мышками, легко запрыгивала на метровую высоту. Иван да Марья решили оставить её в покое, всё равно Серка не глотала таблетки и до царапанья противилась уколам. От судьбы не уйдёшь – решили они. Пусть остаётся всё так, как есть. Все мы, в конце концов, смертны.

Пришла осенняя пора, а вместе с ней и проблема переезда в городскую квартиру, хотя деревенский дом Шаровых был благоустроен

не хуже городского жилья. Тут тебе и котёл с батареями по всему дому, и окна пластиковые, и туалет тёплый, но так повелось, что дачники, как перелётные птицы, к зиме тянутся в город. Да и, правду сказать, в занесённой снегом деревеньке трудно с продовольствием. Коренных жителей совсем не осталось, а без людей тоска зелёная. Умирает потихоньку да полегоньку деревня русская.

Переезд между тем по разным причинам затягивался и откладывался. То внучку дети привезут, чтобы посидеть с нею недельку-другую, то в саду обнаружится что-то несделанное. Семейные да хозяйственные проблемы нескончаемы, если не сказать – вечны. Дотянули до середины ноября. И вдруг:

– Сегодня поехали, и точка, – сказал решительно Иван утром.

Три дня до этого решения Ивана мучила какая-то непонятная тоска. На ум часто приходили мрачные мысли. При взгляде на тот или иной деревенский дом в памяти возникали не светлые эпизоды, связанные с ним, а всё больше тягостные, неприятные. О смерти в этих домах стариков, которых он застал и которые помнили его мальчонкой. Иван зримо представлял, как они сидели на завалинках и грелись в лучах полуденного солнца. Встречая его, возвращающегося из леса с грибами или ягодами, просили показать, что же он набрал и много ли. Стариковские взгляды были участливы и теплы, как те валенки, в которых грелись их больные ноги. Память Ивана, исколотая неспокойными думами, услужливо преподносила сцены последних дней этих стариков и старух, умиравших большей частью в одиночестве. Мама Ивана, тогда молодая и красивая, а ныне давно уж покойная, просила его зайти к тому или иному старику и поговорить, скрасить им разлуку с детьми. Они же разлетелись по городам и весям необъятной Руси в поисках счастья. Нашли ли они его? Неизвестно! Но так бывало, что и на похороны родителей не всегда появлялись. Как частенько говорили в деревне: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше». Где лучше? Кто-то может сказать об этом с уверенностью?

Смертная тоска давила душу Ивана, а он, страдая от неизвестности, говорил жене:

– Машк, что-то тоска меня гложет, а почему – сам не знаю.

– Пройдёт, – отвечала жена, вечно занятая своими делами.

Пройдёт? Конечно, пройдёт. Всё на свете проходит. Ивану не впервой приходилось испытывать эту обеспокоенность, невнятную и необъяснимую тревогу, тяжким грузом ложившуюся на сердце. И оно ныло, страдало. Так случалось перед какими-то злоключениями то ли с ним – травмы, несчастные случаи, то ли с родственниками, то ли с заводчанами. Внутренний голос редко подводил Ивана. Что же случится на этот раз?

Чтобы как-то отвлечься Иван съездил на фестиваль русского смеха, проходивший в главном городке района, в котором сиротливо приютились его полузаброшенная деревенька. Там среди приятелей и знакомых он весело смеялся над шутками острословов, пародистов и сатириков. Но на обратном пути тоска вновь им овладела, и дорога показалась вдвое длиннее.

И вот пришёл день отъезда. Марья на этот раз решила перевозить кошку в сумке, чтобы, по её мнению, было у Серки меньше места для метаний. Иван глубоко не вник в новое предложение жены, не разобрал по косточкам все за и против, как обычно делал в сложных случаях. «Отвело», – так говорили местные в случаях недосмотра...

Позавтракали. Оделись. Все основные вещи перевезли заранее. Серка сидела на стуле под столом и не реагировала на призывы Марии

совершить утренний моцион. Раньше, лишь только жена показывала кошке щётку для расчесывания, как Серка тут же спрыгивала со стула, и глаза её светились от предстоящего удовольствия.

– Иван, иди поймай Серку, она мне не даётся.

Муж, кряхтя, опустился на колени перед столом и заглянул под него. Встретился с тревожным взглядом кошки и тяжело выдохнул:

– Серка, Серочка, девочка, иди ко мне. – Он протянул руку, нежно погладил кошку. Но, как только вытянул вперёд другую руку, Серка соскочила и забралась на батарею – второе своё любимое место. Иван пошёл к батарее с распростертыми руками, кошка опять забралась под стол. Иван убрал один из двух стульев, выдвинул стол. Серка опять перескочила на батарею. Тогда Иван заложил за спину руки и направился к кошке.

– Серочка, радость моя, видишь: я не хочу тебя брать. Давай бодаться?

И он прислонился лбом к голове кошки. Они часто так общались. Серка обнюхала его брови и нос и успокоилась.

– Это я, папа твой. Мы же переезжали не раз. Не бойся, – и осторожно взял её на руки.

Серка прильнула к нему и уткнулась под мышку, выражая полное доверие. Иван гладил и шептал ей ласковые и бессмысленные слова, какие говорят друг другу любящие люди. Серка вытянула из-под мышки голову и взглянула на Ивана с какой-то неземной обречённостью. И взгляд её, пришедший то ли из подземелья, то ли с небес, вонзил иглу в его и без того неспокойное сердце.

– Слушай, Машк, давай повезём Серку в контейнере. В нём она будет видеть нас.

– Семь пятниц на неделе?! – строго прикрикнула Марья.

– Давай я её на руках понесу, – предложил Иван, уже болея душой.

– Да ты что. Она же выпрыгнет и убежит, – безапелляционно возразила жена.

– Нет же, нет! Видишь, как она доверяет мне. – Иван и раньше предлагал Марье такой способ транспортировки любимой кошки, но жена всегда отвечала отказом.

Иван покорно положил любимицу в чёрную сумку, а жена почти наглухо застегнула молнию.

– Что ты делаешь? – возмутился Иван, – она же задохнётся.

– Хватит ей кислорода!

Тогда Иван, молча, сдвинул замок молнии, и в образовавшую дыру тотчас высунулась голова кошки.

– Закрой!

– Серочка, не волнуйся, всё будет хорошо.

Серка крутила головой, но вылезти не пыталась.

– Иди выноси багаж, я уже вызвала такси, – и жена назвала номер машины.

В ночь на воскресенье выпал первый снег. Иван смёл его рукой со скамейки и поставил сумки. «Ну вот, и снег не вовремя. Животные перемену погоды всегда воспринимают болезненно», – подумал с тревогой Иван. Внутренний голос толкал его вернуться в дом и взять кошку на руки, но сила разума опять остановила его: Мария тоже любит кошку. Не враг же она ей! Иван глубоко вздохнул, набрал в лёгкие свежего сырого воздуха и оглянулся вокруг. Вблизи ни одного человеческого следа. Деревня, кажется, спала, укутанная белым покрывалом. «Скорее не покрывалом, а саваном», – вдруг подумалось Ивану. Только над двумя-тремя избами курился дымок, это дачники приехали в воскресенье

проверить своё хозяйство. Подъехала легковая автомашина с нужным номером. Иван открыл багажник и разместил в нём свой скарб. Тут же вышла жена с двумя сумками, в одной из которых сидела Серка.

– Ну что ты её закрыла, – упрекнул Иван жену.

– Иначе выскочит, – с нервическими нотками в голосе ответила Мария и добавила, – кошки живучи.

Интуиция вновь ворохнула Ивану душу: сесть бы рядом с кошкой, но жена уже открывала заднюю дверь, и… Иван помог им разместиться.

– Держи сумку на коленях, – предупредил он ещё раз жену, – да открой шире сумку, пусть смотрит на тебя, на меня.

– Ладно, – односложно жена, а муж не понял, согласна ли она с ним.

Оплывшее с похмелья щетинистое лицо молодого водителя неприятно поразило Ивана. От его вида тоска усилилась. Где-то на полпути раздался сердитый окрик жены:

– Серка, нельзя! Нельзя Серка!

– Ну что ты как грубо с ней говоришь, – осуждающе сказал Иван, догадываясь, что она заталкивает Серку в сумку.

Он закрутился, пытаясь повернуться и посмотреть, как они там сзади, но высокое сиденье мешало ему это сделать. Думал даже снять пристёгнутый ремень, но установившаяся тишина успокоила его. Через пару минут молчание показалось Ивану зловещим, и он спросил:

– Маша, посмотри, что там с Серкой.

Молчание.

– Ваня! Серка умерла!

– Что?! – Вся боль, вся неизвестная тоска последних трёх суток выплеснулась в этом крике. – Что?!

После него Иван оцепенел и сидел истуканом до самого дома. Память услужливо высветила: под Рождество он почувствовал себя плохо и стал кашлять, как Серка. Он уж два года стоял на очереди в кардиоцентре на проведение коронарографии с установкой стента, но из центра не звонили, как обещали, да и сам он не торопил процесс. Тянул, откладывал. Но тут, как говорится, жареный петух клюнул в одно уязвимое место, и Иван зашевелился. После того как поставили пружинку на полностью забитую одну из коронарных артерий и ситуация прояснилась, Маша призналась Ивану, что на святки гадала на него и Серку. Вышло так, что он будет жить, а Серка в этом году умрёт. Иван не верил гаданиям…

Он мысленно гнал шофёра: может, жена ошиблась, и Серка жива. Они вошли в квартиру. Иван, не раздеваясь, бросился к чёрной, чёртовой сумке и вытащил Серку. Она, казалось, потянулась, вытянулась, повела глазами, и Иван, обманываясь, крикнул с безумной надеждой:

– Да она жива!

Но… нет. Нет!

Иван, не владея собой, прижал кошку к груди и заплакал:

– Серка, Серочка, моя милая девочка! Погубил я тебя, погубил. Прости меня, прости неразумного. Милка ты моя нежная.

Крупный, высокий мужчина, бывший в юности спортсменом-разрядником по нескольким видам спорта, сорок лет руководивший сотнями людей на большом заводе, плакал, как дитя малое. Он ходил из комнаты в комнату, прижимая кошку к широкой груди, а из неё лились стоны.

– Прости меня, Серка! Не уберёг я тебя! Обманул. Безгрешная ты душа, не то что у нас, у людей. Болела моя душа о тебе, ох, как болела, но не послушал я голос её. Погубил я тебя.

Мария стояла в прихожей, не смея пересечься взглядами с мужем, но ему не хотелось смотреть на когоо бы то ни было. На всех, кроме кошки, уже мёртвой.

– Дай белую наволочку, – приказал Иван жене, – да принеси щётку её любимую.

Он положил кошку на стол, на наволочку, и тщательно вычесал её мех, уже потерявший прежний блеск. Посмотрел напоследок в глаза, углядел в них укоризну, погладил худенькую мордочку. Уши стояли, как и прежде, торчком, особенно большими и заметными стали усы и брови, торчащие, как у неухоженного старика. Глаза уже не были непропорционально большими. Смерть уравнивала всё и всех. Иван, словно автомат или некий счётчик, отмечал все детали, и они ложились на сердце тяжелым грузом вины. Завернул свою погасшую радость в ткань.

– Вызывай такси. Возвращаемся в деревню.

– Зачем?

– Серку я буду хоронить в саду.

Иван долбил промёрзшую землю, а снег, словно прощаясь, валил и валил, покрывая чёрные комья белым саваном. Ивану было жутко и обидно, что сердце Серки разорвалось от страха в черной, непроглядной сумке под грубые крики, а не под ласковые увещевания, которые она так любила слушать. Слушать и воспринимать их благодарным сердцем. Да кто же не способен понять ласковые слова и звуки? Он корил, да что корил – проклинал себя за очередное неприятие внутреннего голоса, предупреждавшего его. «Ну, почему мы не слушаемся его? Почему?» – десятки раз спрашивал он себя и не мог дать внятного ответа. Ведь человек такое же животное, как вот эта кошка, чья интуиция выше разума. Разум! Разум? Глуп человек и самонадеян в большей своей части, иначе не наступал бы бесконечно на грабли своей глупости. А лоб у людей крепкий, крепкий. Непробиваемый!

Иван вспомнил, как Серка доверчиво прижалась к нему, ища защиты в тот последний миг перед поездкой. Вспомнил её страдальческий взгляд. И слёзы вновь побежали из глаз, как у обиженного острой несправедливостью мальчишки. Ведь обещал старику Васильевичу, что сбережёт кошку, обещал себе, обещал Серке. Не выполнил. И нет ему прощения.

Жизнь коротка. Особенно ей плохо от бездушия и равнодушия. Иван знает, что мир устроен по законам жестокого и циничного разума, от него людям с тонкой и ранимой душой тяжело живётся на белом свете. И уходят они рано. Мгновенен переход в небытие. Раз! И готово! Нет живого существа. Каждый день на Земле умирают сотни тысяч, если не миллионы людей. Но не болит о них души Ивана и Марьи, потому что они не соприкасались с ними. Душа ноет только о тех, с кем сроднилась при жизни. Иван верит, что у каждого животного есть душа. Бездомной кошке Серке душевные люди даровали несколько лет счастливой жизни. И кто об этом знает? Кто узнает, что Иван и Марья жили счастливо? Да, и надо ли, чтобы кто-то об этом знал? Их души об этом только знают. И довольно?! Точно лишь одно: нет у человека ничего, кроме души.

Ослепительно белым становился небольшой черный холмик, укрываемый холодным снегом. Сиротами глядели на него Иван да Марья.

Поэзия

Евгений СТЕПАНОВ

Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал».

Печатался в журналах «Нижний Новгород», «День и Ночь», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Урал», «Дружба народов», «Наш современник» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат премии имени А. Дельвига («Литературная газета») и премии журнала «Нева».

Живет в Москве.

И НОЧЬЮ, И ДНЕМ

Как-нибудь

Воцарилась погодка студеная,
Не жалеет она никого.
Эта скво не твоя, а евонная.
Не вернуть, хоть убей, статус-кво.

Проиграть – это гнусно. Ну что еще
Вам сказать? Проиграть – дело швах.
И стыдобище, точно побоище,
Отражается в гуннских глазах.

Ничего, не один же на свете я,
Кто кукует в последнем ряду.
Я живу больше тысячелетия,
Я какой-нибудь выход найду.

Я приду, приканаю под мухою
В твой палаццо, точнее, подвал.
Как Валуев, сражу оплеухою
Чувака, что с тобой поддавал.

Ты кудахтать начнешь, точно курица,
Ты мне кинешься, дура, на грудь.
Ничего, все еще образуется,
Ничего, как-нибудь, как-нибудь.

Стотысячное объяснение в любви

И вот я старый хрыч московский, и мне о чем-то говорят
Борисоглебский, Трубниковский, Лебяжий, Знаменский, Арбат.

Арбат, арт-батя, ты босоту и знать, шутя, объединил.
Люблю из дома на работу идти счастливый, как дебил.

Люблю Арбат, не донимая его, как хищный гей-маньяк,
Люблю грозу в начале мая, когда в «Му-Му» я пью коньяк.

Люблю Арбат, так любят пешки ферзя – ведь он неотразим.
Люблю и новые кафешки, и старый зоомагазин.

Люблю Арбат, так шеф Газпрома, наверно, любит Уренгой.
Люблю и выходить из дома, люблю и приходить домой.

Арбат-братан, Арбат-держава, я пред тобой в долгу стократ.
Понятно, я не Окуджава, но как же не любить Арбат!

Подросток из Марьиной Рощи

Подросток из Марьиной Рощи,
Я рос, точно летом сорняк.
И хоть был субтильный и тощий,
Влезал вечно в месиво драк.
…Прошла мимо сердца заточка,
Я чудом остался живым.
Я понял, что это отсрочка.
Финал горько неотвратим.
Я понял: на краткое время
Жизнь дадена. Может, на час.
Я понял: не стоит, дурея,
Впадать в подростковый экстаз.
…Усы молодые топорща,
Я думал… И рано взрослел.
…Родимая Марьина Роща,
Как много не сделано дел!

Профессия

Ты скажешь: «Не будет забанено
Историей имя Собянина.
Запомнят, скорее всего,
Развязки и плитку его!»

Собянин (для рифмы), как Римини,
Далече. О собственном имени
Мне думать и ночью, и днем.
Мэр города здесь ни при чем.

Мне думать о книгах, поэзии,
О страшной и нужной профессии –
Отст(р)аивать «Поэтоград»,
На быстрый смотря циферблат.

Forever

За все – неизбывное Danke.
Я был наверху и на дне.
На шконке и в мутной загранке
Я знал: ты со мною – во мне.

Меня убивали подонки,
Но гибель прошла стороной.
В загранке, на пепельной шконке
Я знал: ты пребудешь со мной.

Я знал: ты со мною до гроба,
До гроба и после него.
А больше – замечу особо —
Я знать не желал ничего.

И – жизнь пролетела, как Юра
Гагарин над твердью земной.
Пусть небо насупилось хмуро,
Forever ты вместе со мной.

Дорога

И все до одури знакомо.
Все воротилось восвояси.
И только секретарь райкома
Отныне в рясе.

Такая грешная, пустая
И безутешная дорога.
А что же делать? Жить – мечтая
И веря в Бога.

Тост

Каюсь, силы мои убывают,
Точно силы столичных лито.
А за что же меня убивают?
Есть, и это понятно, – за что.

Я не черт, но владелец чертога,
Он немного похож на подвал.
И не все, что умею, – от Бога,
И не все, что имею, – отдал.

Как такого любить? Понимаю.
И хотя и горяч, и суров,
Я обычнейший тост поднимаю:
За у-богих – любимых! – врагов!

Портрет

Так было – не было – тоска
Ушла – я жив – в боях мужая.
В консервах плавает треска,
И сайра плавает – живая.

Природа – хищный алчный нрав;
И Запад не приемлет Юга.
И кто сильнее – тот и прав –
Как говорил один бандюга.

А что же ты? Тебе полста,
Полтос – пошел шестой десяток.
Ты помнишь Маркса и Христа,
Ты помнишь бедность и достаток.

Ты юный – точно аксакал,
Ты старый – как грудной ребенок.
Ты много видел и узнал,
А что узнал – то знал с пеленок.

Ты не шумишь, ты не спешишь,
И более ни с кем не споря,
Летишь не в Лондон и Париж,
А в хижину свою – у моря.

Несколько глаголов

Не спешить, не ловчить, не смотреть злобный телик,
Не растрачивать ценное время на баб.
Памятуя, что жизнь полосата, как тельник,
Не хандрить, помогать тем, кто немощен, слаб.

Не курить и не пить, не летать в самолёте,
Не иметь отпусков, не иметь выходных.
Понимать: наслаждение только в работе,
Позабыть о манке наслаждений иных.

Не бояться, уметь над собою стебаться,
Не бояться, пугливость в себе умерять.
Улыбаться, любить, понимать, не бояться.
Понимать: всё равно час придёт умирать.

Кино

Я чужой чувак, я не мастер спорта,
Не агент МИ-6 или СВР.
А вокруг толпа адвокатов черта.
Кое для кого он теперь пример.

Я смотрю кино, вижу ширь просторов,
Вижу: шакалье рыщет по лесам.
В роли соловья – трепетный Киркоров,
В роли муравья – кажется, я сам.

Фильм – на пять минут, короткометражка.
Кончится кино. А потом? Потом –
Вкалывать опять. И, вздыхая тяжко,
Вдаль идти своим собственным путем.

Фома

Думать как все и по чье-то указке
Я разучился на старости лет.
Но понимаю: библейские сказки
Мне оставляют надежду и свет.

Я понимаю: шипящая злоба
Не победит никогда и нигде,
Если идет человек по воде,
Если встает – воскрешенный – из гроба.

Улыбка

Победа или пораженье –
Поди расчухай до поры.
Одно неловкое движенье –
И все летит в тартарары.

Жизнь горяча и скоротечна
И фальшаком омрачена.
Одно нечестное словечко –
И речь, как чопорность, черна.

И все безрадостно и зыбко.
Но жизни не вставляй клистир.
Одна прекрасная улыбка –
И снова оживает мир.

Маршрут

Не волчара – я не вою,
Просто не могу заснуть.
Меж Берлином и Москвою,

Меж любовью и тоскою
Поезд продолжает путь.

Не чувиха – я не плачу,
Просто стремно одному.
Как дурак, пашу, ищачу,
Сам себя загнал, как клячу,
А зачем – и не пойму.

Впрочем, мы не выбираем,
Звезды, видимо, не врут.
И меж раем и нераем
Мой маршрут неотменяем,
Не случаен мой маршрут.

Диалог, случайно услышанный в электричке

– Я знаю, что душа крылата,
Любовь всему первооснова.
– Какого ты патриархата?
– Христова.

К Отцу – любовь моя сыновья,
И это главная идея.
– Какой ты нации, сословья?
– …Ни эллина, ни иудея…

Мой дом открыт. Душа открыта.
А если на душе короста,
То у разбитого корыта
Остаться и легко, и просто.

Четыре строки

Жизнь – прощение, прощание.
Мной исписана тетрадь.
Не стихи, а завещание
Подошел черед писать.

Что осталось

Я забыл позывные и страсти, и злости.
Как ворота, скрипят постаревшие кости.

Что осталось? Сажать кабачки и картошку,
Накормить, как дитя, полудикую кошку.

Что осталось? Вздохнуть и в дорогу собраться.
Что осталось? Уйти. Что осталось? Остаться.

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ПРОСТИ МНЕ

Хоспис

Вы все умираете. Чем вас спасу?
Сельдей в бедной бочке – палата набита.
Стеклянная дверь тяжела и открыта.
И шприц – на весу.

Вот в легкие ветер стерильно втекает.
Разбили окно!
Кой-кому полегчает.
Усердно – уколы, укоры, ухваты,
Больные распяты
На позднем, полночном, алмазном снегу.
Я зреть не могу
Вас всех. Это боли последний приют.
Не вылечат? Пусть. Хотя б не убьют.

Вхожу. Обвожу не глазами, а сердцем
Вас всех. Мне от вас уже некуда деться.
Вон тот – царевал, гулевал, пировал.
То красный, то черный накатывал вал.
Пред зеркалом зло наизусть повторял,
Парадный мундир, хохоча, примерял.
Войну развязать – не шитво распороть!
Он плачет, отрезанный, жалкий ломоть,
В белеющей койке,
во тьме.
Молитву он шепчет – проклятье в уме.

Вон та, ее жальче, ах, Господи, всех –
Подружку ограбила ради утех:

Буранов да вьюг кружевное белье –
Петля красоты захлестнула ее!
В тюрьму пересудов, под плетки-хлысты
Презренья – швырнули. Сожгли все мосты.
Чудовищна зависть, брильянты горят,
Живою травой вышит жалкий наряд,
Живою водою побрызгана брошь –
Острее, чем яд,
чем отточенный нож,
Тяжелая тяга: скраду! не отдам!
...Повязка на лбу. Холод кружки – к губам.
Все шепчет: прости, дорогая, прости!
Я столько взяла, сколь смогла унести.
Мне просто твои приглянулись каменья –
Украла без совести, без сожаленья,
В дыму наважденья –
Твои изумруды, агат, малахиты...
Ах, бабы, сороки мы... Время закрыто,
Защелкнуто гадкой, чужою шкатулкой...
Мне гадко! мне гордо! мне горько и гулко!
Да, гневно мне! Грозно! Я завтра умру.
Хотя б не воровкой!
...И стонет в жару.

Вон мечется странный. Язык иностранный.
Поверенный? Пленный? Железный? Нетленный?
Себе – неизменный. Кому же – изменный?!
Позорный, в трубе хохотавший подзорной,
Он здесь умирает, пацан беспризорный,
В сраженье сужденною пулей пронзенный,
На койке казенной.
И шепотом вяжет небесные нити:
«Простите! Простите! Простите...»

А эта? Старуха. Святейшего Духа
Не слышат, оглохнув навеки, два уха,
Не видят сиянья два призрачных глаза –
Боится. Бормочет: о, Господи, сразу
Возьми!.. в ослепленье!.. а то и во сне...
Пойду по зиме... сгорю в белом огне...
А что же дочурка ко мне не идет?..
А что же поет возле койки народ...
Не слышу... а слышу Единого Бога...
Господь... дай пожить еще каплю... немного...
Я много деньков у Тебя не прошу...
Над мискою манной я каши дышу
Твой литургией... кондаком Твоим...
Вся жизнь – Твой табачный, таинственный дым...
И тихо в окошке качнется Луна
Кадилом – над золотом вечного сна...

Ах, этот! Держите! Он рвется! Он бьется!
Предсмертно – над всеми врачами смеется!

Мальчишка, так трудно ему умирать!
Один, а восстал, будто грозная рать!
Кулак лупит воздух! Синеет наколка.
Диагноз бессонный. Глаза как у волка.
Обрита веселая – вдрызг! – голова.
Распухшие губы. Шевелит едва
Он ими: искусаны ночью, в бреду.
Вчера он – в Раю, а сегодня – в Аду.
Он вместо молитвы плюет изо рта
Тяжелую скверну – прости, чистота!
А мать у него?.. одинокий, бедняга?..
Какая потребна чумная отвага
Для мощного шага – туда, за порог,
Во мрака безвидного черный чертог!

Вбегают сестрички,
все иглы да капли,
Ногами – балет перламутровой цапли,
Сиянье стекла, милосердье перчаток
Резиновых, наг синяков отпечаток –
Да, кровоподтек – это значит – ЖИВОЕ,
Ну дай я над ним ослепленно повою,
Над ней, над патлатой ее головою –
Ну что, ну и что, пусть убийцы и воры,
Преступники, пьяницы из зазеркалья –
Пускай вы вчера самогонку лакали,
Вчера – шуры-муры, вчера – трали-вали,
Умрете вы скоро!
И каждая жизнь ваша – мне в сердце жало.
За каждого слезно молюсь. И целую
Босую ступню, что из-под одеяла
Торчит, синеву показуя худую,
Дрожит из-под мятой, в крови, простыни...
Не бойся! Не дергайся!
Мы здесь одни.

Вы все – и одна.
На меня все глядите!
Да это не я уже. А небеса,
Болота, протоки, речная коса,
Созвездья играют в небесном корыте,
Я руки по локоть во тьму окуну –
Она станет солнцем.
Одну
Меня, перед смертью, больные, простите –
Святые! мне, блудной, грехи отпустите!

Да, мир – это хоспис, огромно гудящий,
Где каждый умрет смертью, о, настоящей,
О, нежной ли, грубой – не знаем в ней броду,
Как, молча уйдем? иль вопя, будто в родах?
Щипля, обирая края одеяла, –
Воровка, да что же ты жизнь не украла,

Хоть горсточку, крошечку, капельку... ну!..
Себе!.. да и мне!.. я над койкой нагну
Гордыню, хребет, несогбенную шею:
Еще поживи... я стащить не сумею –
О, дура я, дура!.. прости мне, Господь! –
Тебе – лик в разводах рыдального клея –
С больничной столовки – ржаного ломоть...

Все грешники, все, кто лежит на кроватях
В безумной, бесснежной, бесслезной палате, –
Патлатые, лысые, неуловимо
Текущие нежными лицами мимо,
Горящие лбами, зрачками слепы –
Ввиду нашей общей, известной судьбы, –
Все – каждый! – зовут напоследок живое,
Чтоб – не одному уходить, чтобы – двое,
Обняться так крепко, да что там Сиам,
Я смерти, да, смерти тебя не отдам, –
И рты жизнь-любовь ошалело зовут
На пять потрясенных, последних минут...

Я всех вас люблю! Да, вы все – мои дети.
Пригрудить. Слезами облить. Обласкать.
Я мать. Я всего лишь несчастная мать.
Не руки свисают вдоль тела, а плети.
И только глаза... они вихрем идут
В накат, разбивают мензурки, пипетки,
Ломают стекляшки, решетки и клетки,
Взрывают под кожей блаженный салют!
Впускают в палату крик, ярость и вой!
И Бога впускают! Он смертнику в уши
Кричит: «ТЫ ЖИВОЙ!» –
И так обнимает усталую душу,
Как будто расстрелян проклятый конвой,
И стяг окровавленный – над головой.

О дети мои. Вы моя чудо-рать.
Повоевали. Закончилась битва.
Я, мать, прошепчу вам простую молитву:
НАМ ВСЕМ УМИРАТЬ.

И в чистой палате, сияющей, белой,
Мы, грешники, все перед Богом равны –
Все души, летящие в небо из тела,
Все луны всех лиц, от любви онемелых,
Герои, бандиты, старухи, пострелы,
Солдаты грядущей огромной войны.

Народ, ты уходишь?.. Прощай. И прости.
Дожди по лицу. Кто стоит за спиною?
Он в белом халате. Он рядом со мною.
Мне руку сжимает в горячей горсти.

Кудлатый костер. Обжигающий дым.
Всем Царство Небесное. Воля полета.
Младенцы родились?.. мать! много заботы.
Живое – живым.

И врач – или враг – или вор – не уйти! –
Мне руку ледащую жмет до кости,
А слез не унять! И соленая влага
Весь мир залила, и судьбу, и отвагу, –
А я все шепчу: о, последний бедняга,
Бродяга,
Да, ты, бедолага, –
прости мне... прости...

Міръ

Огнем и мечом.
Тит Ливий

Мой выжженный дьявольски Рим.
Сдери золотую коросту –
Все тысячелетья горим:
Так страшно и просто.
Летит изумленно снаряд.
Рвет воздух чудовище-мина.
Дома исступленно горят.
Смерть, мимо!
Дымящийся адом Донбасс.
Изрезан огнем, весь изранен,
Один – перед нами – из нас –
Ефрем Сириянин.
Искуплен, откуплен Дамаск.
Средь пепла исходит Пальмира
Оставленной музыкой ласк,
Отъятых у мира.
Грохочет обвалом оркестр.
Меж диких боев – замиренье.
А в амфитеатре нет мест!
Нет слуха и зренья!
О снайпер, прицел оботри!
Слеза или дождь по стекляшке
Ползет?!
Что у мира внутри –
Гляди! это страшно.
Что там, под рубахой в грязи,
Под тельником потным?
...кулак, ты грози не грози
Всем силам бесплотным...
Там пламя на весь белый свет,
На пол-окоема.
Там счастью прощения нет.
Там гонят из дома

Разрывы, раздоры, пожар,
Кровавым штандартом встающий,
Сражения пьяный угар,
Кострища вселенские кущи!
И на пепелище, один,
В гудящее злато стреляя,
Кто – Бог? человек? господин?..
Любови личинка слепая?.. –
Средь ужаса угольных гор,
Хвостов этих огненных, лисьих... –
Сгораешь, взойдя на костер
Войны, и безумья, и жизни!
А Рим полыхает вокруг.
Воплю, так ору заполошно:
Держись, ты живой еще, друг!..
Жить – яростно!.. выжить – возможно!..
Любить – непреложно!.. пускай
Исходят лукавством и злобой,
Кто мир наш, потерянный Рай,
Пнул в лодку дощатую гроба!
Иконы и книги поджег,
Могилы, и детские косы,
И яркий брусничный пирог,
И памяти рвы и торосы!

Ах, Рим мой, ты мир мой, моя
Провинция, пашня, столица,
В дымах и прибое жнивья
Горящая горем граница!
Гробница, клеймо ты мое.
На коже?!. – на сердце ожоги.
Пылает и рвется белье –
Бураном у нищей дороги.
Да, красная эта метель –
Гудит, обнимая руины!
Да, огненной шкурой – постель,
И лава клокочет перины!
И красный истерзанный флаг –
Лоскутным, в крови, одеялом
Над полымем римских атак
Взвивается – Фениксом алым!
Да, села горят! Города!
Огонь пожирает без меры –
Что будет; что было тогда...
...а легионеры
Ступают, идут тяжело,
И падают, и умирают,
И слез ледяное стекло
Ладонью – тверда как весло –
В ревущем огне
утирают.
Старик, обними, сизый дым.
Согни раскаленной подковой.

Горю я. Пылаю.
Я – Рим.
Нет места живого.
До жил, потрохов, черных дыр –
Воскресни, прощенный! –
Сжигают. Сжирают!
Я – Мир,
Огнем окрещенный.

Возвращение

Все, что было, пусть исчезнет, как слепящий снеговей.
Я стою в конце дороги среди Родины моей.
Путь окончен мой железный. Радость дивно велика –
Та, что рот мне зажимает комом снятого платка.

Отзвенят вагонов звоны. Отгорчит грузинский чай.
На разъездах енисейских отворчит собачий лай.
Всю на станциях заштатных бабы снедь распродадут...
А в вареную картошку черемшу они кладут!..

Выхожу я из вагона. Дым курится в вышине.
Вы, попутчики, – бессонно вспомяните обо мне!
Дорогие, золотые, – то в картишки, то молчком,
То признания ночные торопливым шепотком...

Долго ехала я с вами. Обжигаясь, чай пила –
Горькое глотала пламя, плача, на краю стола.
Перестук колес, и тряско, станции держу свечу...
Мой народ, тебе за ласку – страшной болью заплачу!

Прохожу перроном. Люди веселятся, слезы льют.
На вокзальном дымном блюде сон дорожный – пять минут.
Прохожу вокзал навылет. Мощную толкаю дверь.
Не идущий – не осилит ни дороги, ни потерь!

А на площади широкой – все товары на лотках –
Лица в кепках пропыленных, лица в расписных платках,
Лица, словно снег холодный, в жизнь летящие мою –
Поименно, принародно вас, любимых, узнаю!

Я стою на Комсомольской, весь пройдя в короткий срок
Путь, которым эшелоны шли на Запад и Восток.
И, от счастья прозревая, от рыданья став слепой,
Я лицом одним сливаюсь с беспредельною толпой.

Валерий СУХОВ

Родился в 1959 году в селе Архангельском Пензенской области. Окончил Пензенский государственный педагогический институт им. В.Г. Белинского и аспирантуру при Московском педагогическом университете. Кандидат филологических наук. Работал учителем в сельской школе, преподавателем литературы в университете.

Автор пяти сборников стихотворений. Стихи публиковались в журналах «Сура», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Подъем», «Русское эхо», «Странник», «Простор», «Нижегородская провинция», в «Литературной газете». Лауреат Всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова и Международной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами». Живет в Пензе.

ДУШУ ЛЕЧИТ МНЕ РУССКИЙ СНЕГ

Рукой подать до Бога

Умирающая деревня,
Вечная память тебе.

С. Есенин

Иду домой, как в гости,
Один среди людей.
Качнулся шаткий мостик
Из сгорбленных жердей.

Рукой подать до Бога,
Да не дойти никак.
Покрылась льдом дорога,
Как времени река.

В деревне умирающей
Порядок поредел…
Среди родни на кладбище
Я место приглядел.

На родину вернулся,
Чтоб мать в живых застать.
На тень ее наткнулся,
И дрожь не смог унять.

Прошла и не узнала
Седая, словно смерть.
Кого она встречала
Дорога, мне ответь?!

Треугольный парус из бумаги

Как в снегу, в бинтах лежат солдаты –
Все войной безжалостно распяты!
В старой школе госпиталь теперь.
Учат жить здесь взрослых, как детей.
Долго длится мужества урок
Для учеников – без рук, без ног.
И оценки выставляет мелом
Смерть – учитель строгий в платье белом...
Классная доска с весны хранит:
«...на дуэли Лермонтов убит...»
Вновь, как школьник, смотришь ты в окно,
Про себя твердя «Бородино»
И слова простые «Завещанья»,
Как завет прощенья и прощанья...
И фантомной болью вдруг пронзит:
«В сорок первом – Лермонтов убит!»
Ночью, карандаш зажав зубами,
Пишешь сам письмо далекой маме.
И белеет в госпитальном мраке
Треугольный парус из бумаги.
Пусть летит с надеждой он домой:
«Мама! Я не умер. Я – живой!»

Девятый день

Купол неба – синий нимб России.
Дождь прошёл, и радуга встаёт.
Влажный чернозём почуял силы.
Умерев, зерно росток даёт.

Жизнь над смертью торжествует снова.
И от солнца отползает тень.
Воскресает воинство Христово
После Пасхи на девятый день.

Пламенеют травы на пригорках.
Взрывами черёмухи цветут.
Сыновья в истлевших гимнастёрках
К матерям седым с войны идут.

Похороны деда

Бывают странные совпаденья.
Они оставляют на сердце след.
Пришла из деревни – в мой день рожденья
Телеграмма. Скончался дед...
Я не забуду тот день в декабре.
Морозы тогда стояли под сорок.
Шли мы к кладбищу на горе.
Снег под ногами взрывался, как порох.

В поле нас встретил пронзительный ветер.
Обметала позёмка сугробов края.
От ледяного дыхания смерти
Как-то роднее вдруг стала родня.
И долго-долго смотрел нам вслед
Молоденький ельник, посаженный дедом...
Вот, говорят, в ногах правды нет.
А я бы мог поспорить об этом,
Вспомнив корявые корни-вены
Да пару разбитых солдатских сапог.
Из райбольницы после гангрены
Дед умирать вернулся без ног...
Гроб на плечах всплыл на гору, как лодка.
Захлебнувшись, замолк похоронный марш.
И в тишине причитала тётка:
«Папанька! Жалельщик наш!»
Небо высокое стало суровее.
Смертно белело поле окрест.
Вкопан был в мёрзлые комья надгробия
Комлем – дубовый обтёсанный крест.
Цело тело или короче –
Всех, как мать, принимает земля...
Умер дед двадцать первого ночью.
А наутро –
родился я.

Русский снег

Я родился в декабрьский мороз,
Когда сыпались звезды с берез,
И сугробы вздымались до неба.
Как снежок, я был слеплен из снега
В час, когда вызревала заря,
Снегириною грудью горя.
И качала седая метель
Светлый месяц – мою колыбель…
……..
Так сквозь радость и сквозь беду
Я по снежному полю иду.
Пусть калечит кровавый век –
Душу лечит мне русский снег.
Приложу я снежинки к глазам –
И откроется жизнь слезам.
Снег – небесная благодать.
Снегом мне б после смерти стать…

Родное Архангельское

В.Н. Крупину

Я родился в селе Архангельском.
Коренном, российском – не ангельском.

Там земная юдоль – не райская,
Церкви нет уже с давних пор.
Но родное село Архангельское –
Вот Архангельский мой собор.

Без молитвы душа томится.
Без истоков мелеет река.
И пора мне к ним возвратиться,
Чтоб увидеть родные лица
И святой водой причаститься
Из Михайлова родника.

Старый дом

Подкатил мне под горло ком –
Вновь я вспомнил родимый дом.

Покосилось его крыльцо.
Почернело для зыбки кольцо.

По-старушечьи сгорбилась матица.
И моя жизнь под гору катится.

Вспомнил я на закате дня,
Как гуляла моя родня!

Дом для праздников был не тесен.
Сколько спели в нём русских песен!

Годы шли... И в последний раз
Он собрал на поминки нас...

Смертным холодом печка дышит.
Оседает могилой крыша.

Умер дом, как родной человек.
И занёс его окна снег.

Сенокос

О росу косой звеня
В утреннем тумане,
Дед косить учил меня
На лесной поляне.

Васильковая роса
Осыпала звенью.
Но не слушалась коса –
Все вонзалась в землю.

Но окрепли крылья рук.
Взмах взлетал за взмахом.

И просохла на ветру
Потная рубаха.

На душе так хорошо!
По плечу мне горы.
Вдруг пошел, пошел, пошел
Сам легко и споро…

Было радостно до слез
В благовест рассвета
Первый свой пройти прокос
По макушке лета.

И валок окинув свой,
К роднику спуститься
И его живой водой
Досыта напиться.

Знал я счастье бытия!..
Смерть махнет косою –
На сырую землю я
Упаду с травою.

За один последний миг
Жизнь перелистаю.
Вспомню тот покос, родник
И росой растаю.

Погост

Высокий холм вздымается в крестах.
И слезы застывают на глазах.

Богатый смерти выдался покос.
Родней села становится погост.

Качнусь от горя я – без водки пьян.
И поминальный уроню стакан.

Скрестила руки на груди родня –
И ждет не в гости – насовсем меня.

Огонь рябины

Нет поэта без родины.

С. Есенин

Без родины – поэта нет.
Родного не понять чужому.
Так в сумерках заветный свет
Вдруг обожжёт тоской по дому.

Тогда по-волчьи впору выть
Сухому перекати-полю,
То вспомнив, что нельзя забыть,
Бродяжью проклиная долю.

Поэта русского судьба –
Врасти корнями в край родимый,
Где материнская изба
Хранит в окне огонь рябины.

Где так печально старый клен
Клин провожает журавлиный.
А ветер колокольный звон
Разносит, как напев былинный.

Где за Окой такой простор,
Что сердце не захочет рая…
И вспыхнув здесь, души костер
Горит, как Русь, не угасая!

Вехи памяти

«КОГДА, ПОЭТ, ТВОЙ СТИХ НЕ БРЕШЕТ...»

К 100-летию со дня рождения Александра ЛЮКИНА

Я держу в руках маленькую книжечку стихов Люкина «Беспокойство» с лаконичным автографом поэта: «Симонову Коле – А. Люкин». Мне живо вспоминаются три встречи с этим замечательным поэтом, случившиеся осенью 1966 года и зимой 1967-го. Огромное впечатление на нас, мальчишек-ремесленников, произвела первая встреча с живым поэтом, с настоящим поэтом, проводившим у нас в ПТУ творческую встречу. В отличие от известных нам по портретам в учебниках литературы поэтов-классиков, этот поэт показался нам слишком простым и приземлённым, внешне ничем не отличающимся от простых мужиков-работяг, наших отцов. Но когда он начал читать свои стихи, мы поняли, что перед нами самый настоящий поэт. В Люкине поражала какая-то добрая простота, такому человеку хотелось верить, идти за ним. И когда он говорил: «Жить надо просто, очень просто», мы, пацаны шестидесятых, вечерами оравшие под гитару песни об атлантах и бригантинах и стремящиеся к яркой, полной приключений жизни, верили ему.

Вторая встреча с Александром Ивановичем произошла примерно через месяц. Он собрал уже не всё училище, а только ребят, увлекающихся литературой и пробующих писать стихи и прозу.

После живого разговора о творчестве, о тайнах стихосложения, Александр Иванович попросил нас почитать свои стихи. Ребята начали читать свои творения о коммунизме и о Ленине, о войне и о труде, о комсомольцах, полярниках и целинниках, о космосе и космонавтах, о любви и жизни. Когда очередь дошла до меня, я не нашёл ничего лучшего, чем прочесть своё последнее стихотворение. Ведь последнее стихотворение большинство поэтов считают лучшим до появления нового произведения:

Снег за окошком не тает,
И не приходит весна,
В душу мою заползает
Горькая дума одна:
– Можно бы застрелиться,
Только нагана нет…
Кислые злые лица,
Серый сырой рассвет.

Выслушав, Люкин улыбнулся и тихо сказал: «Вижу, что ни Пушкину, ни Есенину не подражал. Слова свои. Коротко и ясно. Но мрачно уж больно. Постарше будешь, поймёшь, что для народа повеселей надо писать и к жизни поближе».

Третья и последняя встреча с Люкиным произошла уже в феврале 1967-го, за год до его гибели. На очередном занятии с молодёжью он говорил, что, когда пишешь стихи на полном серьёзе и затрагиваешь в них жизненно важные темы, надо говорить правду и только правду. Немного приврать, для красного словца, можно только в шуточных стихах и частушках.

Когда, поэт, твой стих не брешет,
Тебе и слава, и почёт.
Народ вином тебя потешит
И вдоволь хлеба напечёт.
Будь ты в беде,
Тебе, однако,
Штаны найдутся у него,
Но если брешешь ты, собака,
То не получишь ничего!

Получилось так, что первым моим учителем в поэзии, не считая классиков, оказался Александр Люкин. После встреч с ним я стал больше увлекаться русской и зарубежной классической поэзией, работать над стихами, интересоваться творчеством современных поэтов и, в частности, творчеством Люкина. Когда я вернулся из армии, спросил: «А где Люкин?» Сказали, что он погиб...

29 марта 1919 года в селе Шишковердь Княгининского уезда Нижегородской губернии родился Александр Иванович Люкин. Княгининцы считают его своим поэтом, сормовичи – своим, в Московском районе он тоже свой. Но Александр Люкин не районный поэт и даже не областной – нижегородский, – он один из лучших поэтов России двадцатого века. День рождения Александра Люкина ежегодно отмечается в Нижегородском отделении Союза писателей России, в Княгининском и Московском районах. Но начало этому было положено в Сормове. В 1988 году, в 20-летнюю годовщину со дня гибели А. И. Люкина, нижегородские поэты и поклонники его творчества собрались в Сормовском Дворце культуры, в библиотеке профкома, где в шестидесятые годы А. И. Люкин проводил занятия литобъединения «Волга». На первом вечере памяти поэта его друзья поделились воспоминаниями и провели областной поэтический конкурс. С той поры каждый год сормовские поэты в день рождения А. И. Люкина собирались и приглашали гостей со всего города, чтобы почтить память своего учителя. Многие из них лично были знакомы с Александром Ивановичем. И у каждого из них есть стихи, посвящённые ему.

В 2004 году меня пригласили возглавить сормовское литературное объединение «Волга», и сразу же тогдашний редактор газеты «Красный сормович» Валерий Киселёв предложил возобновить выпуск литературной страницы «Сормовская лира». Собирая материал для литературной страницы, я отбирал стихи, где прямо или косвенно упоминался Люкин, для мартовских номеров, которые посвящались ему. Я искал стихи, посвящённые Люкину, в поэтических сборниках, газетах и журналах, с дальним прицелом – напечатать их все, когда-нибудь, под одной обложкой

И вот момент для издания книги настал. С отдельными стихотворениями из нового сборника знакомим читателя уже сегодня.

Николай СИМОНОВ,
составитель сборника «Венок Люкину»,
лауреат премии имени Александра Люкина,
руководитель Сормовского литературного объединения
«Волга» имени А. И. Люкина

Юрий АДРИАНОВ
Нижний Новгород

Саша Люкин

Тот давний день утратой страшен…
Стою у чёрного окна
И снова вспоминаю Сашу –
Так мягко звали Люкина.

Хранил он доброе обличье
Людей, пришедших от «сохи»,
И наших возрастов различье
Смывали, встретившись, стихи.

В вечернем дружеском застолье
Я благодарен был тебе
За боль, посыпанную солью,
За все раздумья о судьбе.

Минёр, солдат обычной роты
Великой мировой войны,
Нас, молодых и желторотых,
В свои не причислял сыны.

А говорил всегда о главном,
Один на всё имел совет:
Есть только правда и неправда,
Как есть поэт и не поэт.

Георгий ВОЛКОВ
Балахна

Начало

Александру Люкину

Его ещё не знали в нашем Сормове –
Вчерашнего солдата, мужика.
Но знали в цехе: на дела проворная,
Тяжёлая люкинская рука.

Усталым возвращался он со смены.
И в двух шагах от заводских ворот
Пил смачно пиво, сдунув с кружки пену,
Делил с друзьями новый анекдот.

Они не знали, что за их соратником
Мучительные водятся грехи:
Вот и сегодня из кармана ватника
Выглядывали робкие стихи.

Владимир ЖИЛЬЦОВ
Нижний Новгород

Читая Люкина

На стекле дождинок стаи,
Примостившись у окна,
Словно мёд, стихи глотаю
Александра Люкина.

Слог, лишённый мысли пресной,
Но, как правды нож, остра,
Восхищает в добрых песнях
Краткость – мудрости сестра.

Говорят, простым был очень,
Весь открытый, без легенд –
Сын крестьянина, рабочий,
А душой – интеллигент.

В комнатёнке небогатой
Жил, как пел, а пел, как жил…
Ни в работе, ни в солдатах
Не щадя душевных сил.

Плоть от плоти жизни этой,
Тот, кому не всё равно,
Он не мог не стать поэтом,
Богом избранный давно.

И в стихах его доныне
С миром кровное родство.
Спору нет…
Но кто подымет
Божью дудочку его?

Александр КОЛЕСОВ
Нижний Новгород

В сердце

Александр Иванович Люкин…
Злоба, время щадят ли кого?
Но всё помним поэта и любим
мы, читавшие книжки его.

Хорошо о труде написал он,
о незнающей правил тропе…
о войне, что как с неба упала…
о нелёгкой солдатской судьбе…

о дождях, о берёзах, дорогах…
и о детстве, чей ключ говорлив…
О земной нашей жизни, к нам строгой,
и о тех, кто в ней прям или крив…

Обо всём рассказал он и – просто,
с хитрецой и с грустинкой в душе,
человек невысокого роста,
ныне ставший легендой уже.

Человек деревенской породы,
излучающий Родины свет.
Не великий поэт, но – народный,
и в России таких больше нет.

Александр ПЛОТНИКОВ
Арзамас

* * *

Памяти Александра Люкина

Совершает смерть порой ошибку
И уносит явно не того.
Человек оставил лишь улыбку.
Лишь улыбку. Больше ничего.

Он идёт по жизни с нами вместе,
И друзей так много у него.
Человек оставил только песню.
Только песню. Больше ничего.

А земля цветёт весенним цветом,
Полная животворящих сил…
Нет, недаром он за песню эту
Всей своею жизнью заплатил.

Галина РЯБОВА
Княгинино

Посвящается памяти Люкина

Его свеча давно погасла,
И жизнь исчерпана до дна,
Но вспоминаем не напрасно
Стихи поэта Люкина.

Мужик простой, жил рядом с нами.
Без заморочек, без прикрас,

В своих стихах оставил память
Он о себе, для всех для нас.

В них просто он писал о Боге,
О смысле жизни, о боях,
О наших бабах, о дороге,
О русском поле в васильках…

Николай СИМОНОВ
Нижний Новгород

Под развесистой клюквой

Когда, поэт,
Твой стих не брешет,
Тебе и слава, и почёт…
Александр Люкин

Почитатели слова и буквы,
Вам в любви я признаться хочу.
Я сижу под развесистой клюквой
И для вас небылицы строчу.

Правда жизни горька, как горчица,
Но стараюсь всегда сохранить
Стержень правды в своих небылицах,
Чтоб отпетым лгуном не прослыть.

С Люкиным я встречался три раза –
Он в ДК собирал пацанов.
С той поры в память врезалась фраза,
Что дороже всех прочих основ.

Нам, зелёным, сказал он: «Пишите,
Пусть поэтов умножится рать,
Только в главном, в большом, не брешите,
Можно в малом, для смеха, приврать».

Он открыл нам секреты успеха.
Он уроки добра преподнёс.
В шутках я привираю для смеха,
Но чистейшая правда – всерьёз.

Если кто-то из вас рассмеётся,
Я награды иной не прошу.
Этот смех к вам сторицей вернётся –
Я не раз ещё вас рассмешу.

Почитатели слова и буквы,
Я – правдивый такой – не один.
Я пишу под развесистой клюквой,
Как учил наш учитель Люкин.

Юрий СИМОНОВ
Нижний Новгород

* * *

Есть у меня такое право:
С людьми о жизни говорить…
Александр Люкин

Поэт с народом говорит
И сам живёт его бедою.
Крепка поэзия, как спирт,
Что не разбавленный водою.

Как обжигает, как горит!
И в ореоле синеватом,
Люкин с народом говорит,
Как с братом.

Люкин о жизни говорил.
На труд смотрел в другие призмы.
Стихи бессмертные творил,
Как афоризмы.

Александр ФИГАРЕВ
Нижний Новгород

* * *

Над высокой крышей клуба
Звёзды вились, как шмели,
Мёдом чистым пахли губы
И черёмухи цвели.
И весёлый и угрюмый
Чудеса свои творил,
Я тогда стихами думал
И стихами говорил.
А любовь звенела странно
Между нами, как струна.
Вот я вынул из кармана
Тонкий томик Люкина.
Парни, девушки кричали,
Звали нас через окно –
Мы с тобой стихи читали,
Ничего не замечали:
Шло у нас своё кино.
Мы смеялись и слезами
Заливались над стихом…
Ты очнулась и сказала:
«В клуб сегодня не пойдём».
Нам – не надобно кина –
Почитаем Люкина.

Над высокой крышей клуба
Звёзды вились, как шмели,
Мёдом чистым пахли губы
И черёмухи цвели.

Валерий ШАМШУРИН
Нижний Новгород

Люкин

Не выносил застольной скуки
И анекдотной шелухи.
А ну-ка почитаем, други,
По кругу новые стихи!..

В помятый пиджачок одетый,
Дымя дешёвой сигаретой,
Он приходил к нам от станка
На заседанье литкружка.

Он жил поэзией такою,
Где неизменно всякий раз
В самой строке и за строкою –
Одна лишь правда без прикрас.

Уже смиренничать и гнуться
Нам никогда не даст она.
И всей судьбою нам тянуться
К бесстрашной правде Люкина.

Публицистика

Василий АВЧЕНКО

Писатель и журналист. Родился в 1980 году в Иркутской области. Вырос в семье геологов во Владивостоке, где и живёт. Окончил журфак Дальневосточного государственного университета (тема диплома «Теория и практика политических манипуляций в современной России»). С конца 1990-х годов и по настоящее время штатно и внештатно работает в различных СМИ Владивостока и Приморья. Действительный член Общества изучения Амурского края Русского географического общества.

Публиковался в журналах «Знамя», «Москва», «Двина», «Нижний Новгород», «Новый мир», «Дружба народов», в тихоокеанском альманахе «Рубеж», альманахе «Енисей». Автор документального романа «Правый руль» (2009, Ad Marginem), беллетризованной энциклопедии-путеводителя «Глобус Владивостока» (Ad Marginem, 2012), фантастической киноповести «Владивосток-3000» (2011, «Астрель» –Terra Fantastica, в соавторстве с музыкантом Ильёй Лагутенко), книги «Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях» (2015, Редакция Елены Шубиной – АСТ), биографии «Фадеев» в серии «Жизнь замечательных людей» (2017, «Молодая гвардия»).

ТВОРЦЫ ДОРОГ

Алексей Маресьев и Николай Заболоцкий: два строителя Аэрограда на Амуре

Трудно найти более непохожие траектории судеб, чем у лётчика Маресьева (1916–2001) и поэта Заболоцкого (1903–1958). Но точка пересечения в их биографиях есть. Это город Комсомольск-на-Амуре, который строили оба – сталинский сокол и сталинский заключённый. Происходило это в эпоху, превращавшую одних в нержавеющих сверхлюдей, а других – в гвозди, по самые шляпки вбиваемые в фундамент новой – долгой и счастливой жизни.

Рождённый летать

Книгу о сбитом лётчике, сумевшем вернуться в строй с ампутированными ступнями, Борис Полевой назвал «Повестью о настоящем человеке». О подвиге Алексея Маресьева знал каждый житель СССР. Но мало кому было известно о том, где начинался его непростой путь в небо, и о первом подвиге, совершённом задолго до войны.

4 апреля 1942 года истребитель Маресьева был сбит в Новгородской области над территорией, занятой немцами. 18 суток лётчик пробирался

к линии фронта на повреждённых ногах – пешком, затем ползком. Ступни пришлось отнять, но пилот сделал почти невозможное – вернулся в небо. В 1943 году гвардии старшему лейтенанту Маресьеву, сбившему до ранения четыре вражеских самолёта, а после – ещё семь, присвоили звание Героя Советского Союза. С 1946 года он – в отставке: преподавал, защитил кандидатскую, работал в Комитете ветеранов. 18 мая 2001 года в Театре Российской армии начался вечер в честь 85-летия Маресьева. Торжество обернулось трауром: Алексей Петрович не пришёл. Воистину – где стол был яств…

Маресьев был не единственным в истории безногим лётчиком, но, безусловно, самым известным – благодаря книге Полевого 1946 года и вышедшему двумя годами позже фильму Александра Столпера с Павлом Кадочниковым в главной роли. В книге и фильме лётчик назван «Мересьевым» – в фамилии живого прототипа изменена одна буква. Известны и прообразы других персонажей. Так, друг Мересьева лётчик Дегтяренко – это старший лейтенант Андрей Дехтяренко, начинавший ещё с Халхин-Гола, а в Великую Отечественную командовавший эскадрильей. Именно он вывез Маресьева на самолёте У-2 с оккупированной территории; погиб в июле 1942 года, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Капитан Чеслов, в эскадрилью которого попадает Мересьев после выписки из госпиталя, – тоже реальное лицо: Александр Числов (1915–2009), лётчик-ас, Герой Советского Союза. Именно с Числовым Маресьев совершил первый после возвращения в строй боевой вылет. Фамилию маресьевского ведомого Петрова Полевой менять не стал.

Есть и отклонения. Так, у Полевого героя сбивают на «ишачке» – И-16, на деле Маресьев пилотировал Як-1. Мересьев со своим полком успешно «проделал боевую кампанию 1943–1945 годов», а Маресьев в 1944 году согласился стать инспектором-лётчиком и перешёл из строевого полка в управление вузов ВВС. Но все эти расхождения с реальностью не столь существенны, как другое обстоятельство: книга Полевого, начинающаяся с рокового апрельского дня 1942 года, – вторая серия. Была и первая – ненаписанная и неснятая.

…Маресьев родился в 1916 году в Камышине Саратовской губернии. После школы получил специальность токаря по металлу. Дважды подавал документы в лётное училище, но его не брали из-за слабого здоровья: в детстве Алексей перенёс тяжёлую форму малярии, получив ревматизм и проблемы с суставами. Решил поступать в Московский авиационный институт – всё-таки тоже самолёты. Но тут Камышинский райком комсомола направил его на строительство нового города – Комсомольска-на-Амуре. Алексей отказывался наотрез, готов был даже положить на стол комсомольский билет. «Когда перед отъездом я проходил медкомиссию, ко мне подошла женщина-врач и так по-матерински сказала: “Алёша, ты, конечно, можешь не ехать. Но знай: если ты одной ногой ступишь на ту землю, все твои болезни пройдут”. Я и подумал, что раз смогу выздороветь, то и лётчиком стану», – вспоминал Маресьев потом. Неведомая врач оказалась пророком.

Из воспоминаний лётчика: «Помню маленький пароход, доставивший нас… на амурский берег, истоптанный, заваленный чемоданами, узлами. На берегу толпились парни и девчата. Куда ни глянь, всюду молодые лица». Был 1934 год. Город на месте села Пермского, основанного русскими переселенцами в XIX веке, и нанайского стойбища

Дзёмги (так поныне зовут один из районов Комсомольска – Ленинский округ) заложили всего двумя годами ранее – 12 июня 1932 года.

Алексей валил лес, строил бараки. Потом его перевели на катер «Партизан» мотористом-дизелистом. «Мы знали, что надо работать, и работали. Мы знали, что на месте дремучей тайги должен быть построен город, и мы его строили. Мы знали, что в этой борьбе с природой и трудностями нельзя давать ни себе, ни товарищу ни малейшей поблажки, и мы были требовательны к себе и к другим», – вспоминал он. Маресьев поставил себе цель: стать абсолютно здоровым. Работал как все – и ещё лучше. По утрам бегал, обтирался снегом… Одновременно учился на рабфаке. «Через некоторое время выяснилось, что я совершенно здоров», – вспоминал он, объясняя своё почти чудесное исцеление трудом и воздействием дальневосточного климата. Тут могут быть разные мнения, но факт есть факт: Алексей стал крепким парнем, готовым к любым труду и обороне. Не просто закалил тело – преодолел себя. Потом он сумеет это повторить – в том апрельском лесу. И ещё раз – освоив протезы и взлетев без ног.

Когда в Комсомольске учредили аэроклуб, Маресьев записался туда одним из первых, легко пройдя медкомиссию. В личном деле курсанта, хранящемся в Государственном архиве Хабаровского края, имеется заявление Маресьева от 7 августа 1935 года. В нём Алексей просит зачислить его в аэроклуб, поскольку имеет «большое желание изучить самолёт и его вождение в воздухе». К заявлению приложена характеристика: «…К работе относится честно и аккуратно, замечаний и взысканий не имеет, имеет поощрения и благодарности за образцовую работу, является лучшим стахановцем, принимает активное участие в общественной, комсомольской работе».

Аэроклуб, правда, ещё предстояло построить – раскорчевать лётное поле, сколотить учебный барак, привести в порядок старенький самолёт… У Полевого Комсомольск упоминается лишь однажды – как раз в связи с этой стройкой: «Когда строители отдыхали после трудового дня, аэроклубовцы, возглавляемые Алексеем, смазав своё тело керосином, долженствующим отгонять комара и гнуса, выходили в тайгу… Они пилили, корчевали деревья, взрывали пни, ровняли землю, отвоёвывая у тайги пространство для аэродрома… С этого аэродрома Алексей и взмыл в первый раз в воздух на учебной машине, осуществив наконец заветную мечту детства». По опубликованным хабаровской газетой «Тихоокеанская звезда» сведениям краеведа, первостроителя Комсомольска-на-Амуре Ефима Дороднова, первый самостоятельный полёт Алексей совершил на пятилетие города – в июне 1937 года. 30 июня в газете «Сталинский Комсомольск» даже вышла заметка с его фотографией.

Комсомольск оказался важен для судьбы Маресьева вдвойне: здесь он исцелился и взмыл в небо. Уже того, что первый полёт Маресьев совершил именно в Комсомольске, достаточно для того, чтобы последний считался Аэроградом, как назвал свой фильм 1935 года о юном дальневосточном городе Александр Довженко. Комсомольск и поныне – аэроград: здесь делают боевые «сушки» и гражданские «суперджеты». Не Довженко ли с Маресьевым заложили в ДНК города небесную составляющую? А в 1967 году Комсомольск посетил Гагарин и вслед за Маресьевым стал его почётным гражданином (ещё один почётный комсомольчанин – родившийся здесь в 1939-м космонавт Валерий Рюмин). В Москве в Музее космонавтики выставлены

личные вещи Гагарина: звезда Героя, ручка, часы… – и значок «35 лет Комсомольску-на-Амуре».

В 1937 году Маресьева призвали в армию – в погранвойска НКВД. Служил на Сахалине авиатехником 12-го авиационного погранотряда. Сведений об этом периоде немного. Сам Маресьев рассказывал, что служил в селе Кировском (ныне входит в Тымовский городской округ) и не летал, а «заносил хвосты» у самолётов. Сын Виктор Маресьев говорил со ссылкой на рассказы отца, что тот ловил на Сахалине неких «японцев-перебежчиков». Южный Сахалин был тогда японским, вот-вот ожидалась война. С 1937 до 1940 года советские лётчики помогали Китаю обороняться от японцев, в 1938-м вспыхнул конфликт с теми же японцами на самом юге Приморья – у озера Хасан, а в 1939-м настоящая война с танковыми и авиационными сражениями – прообраз скорой Великой Отечественной – случилась на Халхин-Голе.

С Сахалина Маресьева в 1938-м или в 1939 году направили в Батайскую авиационную школу пилотов имени Серова, которую он окончил в 1940 году, получив звание младшего лейтенанта, и как один из лучших курсантов был оставлен в школе инструктором. Там же, в Батайске Ростовской области, встретил войну. Но в Батайск школа, с которой ведёт свою историю Краснодарское высшее военное авиационное училище, была переведена только в октябре 1939 года. А создана она была в августе 1938 года в Чите как «30-я Военная школа пилотов». Читинские журналисты Ирина Трофимова и Анна Кулигина выяснили: Маресьев осваивал истребитель на читинском аэродроме «Черёмушки» («Чита-1»). Здесь ещё до революции базировались аэропланы-«этажерки» французского производства, а в 1920 году стоял Маньчжурский авиаотряд атамана Семёнова, на смену которому пришёл воздушный флот Дальневосточной республики, в 1922 году влившейся в РСФСР. Поле и сегодня в строю: отсюда «вертушки» Ми-8 вылетают на тушение лесных пожаров. Именно в Чите, недалеко от упомянутого Халхин-Гола, Маресьев в числе других курсантов первого набора стал военным лётчиком.

В 1973 году в этих же местах капитан Юрий Козловский повторил подвиг Маресьева. Он увёл неисправный самолёт Су-7 от Читы и катапультировался. Со сломанными ногами, без еды и тёплой одежды несколько дней полз по мёрзлой тайге. Ноги пришлось отнять, но пилот, подобно своему знаменитому предшественнику, не сдался: освоил управление воздушным шаром, летал на лёгком самолёте, прыгал с парашютом. Занимался общественной деятельностью (зампредседателя фонда «Московский ветеран»), встречался с Маресьевым.

В Комсомольске-на-Амуре, на Сахалине и в Чите Маресьев жил в 1934–1939 гг. – с 18 до 23 лет. Здесь он избавился от недугов, подобно богатырю Илье Муромцу. Здесь начал летать, став «настоящим человеком», и не раз потом подтверждал это звание – когда выжил в лесу, когда танцевал на протезах, когда убедил военную бюрократию в том, что сможет драться на истребителе Ла-5… Да и после войны он жил в режиме ежедневного подвига.

В книге Полевого роль Дальнего Востока в судьбе лётчика не проговаривается. Возможно, автор был и не в курсе всех нюансов его довоенной жизни. Но именно здесь Маресьев «сделал себя» – благодаря себе и самой этой земле, которая или убивает, или делает сильнее. Строил город на Амуре – построил себя. Достиг такой степени человеческой цельности, при которой целостность телесная уже не имела значения. Небо вновь стало доступной для него средой. У этого человека с неограниченными возможностями не было ног – но были крылья. Рождённый летать не будет ползать; вернее, доползёт куда угодно, чтобы снова взмыть в небо.

«Что-то джеклондоновское!» – думает в книге Полевого ползущий по лесу Мересьев, пытаясь взглянуть на себя со стороны. Очевидно, он вспоминает рассказ «Любовь к жизни» Джека Лондона, столько писавшего о Севере, суровых краях и стихиях, человеке на грани и за гранью… Столь похожий на лучших героев Лондона, Алексей и родился в тот самый год, когда Джек умер.

«В стране, где кедрам светят метеоры…»

В 30-е Дальний Восток считался передним краем. Ожидание войны с Японией сопрягалось с бешеным по темпам строительством заводов, портов, укрепрайонов, городов. Сюда наперегонки стремились писатели: Фадеев, Гайдар, Фраерман, Диковский… Сергей Герасимов в 1938 году снял фильм «Комсомольск», Алексей Арбузов в 1940-м написал пьесу «Город на заре».

Был и другой поток – недобровольный. Осуждённый на пять лет Мандельштам, не дождавшись этапа на Колыму, умер на Владивостокской пересылке. Шаламов, Домбровский, Евгения Гинзбург до Колымы добрались – и вернулись оттуда. Нарбут не вернулся. Василий Ажаев попал на Дальний Восток под конвоем, освободился и на некоторое время здесь задержался. В его некогда знаменитом романе «Далеко от Москвы», получившем Сталинскую премию, описана стройка нефтепровода от Сахалина до Комсомольска. Правда, Комсомольск назван Новинском, Хабаровск – Рубежанском, а Сахалин – Тайсином.

Николай Заболоцкий принадлежал ко второму потоку. 35-летнего поэта арестовали в марте 1938 года в Ленинграде. Незадолго до этого критик Лесючевский разгромил в печати поэму Заболоцкого «Торжество земледелия», напечатанную в «Звезде» Николаем Тихоновым: «Заболоцкий юродствует, кривляется, пытаясь этим прикрыть свою истинную позицию… Это позиция человека, враждебного советскому быту, советским людям, ненавидящего их…» Показания на поэта дали арестованные литераторы Бенедикт Лившиц и Елена Тагер. Около восьми месяцев Заболоцкий провёл за решёткой, где, по его же словам, «начал постепенно терять ясность рассудка» и даже попал в тюремную больницу для умалишённых. Придя в себя и оказавшись в общей камере, он (за два года до того написавший «Горийскую симфонию») решил, что находится в руках фашистов, которые «под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей».

Наконец поэту объявили: решением ОСО он приговорён к пяти годам лагерей за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Вероятно, от более сурового приговора Заболоцкого спасло то, что он не признал себя виновным и отрицал существование контрреволюционной писательской организации, которую будто бы возглавлял Тихонов.

В ноябре этап тронулся из Ленинграда. Путь на Дальний Восток занял два с лишним месяца. В Комсомольск Заболоцкий попал в феврале 1939 года. Сначала работал в Восточном железнодорожном лагере – в посёлке Старт, около 40 километров от городской черты. Сообщил жене Кате адрес: «Г. Комсомольск-на-Амуре, Востлаг НКВД, 15 отделение, 2 колонна, мне». Попал на общие работы по прокладке дорог: валил

лес, дробил камень в карьере (Борис Слуцкий вспоминал, что Заболоцкий однажды обмолвился: был и землекопом, и каменщиком, и плотником, и прорабом)… Но пробыл на них недолго. Уже 14 апреля 1939 года писал жене: «Я работаю чертёжником, и мне положено вознаграждение 30 р. в месяц» – на сахар и махорку, мол, хватит. В чертёжники Заболоцкий попал потому, что ещё в реальном училище хорошо чертил и рисовал. О его лагерной работе позже появилось немало домыслов – говорили, например, что поэт ни много ни мало проектировал нефтепровод Оха – Комсомольск. На деле его роль чаще всего сводилась к функции ксерокса: «Мои обязанности заключаются в механической копировке чертежей… Благодарю судьбу за то, что в моих руках рейсфедер, а не лопата». Поэт писал, что работает «архитектурным чертёжником», а в минуты, остающиеся после 11-часовой работы, изучает техническую литературу, так что «некогда скучать и тосковать». И ещё: «Работа стала интереснее; я накопил опыт, и говорят, что из меня вышел бы неплохой архитектор».

В письме от 4 мая находим своеобразную рифму к Маресьеву: «После тюрьмы я поправился, т. к. воздух здесь лучше и кормлюсь тоже несравненно лучше». Ещё через год, в июне 1940-го, Заболоцкий напишет: «Я, к счастью, физически здоров… Мой организм оказался крепче, чем я сам предполагал». В письмах он старался ободрить жену и, скорее всего, приукрашивал картину. Тем более что сам постоянно просил прислать тёплых вещей, чеснока, лука, витамина С, жиров, сладкого. Но тут же сообщал, что сыт, а иногда даже покупает кетовую икру («Местный продукт – питательный и сравнительно дешёвый»).

30 сентября 1939 года Заболоцкий сообщил, что регулярно читает газеты: «Радуюсь успехам нашей страны, освобождению Западной Украины и Западной Белоруссии». Позже, во время Великой Отечественной, он постоянно говорил о том, как ждёт победы СССР, – и не только потому, что это означало для него надежду на освобождение. В 1941-м поэт даже просился на фронт – отказали. Надеялся, что ему разрешат работать по специальности, педагогом, – тоже не разрешили. Зато на воле в это же самое время переиздавались переводы Заболоцкого – из Рабле, Руставели… В письмах жене он решал вопросы с гонорарами.

Письмо от 10 января 1940 года 8-летнему сыну Никите: «Здесь на севере ещё совсем недавно был один сплошной лес-тайга да стояли невысокие горы-сопки. Людей почти совсем не было. Одни дикие звери бродили кругом. Теперь в этот дикий и безлюдный край пришли люди: они строят города, заводы, рубят лес, сеют хлеб и добывают из земли полезные металлы. Скоро этот край будет удобным для жизни. Летом здесь очень интересно. На горах-сопках растут большие яркие цветы, вроде пионов… В воздухе летают жуки и мухи, каких у нас в Ленинграде нет…» В 1944 году, уже на Алтае, он будет вспоминать дальневосточную природу: «Это – особая страна, не похожая на наши места; мир, к которому надо привыкнуть… Во всей своей торжественной дикости и жестокости предстаёт здесь природа». Заболоцкий опишет лесные пожары, насекомых, цветы, паводки, звёзды, уживающийся с северной клюквой дикий виноград, вечную мерзлоту, непоющих птиц, величественный Амур…

Почтовый адрес поэта-арестанта не раз менялся, хотя сам он пока оставался на старом месте. Осенью 1940 года Заболоцкий сообщает, что наконец переехал со Старта в сам Комсомольск (п/я 99/к, Штабная колонна): «Условия жизни изменились. Живём теперь в тепле». Путь до работы и обратно составлял 12 километров. Это было «отчасти даже и хорошо, т. к. это время проводим на свежем воздухе и в движении», но сократилось время отдыха, и поэт сильнее уставал. Зато теперь он работал «в настоящем большом каменном здании» с паровым отоплением и «некоторыми удобствами». Признавался: «Я так отвык за эти годы от настоящих домов, что вначале даже странно было видеть себя в обстановке городского дома. В бараке, где живём, удобства меньше, но зато тепло». В 2014 году – не без труда и не с первой попытки – в этом самом каменном здании по улице Вокзальной, 47 открыли мемориальную доску работы скульптора Надежды Ивлевой со странноватой надписью: «Выдающийся поэт… работал на объектах Нижнеамурского управления ИТЛ в г. Комсомольске-на-Амуре». Нет указания ни на связь Заболоцкого именно с этим зданием, ни на его статус заключённого, зато появились некие «объекты»…

В конце 1940 года Заболоцкому выпала срочная работа: «Исполняю обязанности и художника, и чертёжника, и кого хочешь». Речь идёт об оформлении лагерного клуба под началом вышеупомянутого Ажаева, уже вольнонаёмного. Обед в эти два месяца Заболоцкий получал из «вольной» столовой и писал жене: «Если бы ты знала, как это вкусно после двух лет лагерного питания». Вениамин Каверин вспоминал, что Заболоцкий рассказывал: Ажаев был «маленьким начальником», держался «средне» – не зверствовал, но и не потакал.

В Комсомольск в эти годы теми или иными путями попадали совершенно неожиданные люди. Например, в 1941–1942 гг. здесь работал диктором радио (скончался от последствий контузии, полученной при бомбардировке Москвы немцами) Ллойд Паттерсон – отец негритёнка Джима из знаменитого фильма «Цирк». Несколько позже сюда же попал осуждённый по политической статье Мирон Мержанов – «личный архитектор Сталина», строивший дачу вождя и Бочаров Ручей, рисовавший Золотые Звёзды Героев Советского Союза и Социалистического Труда. Здания для строящегося Комсомольска он проектировал ещё на воле, за решёткой занялся тем же самым.

В мае 1943 года Заболоцкого перевели в Сибирь – в село Михайловское Алтайского края, находящееся юго-западнее Барнаула, в Кулундинской степи. Здесь он попал на добычу озёрной соды – в отнюдь не курортную атмосферу (в 1958 году, незадолго до смерти в возрасте 55 лет, поэт писал: «Здоровье моего сердца осталось в содовой грязи одного сибирского озера»). Болел, лечился, снова попал в чертёжники. Пятилетний срок истёк весной, но Заболоцкому сказали, что он оставлен в лагере до конца войны. В августе 1944-го, однако, поэт был освобождён, в общей сложности пробыв в заключении шесть лет и пять месяцев. Хотя это, как он писал жене, было ещё «не совсем полное освобождение»: по директиве № 185 Заболоцкого оставили при лагере вольнонаёмным. Но зато уже в ноябре 1944 года к нему приехала жена с детьми.

Весной 1945 года Заболоцкий – в Караганде: работает в строительном управлении, завершает поэтическое переложение «Слова о полку Игореве». В начале 1946 года он вернётся в Москву, восстановится в Союзе писателей, Фадеев «пробьёт» его первую книгу. Но реабилитируют поэта только в 1963 году – посмертно.

В неволе Заболоцкий стихов почти не писал или почти ничего не сохранил. Тем не менее доктор филологических наук Вячеслав Муромский (сборник «Николай Заболоцкий и его литературное окружение».

СПб., 2003) констатирует: «Последствия пребывания Заболоцкого в ссылке для его творческой биографии неоднозначны: в физическом смысле она подорвала его здоровье и сократила ему жизнь, а в духовном – провела через такие испытания, которые заметно повлияли на мировосприятие поэта, видоизменили стилистику стиха, приблизив его к простым и ясным классическим формам».

К лагерным стихам Заболоцкого относят «Лесное озеро» (1938), «Соловья» (1939). Связанными с неволей считаются «Творцы дорог» (1947), где фигурируют экскаваторы, бикфордовы шнуры и аммонал, и «В тайге» (1947) об амурских лесорубах:

…Обнимая огромный канадский топор,
Ты стоишь, неподвижен и хмур.
Пред тобой голубую пустыню простёр
Замурованный льдами Амур.

И далёко внизу полыхает пожар,
Рассыпая огонь по реке,
Это печи свои отворил сталевар
В Комсомольске, твоём городке…

Здесь же можно вспомнить «Возвращение с работы» (1954) и «Где-то в поле возле Магадана…» (заметим, что в Магадане и вообще в Колымском краю поэт не бывал) 1956 года о замерзающих стариках-зэках:

…Жизнь над ними в образах природы
Чередою двигалась своей.
Только звёзды, символы свободы,
Не смотрели больше на людей.
Дивная мистерия вселенной
Шла в театре северных светил,
Но огонь её проникновенный
До людей уже не доходил…

Из «Творцов дорог»:

Нас ветер бил с Амура и Амгуни,
Трубил нам лось, и волк нам выл вослед,
Но всё, что здесь до нас лежало втуне,
Мы подняли и вынесли на свет.
В стране, где кедрам светят метеоры,
Где молится берёзам бурундук,
Мы отворили заступами горы
И на восток пробились и на юг.
Охотский вал ударил в наши ноги,
Морские птицы прянули из трав,
И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.

Сам Заболоцкий незадолго до освобождения, в мае 1944 года, писал жене: «Ты пишешь – “жизнь прошла мимо”. Нет, это неверно! Для всего народа эти годы были очень тяжёлыми. Посмотри, сколько вокруг людей, потерявших своих близких, они не виноваты в этом. Мы с тобой тоже много пережили. Но мимо ли нас прошла эта жизнь? Когда ты очнёшься, отдохнёшь, разберёшься в своих мыслях и чувствах, – ты поймёшь, что недаром прошли эти годы… Время моего душевного отчаяния давно ушло, и я понял в жизни многое такое, о чём не думал прежде. Я стал спокойнее, нет во мне никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми её радостями и великими страданиями, которые выпали на нашу долю».

Успокаивал, утешал – её, себя? Может быть. И всё-таки…

Слуцкий вспоминал, как Заболоцкий однажды ответил на вопрос о лагере: «И плохо было, и очень плохо, и очень даже хорошо».

Город неба и юности

Это раньше города росли как бы сами по себе, веками. Комсомольск возник сразу – как новый, образцовый, совершенный город. Первый коммунистический, воплощённая утопия, Город Юности, Аэроград. Расчерченный на вырост строго и в то же время свободно, как Петербург. С широченными проспектами, тротуарами, зелёными зонами. Придуманный, искусственный, расчётливо смонтированный, словно корабль или самолёт. Как алхимический сплав, не сводимый к сумме своих слагаемых, он сконструирован из советской мечты, нанайского стойбища, аэроклуба Маресьева и чертежей Заболоцкого. Его новые звёзды – родившиеся здесь чемпионы: лыжница Юлия Чепалова, гребец Иван Штыль…

В сотне километров ниже по Амуру в 1986 году методом всесоюзной комсомольской стройки был зачат последний советский город – Баневур, которому прочили роль центра химической промышленности. Но скоро всё закончилось – деньги, люди, планы… Закончился сам Советский Союз, и его последнее детище безжалостно абортировали. От Баневура осталось несколько коттеджей для строителей, в фундаменте одного из которых спрятана капсула с посланием комсомольцам 2017 года. Адресат выбыл – навечно.

Зато несколько лет назад в Приамурье родились космодром «Восточный» и город Циолковский – потомок Комсомольска и более везучий собрат Баневура.

В Комсомольске-на-Амуре живёт почти 250 тысяч человек – много по дальневосточным меркам. Он считается промышленным центром: авиа- и судостроительный заводы, НПЗ, металлургия, газопровод… В 1959–1993 гг. город был закрытым. В 1990-е получил неформальный статус криминальной столицы Дальнего Востока.

От Хабаровска сюда ходят тепловозы – железнодорожная ветка до сих пор не электрифицирована.

На амурском берегу – памятник первостроителям: пятеро бронзовых комсомольцев. Из-за того, что они вооружены кирками и лопатами, памятник прозвали «За червями».

Знаменитый «дом со шпилем», образец сталинского ампира, с лозунгом на фасаде: «Труд в СССР – дело чести, доблести и геройства».

Бывшее кафе «Чародейка», ныне банк, – место разборки, после которой лидер дальневосточной группировки «Общак» Евгений Васин, он же Джем, попал за решётку, откуда уже не вышел.

Многие герои 90-х лежат на кладбище, которое в народе зовётся «Стартом», – из-за того самого посёлка Старт, пригорода Комсомольска. В этом названии, пожалуй, есть что-то религиозное.

«Мало создавать города – надо создавать людей», – писала забытая Вера Кетлинская в романе «Мужество» о строительстве Комсомольска-на-Амуре. С людьми теперь – сложнее всего. Тем более на Дальнем Востоке. Отсюда валом уезжают на запад: «А что тут ловить?»

…Чего не отнять у советской власти – придумать дело (даже так: Дело) она могла. Это теперь осталось бессмысленно торчать в офисе у компьютера либо столь же бессмысленно охранять этот офис в угрожающей униформе.

Мечта не всегда выживает в столкновении с реальностью, да и с самой человеческой природой, но это не означает, что нужно перестать мечтать.

Лётчик Алексей провёл в Комсомольске около трёх лет, поэт Николай – около четырёх. Они строили город, а сама эта территория изменяла и строила их.

Маресьев и Заболоцкий никогда не встречались друг с другом, но они навсегда связаны дальневосточным городом, в истории которого, как и в биографиях его знаменитых строителей, отразился весь русский XX век с его зигзагами и штопорами, провалами и взлётами, – этим непостижимым высшим пилотажем судьбы.

Герман САДУЛАЕВ

Российский писатель, публицист. Родился в 1973 году в селе Шали Чечено-Ингушская АССР. После окончания школы уехал в Ленинград, где поступил на юридический факультет университета.

Автор ряда книг художественной прозы и публицистики. Сборник «Я – чеченец!» переведен на испанский, немецкий, английский, польский и шведский языки. Рассказы Садулаева включены в антологии современной русской литературы на английском языке, Academia Rossica в Великобритании и Rasskazy в США. Финалист премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга».

Живёт в Санкт-Петербурге.

НЕЖНОСТЬ В ПАЛЕОЛИТЕ

Из цикла «Симбиотическая антропология. Записки дилетанта»

1

Кажется, мы сильно преувеличиваем брутальность древнего человека. Мы полагаем, что мы сентиментальные, эмоционально лабильные, а наши древние предки были суровыми, бесчувственными, агрессивными, чёрствыми, холодными и жестокими. Потому что иначе было не выжить. Но такие представления свойственны каждой культуре в любую историческую эпоху. Люди всегда считают себя мягкотелыми, изнеженными, а своих предшественников – строгими, суровыми и более мужественными. Об этом писали и китайцы, и античные авторы, и даже Михаил Лермонтов: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри – не вы!»

Но если посмотреть внимательно, порыться в источниках, то мы нигде не находим этого древнего сурового человечества. Всякий раз оно нежное и чувствительное. И всякий раз ссылается на неведомых далёких предков, которые, это уж точно, были из железа и камня. Помнится, когда я впервые посмотрел голливудскую экранизацию «Илиады», фильм «Троя» (2004) с Брэдом Питтом в роли Ахиллеса, я страшно возмущался тем, что греческий герой показан как по-девически чувствительный персонаж. Особенно когда он грустит по убитому в битве Патроклу. Мне казалось, что это анахронизм, голливудская интерполяция современных представлений об эмоциональности. Но потом я обратился к переводам и пересказам первоисточника (рекомендую, например,

книгу Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции») и увидел, что создатели фильма скорее преуменьшили, чем преувеличили чувствительность героя. В «Илиаде» Ахиллес катался по земле, рвал на себе волосы, рыдал, отказывался от пищи и покончил бы с собой, если бы не был полон решимости отомстить за друга. Вместе с ним плакали и рыдали другие греческие воины, чуть ли не всё войско. Это была какая-то коллективная истерика. Совсем не похоже на скупую скорбь суровых воинов, привыкших видеть смерть.

В шумерском эпосе рассказывается о дружбе между Гильгамешем и Энкиду. Когда Энкиду умер, Гильгамеш метался над телом мёртвого друга совсем как Ахиллес над Патроклом, рвал на себе волосы и одежды. И навсегда погрузился в великую скорбь.

Был ли Энкиду любовником Гильгамеша или нет, это неважно. В эпосе говорится, что «Гильгамеш любил Энкиду больше, чем женщину», но не «как женщину». Больше – это о силе любви. И Патрокл вовсе не обязательно был любовником Ахиллеса, а не только побратимом. И даже если кто-то кому-то и был не просто другом, это не отменяет удивительной дружеской нежности. И чем-то похоже на трогательные отношения между Есениным и Мариенгофом. Я думаю, здесь сексуальность – это вообще не предмет для обсуждения. Акцентируя внимание на возможном сексуальном аспекте дружбы древних героев, мы уходим далеко в пустое и бессмысленное, профанное, жёлтое, низкое восприятие странных для нас проявлений сильного чувства. А ведь дело совсем в другом.

Если представить себе, что детство человека в какой-то степени повторяет «детство человечества» (как онтогенез повторяет филогенез), то мы находим правильный образ и подходящее сопоставление. Был ли у вас в детстве друг, единственный и самый лучший, без которого вы не мыслили себе жизнь? С которым было всегда интересно играть, с которым вы были готовы проводить сутки напролёт, и бегать по двору днями, и разговаривать обо всём на свете ночами? С которым у вас были страшные никому-больше-не-рассказывай секреты? Разве вы не могли бы сказать, что любите его больше, чем женщину? Какие женщины, где они были вообще? А с ним вы и дрались, и ссорились, и мирились, и шли на опасные дела, и на всё были готовы ради дружбы. А потом детство вдруг закончилось. Вы повзрослели. И теперь у вас, у нас, у всех, много друзей, ещё больше приятелей и знакомых, но такого, лучшего, единственного, как Патрокл для Ахиллеса, как Энкиду для Гильгамеша, такого друга уже нет и, наверное, никогда не будет. Потому что мы стали не чувствительней, напротив, мы стали скучнее и холоднее.

И разве не то же самое могло произойти и со всем человечеством?

2

Древние тексты изобилуют рассказами о великих и сильных чувствах: между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, между друзьями, соплеменниками, эмоциональные связи возникают и у ещё недавно незнакомых друг с другом людей: гостем и хозяином, попутчиками и так далее. «Сильна, как смерть, любовь». Можно сказать, что иногда это литературное преувеличение, вводимое автором, чтобы сделать произведение более интересным читателю или слушателю. Но само то, что «сильные чувства» привлекают людей в искусстве (а также в религии, в мифе, в любой литературе), говорит о запросе, о потребности человека в эмоциях, и такая потребность была ничуть не меньше в древности, чем сейчас. А возможно, и больше. Индийские эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна» по эмоциональной насыщенности, пожалуй, превосходят бразильские сериалы. Мы смеёмся над современными индийскими фильмами за их бесхитростную сентиментальность («Ты мой брат, с которым меня разлучили в детстве! А это наша мать! А это наш отец! А теперь музыка! И мы все танцуем!»). Но основные сюжетные ходы продукции Болливуда повторяют «разработки» древних сказаний, которые так нравились людям, что передавались веками изустно, слово в слово. Да и мы, посмеявшись, втягиваемся и уже через пятнадцать минут сами плачем над фильмом («Ну надо же! Оказывается, она его сестра! Вот почему он так её полюбил! Чистой любовью, как сестру! А теперь, когда наконец всё выяснилось и всё стало хорошо, он умирает!»). И нет ничего более ранящего сердце, чем история Ситы и Рамы, сохранившаяся в нескольких версиях «Рамаяны».

Любовь сильна не только к людям. Небесная танцовщица Урваши полюбила земного царя и жила с ним счастливо, но порвала отношения, когда небесные воины-музыканты, гандхарвы, похитили двух её ягнят, которых она нежила, как сыновей. А мудрец и аскет Бхарата презрел плоды своего аскетизма, привязавшись к оленёнку. Это всё тоже из Древней Индии.

Зря мы думаем, что древний человек не понял бы нас, когда мы мечемся по всему городу, ища хорошего ветеринара для своей больной кошечки, когда мы переживаем смерть своей собаки, как уход члена семьи, когда мы плачем даже над засохшим на подоконнике цветком. В чём-то другом он, древний человек, может быть, и не понял бы нас. Может быть, он не разделил бы нашего трепетного отношения к резаной цветной бумаге, которую мы называем «деньги». Может, ему показался бы скучным наш малоподвижный образ жизни. Но наша жалость к животным его бы совершенно не удивила. Он бы сел и переживал вместе с нами: и о кошечке, и о собачке, и о цветке. Даже если бы сам он был суровым воином, украшенным глубокими шрамами и ожерельем из человечьих зубов. Храбрость в бою вовсе не означает, что человек не будет плакать над кошечкой или собачкой. Ещё как будет.

3

Однако может быть раньше, до самых древних текстов, до глиняных табличек с клинописью и устных сказаний, на заре человечества, в верхнем палеолите человек был суровым и строгим? Давайте подумаем, почему мы могли так решить.

Прежде всего к этому нас пытается склонить наука. Вот небольшой научно-популярный фильм немецких кинематографистов «Хомо сапиенс против неандертальца. Сражение древних людей» (2017). Мы видим реконструкцию повседневной жизни предков нашего вида, кроманьонцев. Они бродят по степи или по лесу в поисках случайных одиноких животных. Это у них охота такая. Племя тем временем голодает. Кроманьонцы постоянно голодные, еды у них нет ни для себя, ни для гостя из соседнего племени, пришедшего свататься. Может показаться, что это похоже на правду. И что мы сохранили привычки древнего человека: когда мы попадаем в отель на «всё включено», то у «шведского стола» ведём себя как охотники, которые завалили мамонта; стараемся набить пузо покрепче, потому что когда ещё удастся вдоволь поесть?

Значит, ни времени, ни душевных сил на эмоциональные проявления у древнего человека не было. Он всё время до истощения охотился или искал еду, засыпал голодным и грезил только о пище. Время было тяжёлое. Природа была скудна, ледниковый период же! А ещё и вулкан взорвался и засыпал половину планеты пеплом. Выживали люди с трудом, колбаса была дефицитом, совсем как в Советском Союзе.

Но мне кажется, что это могло быть и не вполне так. И жизнь кроманьонцев была не совсем такой, как показано в данной реконструкции (а также и во многих иных реконструкциях и научных гипотезах). И вот почему.

Во-первых, значение охоты как основного, едва ли не единственного, способа добыть пищу, и, соответственно, значение свежего мяса в рационе древнего человека опять же преувеличено. Существенно помогало пропитанию человека собирательство растительной органики (которое потом, мы не знаем когда, но очень, очень давно, ещё до полномасштабной «неолитической революции» переросло в огородничество). Или даже наоборот. По крайней мере для некоторых популяций человека растительная пища могла быть основной, а мясная – дополнительной и необязательной. И здесь я говорю не только о тропиках, где всегда есть какие-то фрукты и овощи. Но и о нашей родине, о Евразии, покрытой тогда тундростепью (мамонтовой прерией). Что мы знаем об этом ландшафте?

Например, то, что сухость климата и большое количество солнечных дней способствовали произрастанию обильного разнотравья, высотой до 2 метров. Эти травы осенью высыхали и превращались в «сено на корню», и всю зиму они стояли, не засыпаемые снегом. Потому что снега было мало (вся вода в ледниках), а трава очень высокая. И круглый год травой-сеном питались крупные травоядные животные: бизоны, лошади, мамонты, носороги. Так и разрослась в окололедниковой степи мегафауна, которая позже пришла в упадок вместе со всем биомом. Но вот что ещё интересно: травяной ярус «мамонтовой прерии» формировали злаки.

А человек всегда любил и ел злаки. В кишечнике ледяной мумии древнего человека Этци обнаружили остатки не только мяса, но и кореньев, и фруктов, и отрубей, которые были сделаны из злаков. Правда, Этци жил всего около 5 тысяч лет назад. Однако нет никаких сомнений в том, что и более древние люди всегда, когда могли, употребляли в пищу дикие злаки. Следы злаков обнаружены на каменных жерновах, которым более 100 тысяч лет. И зубы древних людей по степени сточенности могут свидетельствовать о регулярном употреблении злаков. Есть множество свидетельств употребления злаков в пищу древним человеком. И вообще, было бы глупо, если бы он их не ел. Особенно в степи, где полным-полно этих злаков, где так много злаков, что ими кормятся и мамонты, и носороги. В чём проблема найти пропитание маленькому племени людей?

Правильная реконструкция добывания пищи древним человеком в Евразии, наверное, могла бы выглядеть так: группа людей идёт в зарослях двухметровой дикой «пшеницы» и быстро срезает себе несколько мешков колосьев, которые потом, дома, обмолачивает на камнях, растирает и ест. И этой «пшеницы» было столько, что никаких проблем с пропитанием никогда не должно было возникнуть. «Хлеб всему голова». Хлеб – основная и достаточная пища человека ещё с древних времён. И, может быть, потому человек стал возделывать пшеницу искусственным образом, самостоятельно высаживать, что не мог без неё, а в природе с исчезновением биома «мамонтовой прерии» злаки перестали так обильно расти. Осталась только мечта, сон, воспоминание земледельца о «золотом веке», когда пшеница росла сама собой круглый год и была выше человека.

Злаков было достаточно, едва ли человек голодал, но и сладкого, и мясца тоже хочется. Потому что человек всеяден и любит питаться разнообразно и вкусно. И охота тоже, конечно, осуществлялась. Но к охоте древнего человека, как она показывается в реконструкции, тоже есть вопросы.

Во-вторых, охота и мясо. Вряд ли человек бродил как потерянный идиот по степи в надежде встретить случайное животное. Человек потому и человек, что может планировать и предвидеть. Скорее всего, он знал места, куда животные гарантированно приходят, например к водопою. Или пути их миграции. Шёл в нужное место и получал что искал. На раскопках знаменитой стоянки Солютре во Франции обнаружены скелеты тысяч лошадей, которых человек забивал, видимо, загоняя в естественный кораль на пути миграции (кстати, почему-то маленьких жеребцов не трогал, то ли оставлял в табуне на развод, то ли забирал себе, чтобы приручать; а время было раннее, около 30 тысяч лет назад). И много есть ещё свидетельств крупных удачных охот древнего человека. Хотя это всегда больше похоже не на охоту, а на бойню, на массовый забой домашнего скота, практикуемый и ныне.

В-третьих и в связи с предыдущим. Древний человек, видимо, очень рано начал приручать животных. Это был ещё не одомашненный скот, просто немного ручные дикие звери. И потому животная пища тоже была у него под боком, не надо было ходить и искать её в прерии. И не только мясо, но и молоко. Человек научился доить животных очень давно. Исследователи были весьма удивлены, обнаружив, что краски некоторых древнейших наскальных рисунков замешаны на животном молоке. Странно было бы, если бы человек, который добывал молоко для красок, не додумался его пить.

Из этого мы можем сделать по крайней мере два вывода.

Первый. Древние люди вряд ли регулярно голодали. Пищи, и растительной, и животной, у древнего человека хватало. Тому есть немало подтверждений. Напротив, следов массовой или периодической гибели древних людей от голода и истощения, кажется, нет. Я ни разу не встречал отчёта палеоантропологов о том, что «этот древний человек, судя по его останкам, всю жизнь очень плохо питался и умер от голода». Массовый и регулярный голод – это позднее «изобретение» человечества, голодоморы начались после «неолитической революции», когда человек нарушил равновесие с ландшафтом, размножился сверх квоты и стал зависеть от искусственного и интенсивного сельскохозяйственного производства.

Второй. Добывание пищи, будь то собирательство или охота, не было изурительным, изматывающим занятием, которое отнимало всё время и силы древнего человека, не оставляя ничего для эмоций и отношений. Напротив. Собственно, «за еду» человек, вероятно, трудился мало и редко. Может быть, женщины больше, чем мужчины: если женщины собирали и обрабатывали злаки. А для мужчин охота была не скучной работой, а приключением, как для нас поход на футбол с последующим мордобитием. Всё остальное время, то есть большую его часть, человек изготавливал какие-нибудь поделки (чтобы вырезать

из слоновой кости одну «палеолитическую венеру», надо заниматься этим десятки, а то и сотни часов, а такими «венерами» завалены все стоянки) или «строил отношения», как в телешоу «Дом-2».

Это косвенно подтверждается и этнографическими данными. Исследователи, знакомившиеся с бытом племён, которые в недавние времена жили по стандартам каменного века, отмечали, что люди живут просто, но не трудно, не работают много и тяжело, а оставляют время и уделяют много внимания семье и прочим социальным отношениям.

4

Вовсе не надо понимать вышесказанное как ностальгию по «утерянному раю» или «золотым пещерным временам». Время было действительно тяжёлое. Голода и изнурительного труда, скорее всего, не было. Но опасностей хватало. Древних людей косили болезни и травмы. Охота на крупных животных, даже очень хорошо спланированная, дело смертельно опасное. А ещё человек и сам был не только охотником, но и жертвой. Если продолжать говорить о Евразии, то в степи ледникового периода обитали страшные звери: носороги, пещерные медведи, гиены, волки и львы. И дополнить реконструкцию сбора злаков можно трагическим эпизодом: невидимые в высокой траве, подкрадываются к людям хищники. Мяса в человеке, конечно, меньше, чем в бизоне или в лошади, не говоря о мамонте. Но и убить человека проще. Он не растопчет и даже убежать не сможет.

Эта кажущаяся беззащитность «голой обезьяны» оказалась обманчивой. Благодаря уму, храбрости и оружию человек успешно сражался с хищниками. Да, немало находят останков древних людей, съеденных гиенами и львами. Но не меньше и черепов львов и гиен, пробитых каменными топорами древнего человека. Так что весь палеолит война между хищниками и людьми велась на равных: каменное оружие и интеллект человека создали ситуацию паритета с клыками, когтями и мышечной силой хищников. А вскорости человек ещё и приручил некоторых хищников, которые стали его «живым оружием»: точно приручил волков, но, возможно, пробовал приручать и львов, и гиен. Натравливал львов на гиен, а гиен на львов. Волков на всех. То, что сохранился только одомашненный волк (собака) – это дань специализации; волк ведь не только хищник, но и «пастух» своих стад, каковым стал и человек. А гиена, видимо, показалась человеку какой-то не очень красивой. Ну и лев. Приятная кошечка. Но слишком большая. Можно мне такую же, только поменьше? Чтобы, когда запрыгивает на постель, не переламывала мои рёбра? Спасибо.

Главное же, что тяготы жизни древнего человека вовсе не приводили к эмоциональному оскудению. И, борясь за существование, древние люди не становились чёрствыми и бесчувственными. Мне кажется, напротив: чувственность в мире древних людей процветала.

5

Прежде всего это касается эротической чувственности: романтических отношений и любви между молодыми мужчинами и женщинами, которые создавали палеолитические семьи. Беспорядочные половые связи всех со всеми не характерны для человека. Время от времени в человеческом обществе (или в отдельном человеке) случается всплеск

промискуитетных желаний. И человек пускается во все тяжкие, а общество устраивает карнавал, фестиваль, маскарад или корпоратив. Но это чаще всего просто сброс вредных отходов чувственного производства, излишнего эротического и психического напряжения.

Легализованная полигамия тоже не соприродна человеку. Потому что она подразумевает высокий уровень экономической, социальной, психологической репрессии. Ведь если у одного мужчины может быть четыре жены, то это значит, что трое мужчин останутся совсем без жён. И надо их либо убедить, что жёны им не нужны, либо подавить их желания. Гаремный социум быстро становится жёсткой иерархией по модели стада павианов. Такие социальные структуры случаются в жизни людей и целых народов, но они, как правило, архаичны, неэффективны и несчастны. Нормальный человек не захочет жить в жестоком криминальном сообществе, а если вспомнить арабские страны, то там хорошо только шейхам, у которых и золото, и жёны. Простые арабские юноши, которые не могут купить себе даже одну жену, на надувных матрасах плывут в Европу, надеясь, что там, если доплывут и не утонут, они смогут познакомиться с какой-нибудь девушкой (часто их задавленная эротичность проявляется, увы, как промискуитетный синдром).

Однако человек и не моногамен, как мифические «лебеди» (формирование одной пары на всю жизнь вообще редко встречается у млекопитающих, чаще у птиц). Человек слишком подвижен и изменчив в чувствах. Однако для одного и того же мужчины нормально иметь отношения в одно время с одной женщиной, а для одной женщины – с одним мужчиной. Потом отношения прекращаются и люди заводят другие отношения. Но в каждый конкретный период люди моногамны. Это называется серийная, или сериальная, моногамия. Как в сериалах.

Сериальная моногамия есть наиболее естественная для человека и для человеческого общества модель семейно-брачных, а также любовно-эротических отношений, которая, с одной стороны, обеспечивает надёжность социума и заботу о потомстве, а с другой стороны – реализацию высокой эмоциональности и эротичности человека, его тягу к новым привязанностям и отношениям. В свободных от социальной, политической и религиозной репрессии условиях человек всегда стихийно переходит к сериальной моногамии. Так, например, в современной Европе ещё недавно жёстко навязывался «христианский брак» как пожизненная моногамия. Но в реальности «святость уз» часто нарушалась. А как только сила религиозной репрессии ослабла, европейцы де-факто перешли к сериально-моногамным отношениям. Если модернизировать и секуляризовать брак в исламских странах, то и там, несомненно, произойдёт то же самое (на самом деле уже происходило при светских реформах в Турции, Египте и пр.).

Такова природа человека. Поэтому мы можем не сомневаться в том, что самую длительную часть своей истории, несколько десятков тысяч лет верхнего палеолита, человек разумный строил семейные отношения в парадигме сериальной моногамии. То есть племена каменного века состояли из моногамных семей. Но семейные союзы между мужчинами и женщинами палеолита не всегда были пожизненными. Случалось, и наверняка довольно часто, что мужчина находил себе другую женщину и расставался или полурасставался с прежней (полурасставание с прежней женой довольно распространено и в современной жизни), или женщина находила себе другого мужчину и уходила к нему.

Или и мужчина, и женщина находили себе новых брачных партнёров и расставались, формируя другие союзы.

А теперь примем во внимание такой момент. Общества охотников и собирателей каменного века были малочисленны. Люди жили маленькими группами по 15–30 человек, в одном, двух или трёх жилищах. Периодически соседские группы собирались на «фестивали», где одновременно проживали, пировали, праздновали, совершали ритуалы и обменивались новостями, слухами, сплетнями и дарами от 50 до 300 человек. Из этих «фестивалей» чуть позже выросли племена: просто «фестиваль» решили не распускать, а продолжать жить вместе. Это стало целесообразным, когда на крупных копытных животных стали не только охотиться, но и сопровождать их в миграциях, «пасти», оберегая от хищников и от других людей; когда стало необходимо защищать свои стада, свои территории сбора (а потом и посева) злаков от нападений; в общем, уже где-то ближе к неолиту, хотя, думаю, раньше, чем завершилась «неолитическая революция».

Известно такое явления как патрилокальность древних людей. То есть, мужчины древнего общества, как правило, жили и умирали в той группе и в той местности, где родились. А вот женщины иногда были из другой группы и из другой местности. То есть женщинами обменивались. Или женщин добывали. Скорее всего, обмен свободными женщинами планово происходил между группами одного протоплемени (не надо думать, что это была какая-то купля-продажа женщин, что женщины были не субъектами, а объектами дарительных церемоний; скорее всего, формой обмена были «вечеринки», «гляделки», танцульки и соревнования, где молодые или немолодые, но свободные либо уставшие от прежних отношений мужчины и женщины высматривали себе «новую любовь», как это делается и сейчас на всяческих увеселительных мероприятиях; при недостатке женщин могли устраиваться турниры между мужчинами, такие турниры имеют, кажется, очень, очень древнюю историю). Гораздо реже удавалось заполучить женщину из дальнего племени: в результате войны или далёкого опасного похода.

Но основной средой формирования новых связей были та же самая маленькая группа людей, проживавших компактно, и фестиваль нескольких групп, собиравшихся регулярно. Потому ещё, что человеку, для формирования устойчивой привязанности и влечения, надо видеть свою будущую временную половинку и всячески с ней контактировать. А вот это: наскочить на стоянку врага, мужчин убить, а женщин забрать себе в жёны – случалось, наверное. Но было чревато трудностями и разладом. И к новым мужьям женщины могли не чувствовать симпатии, особенно если те убили их прежних мужей и детей. Да и мужчинам непонятные незнакомые женщины не обязательно должны были полюбиться. Человек ведь существо привязчивое и сентиментальное. Поэтому чаще всего любовь случалась всё же либо дома, между людьми одной группы, либо на фестивале, между людьми соседских групп.

Что мы в результате получаем? А получаем мы «Санта-Барбару». Или то же самое, что за несколько лет всегда случается во всех более или менее закрытых коллективах: все пары пересочетаются друг с другом во всех вариациях. И что это создаёт? Правильно, колоссальную эмоциональную напряжённость.

Представим себе группу, состоящую из пяти семей. В этой группе одна жена в одной семье получена из далёкой земли при мутных обстоятельствах: она плохо знает язык племени и живёт ещё несколько диковато. Назовём её Ай. Ай присматривает за двумя детьми своего мужа, назовем его Эх, оставленными прежней женой, но не очень хорошо присматривает. Однако беды в том нет, так как за ними присматривает также их мать, прежняя жена, назовём ее Ой. Ой никуда не делась, она просто вышла замуж за другого мужчину той же группы, назовём его Ух. Ух раньше был женат на другой женщине из той же группы, назовём ее Ий. Но у них целых два года не было детей, и Ий на очередном фестивале ушла от Ух в другую группу, обвинив мужа в бессилии. Однако бесплодной была сама Ий, потому что Ой в первый же год забеременела от Ух и теперь на сносях. На том же фестивале третий мужчина группы, Ых, нашёл себе жену, Уй. Детей у них пока нет, но всё ещё впереди. Четвёртая семья – это Ех и его жена Юй. А пятая семья – это Ях и его жена Ый. Раньше Ех был женат на Ый, а Юй была замужем за Ях. Но потом они разонравились друг другу, и как-то так случилось, что поменялись. У них несколько детей, за которыми они присматривают вместе, так как всё равно живут рядом, а каждый ребенок кому-то из четверых родителей свой родной. Юй вообще-то немолодая, ей уже 30. Она успела раньше побывать женой старого отца Ух, но потом ушла от него, и теперь старый отец Ух живёт без жены, но ему жена, кажется уже и не нужна, слишком он старый, 40 зим пережил. Ый всего 24, но она тоже успела побывать замужем за молодым охотником, братом Эх и Ех, который, однако, погиб: его затоптали носороги. Ех и Эх родные братья, Ух им двоюродный брат, а Ях и Ых, кажется, тоже двоюродные, но по матери. Ай здесь никому не родня. Ой сестра Ых. Ий была двоюродной сестрой Ух. Ый и Юй, обменявшиеся мужьями, родные сёстры друг другу. Уй из другой группы, она здесь никому не родная, но, если говорить правду, то Ий, двоюродная сестра Ый и бывшая жена Ух, ушла на фестивале в ту же группу, откуда пришла Уй и вышла замуж за старого отца Уй, у которого жена умерла, отравившись плохой водой; теперь, говорят, Ий плачется, что опять ей достался бессильный мужчина, потому что отец Уй, хоть и имел много детей, теперь стал старым и больше любит сидеть у костра и рассказывать байки, чем охотиться или ласкать свою молодую жену.

Это выглядит запутанно и забавно. Но нет особых сомнений в том, что семейные, родственные, брачные и романтические отношения в малых группах и в небольших племенах древних людей были именно так запутаны и переплетены. И теперь представьте себе при этом, что древним людям было не всё равно. Что они не были забывчивы и бесчувственны. Они были лиричны, романтичны, эмоциональны и сентиментальны не менее, а может быть, и более, чем мы. И каждое расставание всегда было трагедией и катастрофой. И слёзы лились, и бились глиняные горшки (иногда о чью-нибудь голову), и разрывались с трудом пошитые кожаные одежды. И гнев был, и ревность, конечно, тоже была. Но была и светлая романтика новых отношений: взгляды, полные неги, полевые цветы у порога хижины возлюбленной, обещание вечной любви (нет, у нас не будет так, как у соседей, наша любовь раз и навсегда!). А потом были странные чувства, когда каждый день около своей хижины, либо раз в полгода на фестивале, встречаешь свою бывшую, а у неё теперь другой муж, и она хорохорится, делает вид, что счастлива, но смотрит на тебя тоже с какой-то грустью и, кажется, немного скучает по тебе.

И когда это не случайное совпадение, когда это массовое явление, когда каждый друг другу либо бывший, либо бывшая, либо, может быть, будущий или будущая, хотя пока с другой или с другим, а тут ещё дети под ногами, мои дети от прошлой жены, которые не любят мачеху, да и мачеха их не любит, хотя странно, почему, я ведь хорошо отношусь к её ребёнку, которого она привела в нашу семью, потому что её муж погиб, и всё так сложно, ведь я и сам не обрадовался, когда мой отец после смерти матери женился на другой женщине, я ведь даже ушёл тогда из хижины и три дня ночевал в степи, – когда это так, то сложно, тяжело, фон слишком насыщенный, слишком вязкий, слишком много любви и, может, потому люди стали объединяться во всё более крупные сообщества, чтобы разбавить концентрацию чувств, и потому ещё люди стали разбегаться, расходиться друг от друга в разные стороны, подальше от своих «бывших», чтобы с глаз долой – из сердца вон, да так разбежались, что добежали до Новой Зеландии и Огненной Земли.

6

Понятное дело, что здесь читатель может заподозрить обычный грех литератора, что-то сочиняющего про «древние времена»: привнесение представлений, понятий, образов и в целом мироощущения, свойственного современности (тот самый грех, в котором я сам обвинял создателей фильма «Троя»). Можно сказать, что, дескать, древний парень не дарил девушке цветов. А древняя девушка не знала ревности. Что человеческая «любовь» – это продукт поздней культуры, что она вырастает более из прочитанных в юности стихов, романов, из просмотренных кинофильмов «про любовь», чем из природы. Что именно таких эмоций древний человек мог и не знать.

Что можно ответить? Да, именно таких мог и не знать. Мог знать другие эмоции. Но, скорее всего, очень похожие. Потому что, с другой стороны, у нас нет ни единого доказательства, что когда-либо существовало это мифическое «древнее общество строгих и суровых людей, чуждых сантиментов и озабоченных только борьбой за существование в этом суровом и опасном мире». Все тексты, которые дошли до нас с самых древних времён и которые были составлены на основе ещё более древних сказаний, наверняка восходящих к палеолиту, рассказывают нам об очень сентиментальном, очень эмоциональном, гиперчувствительном человеке. Сам человеческий язык, лучший памятник человеческой культуры, свидетель первой зари человека, не просто описателен, но очень эмоционален. Язык пронизан токами симпатии и антипатии. Язык говорит нам о том, что главной системой ориентации человека во все времена была не ось север – юг, не запах пищи, не социальное доминирование, а любовь, поиск любви и нежности. И человек разумный, человек говорящий – это человек любящий, человек нежный. Хотя да, любовь человека может порой принимать весьма и весьма странные формы. И самые страшные преступления вдохновлены не ненавистью, куда там ненависти! А любовью.

7

Но оставим отношения между людьми. И вернёмся к животным. В 2018 году вышел на экраны снятый в США режиссёром Альбером Хьюзом художественный фильм «Альфа». Это история о том, как 20 тысяч лет назад молодой человек из племени кроманьонцев приручил волчицу. Фильм, конечно же, снят по голливудским лекалам: в нужные моменты держит в напряжении, где-то вызывает печаль, где-то заставляет улыбаться, а в конце вышибает обильную слезу умиления. И очень-очень-очень мало соответствует тому уровню знаний об эпохе, которого достигла наука.

Модный российский антрополог Станислав Дробышевский записал видео со своей научной рецензией на фильм. В рецензии Дробышевский около получаса громит фильм, найдя в нём 77 ошибок. И с большинством замечаний нельзя не согласиться, ведь ляпы заметны даже дилетанту.

Действительно, что это за время года? Почему люди в меховых одеждах, но без шапок? Водки, что ли, напились? Что за ландшафт? Почему вокруг какая-то куцая голая пустыня? Где травы двухметровой высоты, которыми кормились мамонты и бизоны? Почему люди такие дебилы? Почему, почуяв и услышав в ночи хищника, они не вскочили на ноги, не стали трясти оружием и громко улюлюкать, чтобы отпугнуть врага, как это и ныне делают охотники диких племён и как наверняка делали все люди всегда. Почему они продолжают тихо сидеть у костра спиной к опасности? Что это за лев-самоубийца, который нападает на кучу вооружённых охотников? Или он как-то заранее знал или понял, что это не обычные охотники, а дебилы? Почему, когда хищник унёс одного из людей в ближайшие кусты, они не кинулись отбивать товарища или хотя бы отомстить за него: один глупый лев против дюжины мужчин с копьями, ножами и топорами – у дикой кошки не было бы ни единого шанса победить или выжить. Вместо этого они ждали, пока лев сожрёт мальчика. Зато наутро они поставили мальчику «мавзолей» вынув откуда-то раскрашенные булыжники, которые они, видимо, таскали с собой ради такого случая. Зачем люди идут охотиться на бизонов за несколько сот километров от своего жилья? У них что, ближе бизонов нет? Как они собираются потом тащить домой добычу? Каждый возьмёт по две бизоньи туши на каждое плечо и пронесёт несколько сот километров? Если они знают, где пасутся бизоны, а ближе к их жилью бизонов нет, то не проще ли своё стойбище перенести ближе к пастбищу бизонов? Ведь именно так и делали древние люди, это наверняка. И много ещё чего можно заметить.

Однако модный учёный Станислав Дробышевский, мне кажется, несправедлив, когда начинает укорять создателей фильма в единственном, что, на мой взгляд, могло соответствовать исторической реальности: в чувственности, эмоциональности, эмпатии, сентиментальности главного героя и вообще древних людей. Я понимаю, что Дробышевский находится под сильным влиянием концепции, которую сам же он, как и многие другие физические антропологи, продвигает: древний человек был самым успешным и самым опасным хищником палеолита. Следовательно, считают физические антропологи, он был коварным, жестоким, агрессивным и довольно чёрствым. «Иначе было не выжить в те тяжёлые времена». Странно, что во все времена мы слышим некоторое оправдание или призыв к чёрствости, к бесчувственности, потому что якобы «иначе не выжить». Вот сейчас капитализм, тоже по-своему «тяжёлые времена», и человек опять должен быть бездушным и эффективным, чтобы достичь успеха, «стать самым успешным хищником», потому что «такие времена», и только бизнес, ничего личного.

Давайте разберёмся сначала с концепцией. Она насквозь лжива и основана на подмене понятий. Древний человек не был «самым успешным хищником палеолита». Человек вообще никогда не был хищником. Человек, наверное, был охотником. Человек всеяден, он может питаться и растительной, и животной пищей. Но человек не хищник. Хищник – это понятие из мира животных. Называть человека «хищником» – это сильно биологизировать его. Но и с точки зрения биологии человек на хищника не похож. У человека нет естественных инструментов и способностей для охоты, пищеварительная система человека допускает усвоение мяса, но лучше подходит для растительной пищи, образ жизни человека не соответствует хищному, психика человека устроена иначе, чем у хищника, агрессия человека – это не естественный нормированный автоматизм хищника, а скорее психическая патология травоядного, порождённая страхом и стрессом. Охота, особенно на крупных животных, стала доступна человеку только в силу его человеческих способностей, не заложенных в нём биологией и анатомией: с помощью оружия, интеллекта, коллективной организации, планирования и предвидения. Поэтому по-человечески человек может быть охотником, но биологически человек не может быть хищником.

Мне кажется, что развитие охотничьих и вообще боевых способностей человека шло сначала от потребностей обороны, а не от потребностей нападения. Слишком долго человек был лёгкой добычей для множества хищников: львов, пантер, гиен, волков, стервятников. Кажется, это был всегда такой «план Б» для любого хищника: «Что, сегодня опять нет нормальной еды? Ни оленя не удалось добыть, ни бизона? Ладно. В крайнем случае, мы всегда можем поймать голую бесхвостую обезьяну. На обед, конечно, маловато. Но для ужина вполне сойдёт: на ночь много есть вредно».

Человек начал вооружаться и познавать тактику боя не для того, чтобы добывать еду, а для того, чтобы его самого не съели. Обезьяны прячутся от хищников на деревьях, в степи копытные могут быстро убежать или повернуть табун на врага и растоптать его, какие-нибудь мелкие зайцы и суслики тоже могут попытаться убежать или забиться в нору. Когда человек вышел в открытую степь, ему негде было прятаться. Он не мог бежать так быстро, как лошадь, и даже всем племенем люди не смогли бы никого крупнее суслика «затоптать», но человек был также и не столь мелок, чтобы укрыться под кустиком или забиться в норку. Поэтому человеку оставалось только встретить опасность лицом к лицу и вступить с хищником в бой.

Человек так и сделал: он встал в степи в полный рост и принял сражение. У человека были преимущества, с помощью которых он организовал оборону: оружие, интеллект и речь. Прошло какое-то время, и хищники скорректировали своё отношение к человеку. Хищники несли большие потери. Фронтальные нападения на группы людей заканчивались фиаско. Можно было охотиться только на одиноких людей, на больных, на отбившихся от людской стаи, на детёнышей. Но с таким же успехом можно охотиться на больных львов или на львят. Заканчивается такая «удачная охота» акцией мщения: люди приходят к логову гиен и устраивают «гиеноцид», убивая всех до единого взрослых и забирая себе щенков.

Пещерный человек редко жил в пещерах. В пещерах сыро, неудобно, опасно. В пещерах человек иногда прятался, иногда рисовал или совершал ритуалы, в пещерах люди хоронили останки родичей, в пещерах их поедали хищники, поэтому часто кости древних людей или следы их творчества находят в пещерах. Древний человек предпочитал жить на открытой местности и почти всегда устраивал стоянку на господствующей высоте. Физические антропологи, одержимые концепцией «охоты», полагают: это чтобы лучше видеть добычу, чтобы издалека наблюдать миграции животных. Мне кажется, что на самом деле человек занимал высоту, чтобы организовать оборону. Прежде всего от хищников. Потом и от других людей, своего или иного вида. Лучшее место для стоянки – «лысая гора», холм со скудной растительностью и хорошим обзором подходов к жилищу, чтобы враг не мог подкрасться незамеченным. И во всякое время суток кто-то стоял на страже. Человек не прятался. Человек не боялся быть видимым всем. Главное, чтобы он сам тоже всё видел. И его пусть видят. Пусть видят хищники и боятся: это место занято человеком, опасным противником, вот его хижины, вот дым его огня, вот на кольях ограды черепа убитых медведей. Хищники так себя не ведут. Хищники прячутся, стараются, чтобы добыча не знала, где они, не видела их.

Хищники поняли, что человек – плохая добыча. Человек – соперник, враг, но и коллега. Хищники «признали» за человеком право на его «охотничью территорию». Хищники решили, что человек – это тоже такой хищник. Потому что бизоны, хотя они большие и сильные, не приходят всем стадом мстить львам даже после того, как львы сожрали пару отбившихся от стада бизонят, а просто боятся и предпочитают держаться от львов подальше. Человек, эта вчерашняя голая обезьяна, оказался отмороженным на всю голову и бесстрашным. Он не только защищается, но и переходит в контрнаступление, убивая и прогоняя врагов. Нет, подумали хищники. Человек только похож на обезьяну. Это обманчивая схожесть. Человек произошёл не от обезьяны. Наверное, человек – это брат волка. Хищники стали держаться подальше от человека, а некоторые волки стали с ним «сотрудничать».

А человек сначала просто убивал хищников, чтобы хищники не убили его. Поскольку человек всеяден, то убитых хищников он наверняка съедал: почему бы и нет? И даже обладая оружием древние люди долго жили преимущественно на растительной диете, употребляя мясо только от случая к случаю (до сих пор такой рацион наиболее естествен и полезен для человека: каждый день разнообразная растительная пища, иногда как дополнение – животная). Однако, постоянно находясь в контакте с хищниками (не только в боевом контакте, но и приручая щенков и котят), люди стали «смотреть на себя глазами хищников» и увидели в себе хищников, и стали охотиться «как хищники», но на самом деле как люди. Человек стал охотником в результате сложной интеграции в биоценоз, в результате интеграции по особому, человеческому типу, фактически в результате «социализации» и симбиотизации. Так человек стал охотником, но хищником он не стал. Потому что хищником невозможно стать. Хищником можно только родиться.

8

Что же конкретно не понравилось Станиславу Дробышевскому, а мне, наоборот, понравилось, в фильме «Альфа»? Это проявление главным героем, а позже и другими людьми нежности к животным и к их детёнышам. Антрополога удивляет, что главный герой, палеолитический подросток, пожалел раненную им же самим волчицу. Когда она осталась одна и жалобно скулила, умирая, он, вместо того,

чтобы добить зверя (как не задумываясь, считает Дробышевский, сделал бы любой древний человек), он её выходил и приручил. Кормил, поил, но обращался с ней довольно строго, давая понять: в их маленькой стае, стае волчицы и человека, он, человек – главный. Но что в этом странного и удивительного? Парень всё правильно сделал. Именно так и поступал человек. Не всегда, но довольно часто. Почему и смог приручить невероятное количество животных. И волчица в фильме повела себя естественно для стайного животного. Рассказывают, что ручная гиена в Африке (которую, оказывается, довольно просто приручить, если взять её щенком) при виде хозяина издаёт особый (весьма противный) «рыгающий» звук: точно такой же, каким дикая гиена приветствует старшего по статусу в собственной стае зверя.

Учёный говорит, что настоящий древний человек увидел бы в раненой волчице только две вещи: шкуру и мясо. А потому сразу убил бы, мясо съел, а в шкуру закутался. Но, мне кажется, так поступил бы только глупый древний человек. Который не выжил. А выжил умный древний человек. Который увидел, что волк – это не мясо и шкура, а друг и оружие. Живое оружие. Самонаводящееся оружие. С автономным ресурсом. Идеальное! А ещё это такое оружие, с которым можно обниматься, разговаривать, которое будет смотреть на тебя преданными глазами и нежно лизать тебя шершавым языком в лицо. Оружие, страшное для врага. Неотвратимое для жертвы. Но милое и смешное для друга-хозяина.

В фильме волчица не раз спасала героя в его долгом пути домой. А потом он сам принёс её, ослабевшую, к родной стоянке, и потерял сознание. И люди её не убили, а тоже вылечили. И когда она родила волчат, то обрадовались и приняли волчат в своё племя. Дробышевский считает, что это сопли, нюни и неправдоподобная чушь. На самом деле, говорит нам модный учёный, люди увидели бы в волчице три вещи: опасность, шкуру и мясо. И сразу бы её убили. А если бы не убили сразу и дождались, пока она ощенится, то убили бы её потом и её кутят радостно бы убили. Потому что тоже мясо, детское, вкусное.

А мне кажется, что, напротив, эта кровожадность древних людей – выдумка и чушь. По Дробышевскому, когда древний человек видел маленького, пищащего, только что родившегося кутёнка или котёнка, то он должен был сразу, отвратительно хохоча, размозжить головку бедного детёныша о камень и жадно выпить его тёплые мозги. Но с чего наш профессор это взял? И если такая кровожадность была в древнем человеке, то куда она потом делась?

Представьте себе, что вы видите, как какой-то человек берёт щенка или котёнка, разбивает ему голову и жрёт его мозги, пьёт кровь и вырывает внутренности. Вы, наверное, решите, что этот человек – опасный психопат. Даже если вы сами ходите ради забавы на охоту, стреляете белок и лисиц, а на обед любите ростбиф с кровью. Всё равно, подумаете вы, убивать котят – это как-то слишком. А жестокий придурок наверняка психически больной, от которого лучше держаться подальше. И вы будете правы. Это психопат. Нормальный человек, даже сам Дробышевский, не сможет убивать котят и щенят. Увидев маленький пушистый комочек, любой нормальный человек расплывается в улыбке, хочет этот комочек взять на руки, погладить и даже поцеловать, приговаривая: ути-пути!

Мы решили, что древний человек был другой. Он был жестокий и кровожадный. Не такой, как мы. Но если древний человек был жестоким

психопатом, то кто же тогда и как приручил и одомашнил наших собак, кошек, лошадей и коров? Нет. Человек всегда был заботливым и нежным. Он ухаживал за ранеными и больными животными. Он выкармливал оставшихся без родителей детёнышей. Потому что человек – это нежность.

9

Возникает закономерный вопрос. Как же такой милый и добрый человек всех этих животных ел? Ведь человек всех прирученных и одомашненных зверей забивал на мясо. Есть исследование истории собак, в котором доказывается, что даже первые породы «лучшего друга человека» человеком употреблялись в пищу. Несмотря на то что собака наверняка уже тогда помогала человеку в охоте, в охране жилища и так далее. И мне кажется, что странная «успешность» человека в охоте объясняется тем, что убивал он зачастую не диких животных, а своих, в той или иной степени приручённых или из в той или иной степени контролируемого табуна. То есть он был как бы не совсем охотником, а скорее гибридом охотника и скотовода, с самого начала таким был. Домашнее животное – это ходячий холодильник с мясом. Никуда ходить и никого искать не надо. Проголодался? Убил и съел.

Так как же древний человек был одновременно таким мягким, таким эмоциональным, таким влюблённым и таким циничным? А очень просто. Так же, как и современный человек. Все умиляются фотографиям «котиков», многие держат собак, хомяков, птичек, некоторые до сих пор любят лошадей, а в селе и коров любят, дают коровам имена, разговаривают с ними, гладят и целуют в умные коровьи морды. И те же самые люди почти все, почти каждый день едят мясо птиц и животных. Такая в человеческом обществе процветает шизофрения.

В древнем обществе шизофрении было меньше. Потому что древние люди не только животных, но и людей ели. Да, животные принимались в племя людей как свои, как родные. При этом их убивали и ели. Ну так и людей тоже убивали и ели. И, возможно, не только и не столько врагов. А и родных. И не только из-за голода. А от большой, невыносимой любви. Я же говорил, что любовь порождает великие преступления. Людей и домашних животных приносили в жертву. Приносили в жертву богам, чтобы показать свою любовь к богам, но и к жертвам тоже, ведь быть принесённым в жертву – это самая лучшая участь для любого живущего существа, которое всё равно обречено на смерть и распад. Убив любимого, мы отправляем его душу на высокое небо, к звёздам, а тело его, съеденное племенем, становится племенем, становится вечным. Когда мы говорим «самопожертвование» ради, например, нации или родины, мы до сих пор имеем в виду ровно то же самое.

10

Есть множество теорий о ритуале, о том, как и почему возник ритуал, в чём его смысл и назначение. Я не буду их пересказывать, это тема для отдельной статьи или даже книги, а моя заметка о нежности в палеолите и так непомерно разрослась. Но я как сентиментальный писатель и дилетант хочу сказать о том, что учёными часто упускается из виду. Ритуал – это чистая эмоция. Это проявление привязанности и любви. Ритуалы происходят от нежности человека.

Исследователи «Ригведы», обратив внимание на чувственную сторону древних гимнов, с изумлением отметили, что обращения к богам наполнены не только страхом, преклонением и просьбами о защите и благах, но и чистой бескрайней любовью, и светлой печалью, и нетребовательным упованием. Послушайте сами: «Если уж так случилось, о истинный, о пьющий сому, что мы живём, словно без надежды, дай же нам, о Индра, надежду!» Или ещё: «И пусть хулители наши говорят: а другого-то вы лишились, оказывая почтение только Индре. Пусть назовут нас счастливыми: только у Индры мы хотели бы быть под защитой!» (Переводы Т.Я. Елизаренковой.)

Христиане говорят, что христианство стало первой религией любви человека к Богу и любви Бога к человеку. Считается, что «бхакти», индийская традиция любовного почитания Божества, возникла в Средние века. А раньше люди имели «магическое мышление», или устраивали со своими богами торг «милость в обмен на жертву», или просто боялись сверхъестественного, обожествляя страшные и могучие силы природы. Но это снова наше предубеждение по отношению к древнему человеку.

В самых ранних ритуалах и молитвах мы находим нежность, привязанность, любовь к божеству. Без нежности ритуалы теряют смысл, становятся просто социальной функцией. Человек переполнен нежностью. Ему оказалось мало любви к людям, любви к животным, к земле, к природе, он проецировал свою нежность на небеса и всегда хотел только одного: попасть под поток ответной нежности, льющейся с небес. И пусть эта нежность принимает форму даров, дождя для посевов и обилия скота, главное в даре не сам дар, а любовь, которая проявлена как щедрость. Поэтому жертвоприношение – это не рынок, как научают нас инфицированные капитализмом редукционисты, не эквивалентный обмен товарами, а обмен дарами как обмен любовью и нежностью. И это всегда было с человеком. И это и есть человек.

И все обряды навеяны любовью. Когда мы изучаем древнее захоронение людей, которых после смерти красиво нарядили, посыпали охрой, положили с ними их любимые вещи и бережно закопали, мы делаем выводы: эти люди уже имели какую-то религию и верили в загробную жизнь; они старались облегчить участь своих покойников на том свете. Всё так, всё правильно. Но ещё они просто любили их. Просто любили. Поэтому так красиво одели и оставили им красивые и полезные вещи; потому что есть ли загробная жизнь или её нет, но любовь точно не заканчивается со смертью.

И когда мы видим рисунки древнего человека на стенах пещер, то мы гадаем, что это было: магия? Имитация удачной охоты? Ритуал? Инициация? Обучение? Просто живопись, выплеск эмоций, воспоминаний? Это может быть всё что угодно или что-то ещё, но удивительно то, что бизоны и лошади нарисованы слишком, избыточно тщательно и красиво. И в этом не было никакого особого смысла ни для магии, ни для учёбы, ведь хватило бы и схематического изображения, но единственный смысл был в нежности и любви, которые художник испытывал к тому, что он видел и кого он рисовал.

11

Итак, если реконструировать жизнь человека в палеолите, то мы увидим нечто удивительное и непривычное, хотя и такое знакомое нам по современной или недавней истории. Для начала с высоты птичьего

полёта окинем взглядом стоянку древних людей. Она на вершине холма, это всего две или три хижины, сложенные из костей огромных животных, из веток и шкур. Мы снижаемся или делаем zoom и вдруг замечаем, что кроме людей у стоянки «тусуются» всевозможные животные, видимо, прирученные человеком: вот какие-то псовые, то ли волки, то ли собаки, грызут кость или грызутся за кость. Поодаль лежит, кажется, кот, но слишком большой для кота. Блеет привязанная кожаным ремешком к колышку коза. На уступе чуть ниже жилищ пасётся… нет, этого не может быть… неужели они и его приручили? Это же маленький, видимо, ещё не взрослый, но всё же… шерстистый носорог!

Воздух прохладный, но небо ясное, солнышко пригревает, и на площадке между хижинами сидят женщины, растирают зерно и о чём-то негромко разговаривают или поют. Играют полуголые дети. Старик вытачивает из бивня мамонта фигурку. Молодые парень и девушка уединились за хижиной и молчат, держа друг друга за руки. А там муж и жена поссорились, и муж в сердцах хлопнул шкурой-дверью и пошёл искать утешения у своего носорога: обнимает его и тычется носом в морду. Сердитая женщина дала подзатыльник некстати подвернувшемуся под руку мальчику. Мальчик утёр слёзы и присел рядом со стариком. Спрашивает:

– Деда, а что ты всё время точишь и точишь?

– Это Мать.

– А зачем она?

– Потому что она – это любовь. Она любит нас и заботится о нас. А мы любим её.

– А зачем эта любовь? Любовь делает слабым! Надо быть сильным и смелым охотником! Тогда у тебя будет вдосталь мяса и все будут тебя любить, а ты можешь никого не любить!

– Нет, любовь не получишь за мясо.

– Но тот человек, который приходил к нам и хотел поменять свои шкуры на оружие, он говорил…

– Всегда будут люди, которые говорят, что нужно быть жестоким и сильным, иначе не выжить в наше тяжёлое время. Но они лгут. Все сильные и жестокие погибнут. Выживут только нежные. Выживут только нежные.

Алексей ШОРОХОВ

Родился в 1973 году в Орле. Окончил филологическое отделение Орловского педагогического университета, Литературный институт имени А. М. Горького. Участник событий октября 1993 года, гуманитарных миссий на Донбассе. Постоянный автор журналов «Москва», «Наш современник», газет «Завтра» и «День литературы», интернет-изданий «Свободная пресса» и «Русская народная линия».

Автор семи книг стихов, трёх книг публицистики и культурно-философских эссе, двух книг прозы. Лауреат международных и всероссийских премий. Стихи и проза переведены на сербский, болгарский и якутский языки.

Секретарь правления Союза писателей России, член приёмной коллегии Союза писателей России. Живёт в Москве.

«ФАРТУК МЯСНИКА», ОН ЖЕ – «ЮНИОН ДЖЕК»

Фильм Black ‘47 и брезгливость к английскому флагу

Наверное, они ближе всех нам во всей так называемой Европе. Уж точно ближе бывших славян, всяких там поляков, чехов и прочих украинцев. За исключением, разумеется, сербов и болгар… Но это уже и не Европа – это Балканы. И здесь не один сапог завоевателя ногу сломал. В этот сапог засунутую…

А эти… «зелёный остров», Ирландия… Любят выпить, поют свои песни. Чтут Бога – по-русски, по-аввакумовски: «держу до смерти, якоже приях». То есть, получив латинскую схизму шесть веков назад – держат её навсегда. Ирландец – это католик. При этом он может быть троцкистом. Но – католиком…

Они – единственные (как и русские), кто надавал по шее свирепым викингам, основавшим все доныне существующие европейские династии. Включая английскую.

Правда, мы потом своих варягов позвали (уже побеждённых) к себе же – учить воинскому ремеслу и мирить вековечное славянское междоусобье. Ирландцы же потерпели два века и попросили вообще – вон. Потеряв при этом, увы, одного из немногих за всю историю своих собственных королей – мунстерского короля Бриана Бору и три четверти войска.

Они единственный народ, который, не имея ни собственной государственности, ни регулярной армии, – уже тысячу лет остаётся самим собой. При этом, при этом…

Вот бывает же так, что хорошее, доброе, породистое и миролюбивое что-то родится рядом с логовом хищников. И никуда, никуда от них не денешься, потому что кругом море. Ну нельзя же, в самом деле, отцепить свой замечательный, изумрудный остров – и уплыть подальше. Вот и приходится уже тысячу лет глядеть на кровавые дёсны и клыки не в добрый час посланных соседей. Но глядеть строго, как только и умеет народ, единственный, на островах, сохранивший себя. Потому что шотландцы и прочие валлийцы на сегодняшний день, по большому счёту, всего лишь этнографические завитушки, кельтские матрёшки и балалайки на фоне развесёлого английского флага, Юнион Джека. Чего про ирландцев не скажешь.

Им есть что помнить. И британский флаг «фартуком мясника» назвали именно они.

…В девяностых – двухтысячных в мировом киноискусстве появился такой феномен – «новое ирландское кино». Увенчанное каннскими пальмами и прочими орденами за заслуги перед европейским отечеством.

Но даже – первыми легализовавшие однополые «браки», «продвинутые борцы» с родным (аутентичным самой нации) католичеством – все эти «культурные деятели», готовые ради чечевичной похлёбки Евросоюза на многое и очень многое, тем не менее даже и они темнеют лицом при одном только слове: «англичане».

И дело не только в том, что северная часть острова с самым большим в Ирландии городом – до сих пор оккупирована Англией. Дело в памяти.

Фильм Ленса Дейли Black`47 («Чёрный сорок седьмой», Ирландия, 2018 год) посвящён именно этому. В нём показаны события Великого голода 1845–1849 гг., разразившегося в Ирландии, пик этого голода пришёлся на чрезвычайно холодную для мягкого островного климата зиму 1846–1847 гг.

Можно назвать множество причин этого голода, но главную авторы фильма называют безошибочно – Англия. Именно английская политика колонизации Ирландии привела к тому, что практически все земли острова перешли к английским или шотландским лендлордам, что важно, протестантам. Собственно, водораздел в Ирландии проходил и проходит до сих пор по этой черте: католик/протестант, ирландец/англичанин.

Соответственно, католики-ирландцы оказались на своей земле в роли «арендаторов». Шесть седьмых населения страны.

В фильме это тоже нашло очень зрелищное отражение в эпизоде, когда английские протестанты за чашку супа перекрещивают умирающих от голода ирландцев-католиков.

При непомерной и всё возраставшей арендной плате завезённый из Америки в 1590 году картофель стал спасением для ирландцев, и больше трети пахотных земель отошло под него. Потому что зерновые культуры засевались для лендлордов, на продажу.

В середине сороковых годов девятнадцатого века неурожай нескольких лет подряд поставил страну и нацию на грань вымирания – по самым скромным подсчётам, до полутора миллионов человек погибло от голода, ещё столько же эмигрировало в Северную Америку. В результате Великого голода и английской колониальной политики население острова сократилось с восьми миллионов в начале девятнадцатого века до четырёх миллионов к началу двадцатого, то есть вдвое.

Был ли этот голод неизбежен, когда закрома английских лендлордов ломились от зерна, приготовленного для вывоза в Англию, – вопрос риторический. Создатели фильма не произносят этого слова, но оно совершенно неумолимо возникает перед зрителями Black`47 – это **геноцид**.

В кадре о нём свидетельствуют слова английского лендлорда, который, глядя на валяющихся по обочинам дороги ирландцев, с улыбкой произносит: «Скоро ирландцы-кельты станут в Ирландии так же редки, как краснокожие индейцы на Манхэттене». Здесь нужно остановиться, потому что важно. Подчёркивается именно расовое: «кельты» (как и «краснокожие»). Если вы до сих пор думаете, что Гитлер созрел в Германии – перечитайте историю англосаксов.

Жанр фильма скорее можно определить, как атмосферный боевик. Потому что атмосфера жуткого голода и разора в стране воссоздаётся буквально в соответствие с гравюрами Бриджит О'Доннел и аутентичной ирландской музыкой.

Тем не менее это боевик – в нём есть герой, требующий справедливости и отмщения. И есть враги. С ними не всё так однозначно.

Дезертировавший из оккупационной группировки в Афганистане солдат Британской империи Фини (актёр Джеймс Фрешвилл, Австралия) возвращается в родную Ирландию, чтобы забрать семью и эмигрировать в Америку. Вместо семьи он находит могильные холмики и видит то, что мы уже описали. У него же на глазах английские констебли и слуги лендлорда убивают семью его сестры.

Опытный воин в одиночку начинает творить воздаяние. Его самосуд изощрён и неотменим, несмотря на все меры предосторожности и усиленную охрану. По следу Фини решают пустить полицейского констебля Ханну – бывшего сослуживца Фини по Афганистану, осуждённого за убийство подозреваемого. Ханну играет Хьюго Уивинг (тоже Австралия), известный ролями агента Смита («Матрица»), Элронда («Властелин колец»). Дуэт двух выходцев из страны-доминиона Британской империи получается впечатляющим, учитывая и завязку фильма – спасавшие на войне друг друга парни знают о справедливости что-то такое, что недоступно ни английскому судье, ни молоденькому лейтенанту королевских войск, ни престарелому лендлорду. В череде погонь и перестрелок Ханна ожидаемо жертвует собой и своей свободой, не давая застрелить боевого друга, а тот, в свою очередь, спасает от расстрела разжалованного констебля, но получает смертельную рану.

Режиссёр выбирает открытый финал и оставляет Ханну, похоронившего Фини, на развилке дорог – перед выбором: продолжить дело мести или поспешить на пароход, отплывающий в Америку.

Но вне зависимости от того, что решит герой – главное очевидно: с английским флагом для него навсегда покончено.

И здесь ещё один важный современный подтекст фильма: английские солдаты и сегодня, как и двести лет назад, участвуют в действиях оккупационной группировки в Афганистане (в составе сил НАТО). Что их ждёт по возвращении домой? Как они это возвращение воспримут? И что они почувствуют, глядя на английский флаг?

Марина КУЛАКОВА

Родилась в Горьком. Окончила филологический факультет Горьковского госуниверситета и Высшие литературные курсы при Литинституте имени А. М. Горького. Работала учителем в сельской школе, занималась газетной, теле- и радиожурналистикой в Нижнем Новгороде. Была инициатором создания и соредактором журнала Urbi (1991).

Публиковалась в журналах «Нева», «Москва», «Новый мир», «Нижний Новгород» и других. Автор ряда сборников стихов и эссе. Стихи переводились на сербский, немецкий, английский, грузинский, армянский языки. Руководитель объединения «Светлояр русской словесности». Член Союза российских писателей. Живёт в Нижнем Новгороде.

РУССКИЙ МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР СКВОЗЬ «НЕНАСТЬЕ»

Перечитала «Ненастье» Алексея Иванова.

Что случилось? Шофёр инкассаторской машины совершил виртуозное ограбление и увёз во тьму ненастья кучу денег, десятки миллионов в мешках, – куда больше, чем рассчитывал. Маленький человек, социальное «никто», «винтик» – вдруг встал поперёк и застопорил, на долгое мгновение остановил гигантскую человеческую мясорубку. Встряхнул огромный механизм, перемалывающий человеческие судьбы и качающий деньги.

За это долгое мгновение в «магическом кристалле» романа мы вспоминаем и видим, что произошло за двадцать лет – в 80-е, 90-е, нулевые – до 14 ноября 2008 года, когда Герман сдвинул на карабине флажок предохранителя, наблюдая, как в бронеотсек спецфургона «фольксваген» загружают мешки с деньгами.

Герман Неволин по кличке Немец не ставит перед собой амбициозных целей, он понимает, что вряд ли сможет восстановить справедливость. Но один из основных мотивов его – любовь к маленькой многострадальной женщине. И память о друге-командире. Им движет воинское начало в сочетании с очень важной чертой мужского характера. Он не волен убивать. Он не волен не любить.

Этих «не» очень много в «Ненастье». Из всех отрицаний, из всех невозможностей возникает такой многоугольник и многогранник, в котором мы видим нашу жизнь, со всеми нашими несчастьями… и в нём живёт, мерцает свет – вопреки всему.

Герман Неволин – солдат, маленький человек, способный на дерзкий бунт. Он был свидетелем и участником многих боевых действий,

и в Афгане, и в России, которую язык не повернётся назвать мирной. Он был участником «Коминтерна», – союза афганцев, созданного его командиром и другом Сергеем Лихолетовым.

На момент начала романа Лихолетов десять лет как убит, – дважды предан, вопреки его любимой идее: «афганец афганца не подставит, не закажет, не предаст». «Заказан» майором Щебетовским и убит в упор – телохранителем и шофёром Яном Сучилиным.

«…Лихолетов был мёртв уже десять лет. Но он жил в душе и памяти, он задавал вопросы и ждал ответы. Серёга искренне считал, что он круче всех, но своё превосходство (в меру своего понимания) использовал во благо ближних. Он вообще был нацелен на людей: жаждал одобрения, восхищения, зависти…»

Лихолетов – атаман, вариант Стеньки Разина (характер, в литературном контексте во многом сопоставимый с шукшинским героем романа «Я пришёл дать вам волю»). Лидер природный, биологический, как лев во главе своего прайда, с почти звериным чутьём на удачную охоту (войну, набег, захват, добычу), хотя и не лишённый благородства в отношении к людям, и не лишённый потребности верить: «…тебе самому нужно кому-то верить. Бога-то нет. Коммунизм мы решили не строить. А причина, чтобы верить другим, всё равно нужна. Всегда должны быть свои. И нужен способ превратить чужих в своих. Вот Афган и стал таким способом…»

Таким способом Сергей Лихолетов создаёт «Коминтерн» – союз ветеранов Афганистана, уникальную организацию, которая, по сути, представляла собой модель России 90-х – нулевых. Модель эта во многом отражала суть России вообще – в её мужском, силовом варианте. «Коминтерн» – одновременно общественная организация, корпорация разных бизнесов, начатых «афганцами», и вооружённое формирование.

Так же, как древние русы, – воинская каста, – «афганцы» захватывали и заселяли «земли» – дома на Сцепе, захватывали Шпальный рынок, отражали набеги и наезды вооружённых противников. Воевали и торговали завоеванным, награбленным. Вспомнился опять же Шукшин: «Струги донцов ломились от всякого добра, которое молодцы “наторговали”… саблей, мужеством и вероломством»… Жаль, что рядом с саблей и мужеством всегда вероломство.

Лихолетова, взятого штурмом (для чего пришлось вызвать отряды СОБРа из других городов), посаженного в клетку, сменяет на посту командира «Коминтерна» Егор Быченко, который «всё решал силой, как на войне, и властью, как в армии». Он «поднимается» до элитной квартиры и крутой машины, жена – директор огромного рынка...

Бычегор убит в порядке кровного мщения средь бела дня в переполненном трамвае. Потом во главе афганцев становится Каиржан Гайдаржи, которому задатки торгового дипломата, успешного бизнесмена и миротворца не помогли долго продержаться на командном посту.

За многими событиями рядом с командирами стоит «парень тренированный и крепкий. Морда русская, приятная, только очень напряжённая и застывшая». Виктор Басунов.

Щебетовский «был убеждён, что просчитал этого бульдога. Лакей с амбициями. В пределе – самолюбивый киллер. Такой всегда делает больше, чем приказано, чтобы продемонстрировать свою незаменимость; на переборе его можно и подловить, чтобы потом использовать в своих целях».

Фильм Урсуляка, утрамбовавшего сюжет в рамки 90-х, называют тяжёлым, страшным, дискредитирующим «афганцев», «антилиберальным и труднопатриотическим».

Книга оставляет другое ощущение. В ней трагическое умножение отрицаний и жертвоприношений даёт таинственный, парадоксальный результат. Там очень важна линия Вечной Невесты, «агнца» – Танюши Куделиной.

Особый разговор о женщинах в «Ненастье». Лена Быченко, Марина Моторкина, Нелька Ныркова, Анжела Граховская, мать и старшая дочь Куделины – хозяйки жизни. Расчётливые, хваткие, сильные, красивые, жестокие до свирепости, одна другой круче… отчего не могут они удержать свою удачу, свою добычу, уплывающую во тьму, в небытие? И почему, зачем терзают они все безответную «овцу» – Таню Куделину?..

В истории, рассказанной Алексеем Ивановым, много сердечной боли, много войны и насилия, поэтому 18+. Но ещё и юмора много. Смех – падение интеллекта с большой высоты в живую жизнь, в повседневный Батуев, в родную нестоличную Россию.

История правдива. Основана на реальных событиях.

Есть ли в «Ненастье» на вечной русской войне и временном перемирии – нормальные люди? – не бандиты, не грабители, не позёры, не алкоголики, не сумасшедшие тренеры?..

Есть. Ну вот, к примеру, Володя Канунников, человек, с которым Герман Неволин обсуждает, обговаривает, осмысливает свою жизнь. Он сам, его судьба, семья – такие есть, и их немало.

Но в странном боевике «Ненастье», в этом русском многограннике, жизнь показана в острых своих гранях.

Все грани остры, об каждую можно порезаться.

А что касается экранизации… Урсуляк снял кино очень близко к сердцу книги, но понять это можно только по прочтении.

На мой взгляд и слух, поразителен щемящий, светящийся космический крест из трёх песен в фильме. И моя память, и память моего поколения, миллионов людей, распята на этом кресте детства, юности и зрелости:

в первой серии – «Где-то там, за седьмым перевалом, вспыхнет свежий, как ветра глоток, – самый радостный и небывалый, самый волшебный цветок…» –

в середине орлятский «Звездопад»: «С неба лиловые падают звёзды, – даже желанье придумать непросто… на небосклоне привычных квартир пусть загорится звезда Альтаир…»

И в самом финале, на титрах – «А зима будет – большая…»

Это стоит читать, смотреть, слушать, осмысливать и переосмысливать.

Литпроцесс

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Родился в 1941 году в Горьком. Окончил химический факультет Горьковского госуниверситета и более 40 лет проработал на Горьковском автомобильном заводе.

Крупнейший в России коллекционер пародии, эпиграммы, шаржа, исследователь сатирических жанров, автор 12 книг по этой тематике и более сотни статей в российской периодической печати. Лауреат премий имени Горького (2006, 2012) и «Бриллиантовый Дюк» (Одесса, 2013).

Живет в Нижнем Новгороде.

«СИЖУ, ПИШУ НА ВАС ПАРОДИИ…»

О творчестве Николая Симонова

Более десяти лет назад в обзорной статье о состоянии дел в нижегородской пародии я отмечал Николая Симонова как наиболее активного пародиста. За прошедшее время кое-что изменилось. Благодаря набравшему силу фестивалю иронической поэзии в Кстове в пародийную деятельность оказалось вовлечено немало новых авторов. Однако конкуренцию Симонову никто из них составить не смог, за исключением тоже кстовчанина Олега Захарова. Можно считать, что на сегодняшний день они возглавляют отряд нижегородских пародистов.

Николай Васильевич Симонов в нижегородской литературе известен давно: знаком читателям по публикациям в периодике, в местных и московских альманахах и антологиях. На его счету девять книг, он член Союза писателей России, руководитель литературного объединения «Волга», лауреат многих премий и конкурсов. Немаловажен и тот факт, что его поэтическая деятельность развивалась параллельно с его основной работой судосборщика на стапелях «Красного Сормова». Его заводской стаж насчитывает более сорока лет.

Творчество Симонова разнообразно. В основном он выступает как поэт сатирического плана (литературные пародии, иронические стихи, переделки известных стихотворений), но у него немало стихов, посвящённых размышлениям об особенностях мироустройства, о несуразностях бытия, о религии и православии. Знакомясь с книгами и публикациями Симонова, невольно обращаешь внимание на обширную сферу его интересов. Это и история (начиная с всемирной и заканчивая краеведением), и фольклор (сказочный, песенный и проч.), и мифология, и, конечно, литература – и мировая, и отечественная. Знания его не поверхностны: если бы кому-то пришло в голову составить перечень упомянутых в его стихах и пародиях географических названий или имён знаменитостей, они заняли бы не одну страницу.

Бесспорно, основной его интерес сосредоточен на литературных пародиях. Уже в первой его книге имелся раздел пародий. Со временем они занимали всё большее место в его творчестве: в первой книге – четверть объёма, во второй – половину, в третьей – две трети. Затем вышли две книги, уже полностью пародийные. Эта тенденция была вполне закономерна и объяснима. Склонность к шутке, иронии, сатире просматривалась у Симонова уже и в непародийных стихах. Читая их, невозможно не ощутить весёлый, добродушный настрой автора. Даже грустный мотив, драматическая сценка поворачивались у него оптимистической или забавной стороной. Такой позитивный заряд сообщал его пародиям не наступательный, не атакующий, а доброжелательный стиль. С самого начала Симонов понимал пародирование как дружеский отзыв на прочитанное. Он не задавался целью сугубо критической оценки или литературоведческого анализа (способных засушить пародии); подшучивание не только ощущается, но и декларируется автором:

Пишу совсем беззлобно вроде я,
Пишу, а сам душой скорблю…
Не обижайтесь, – я пародии
Пишу на тех, кого люблю.

Уж, казалось бы, литературная перепалка, завязавшаяся между лидерами нижегородской пародии – Симоновым и Захаровым, – могла бы привести к обострению отношений, к обидным наскокам, к ехидным обвинениям, к язвительному переходу на личности. Но сатирический диалог (почти по десятку пародий с той и другой стороны) не перешёл грань, за которой могли быть и задетое самолюбие, и желание кровожадной расплаты. Не обошлось, конечно, без острых уколов (какая пародия может обойтись без них?), но в полемике царили юмор и чувство товарищества.

Сегодня не так уж много поэтов, уделяющих внимание пародии. Мало тех, кто постоянно настроен на пародийную волну. Пародируют нынче по поводу, от случая к случаю. Может, это и неплохо: ведь по заказу вымучить пародию не так-то просто. Но как раз случайные пародисты и доминируют в литературной сатире. Они могут придраться к чему угодно, и каждая из строчек стихотворения может стать для них поводом к пародии. Им всё равно на кого писать: за строчками они могут не видеть поэта и не знать ничего ни о нём, ни о его творчестве.

Симонов не из их числа. Конечно, случается, что и он опирается на отдельный огрех (куда без этого!), но он не ставит это во главу угла. В его пародиях центром внимания является сам автор, его темы, его способ подачи материала. Поэтому в них, как правило, конкретный сюжет, реальное развитие действия с чётко выписанным финалом, иногда с авторским резюме пародиста. Такой подход делает пародию живой и объёмной. Симпатию читателя вызывает и незаумное изложение сути пародии, сделанное с разговорной интонацией, не исключающей словечек обиходных и просторечивых («хоть тресни», «чеши в затылке», «шаляй-валяй», «фон-барон» и проч.). Словечки эти употребляются к месту, не выпячиваются и работают с полной отдачей на мысль

автора. Впрочем, не только просторечия могут вплетаться в ткань пародии: так же естественно используется масса терминов и понятий не из элементарного лексикона («хиромантия», «энтомология», «экзистенция» и проч.).

В словесном выборе Симонов свободен и не стеснён рамками каких-то предубеждений, канонов, традиций. У него много истинно своих находок, решений, основанных на хорошем знании литературы и русского языка, фольклора. Известно, например, какие тупиковые затруднения испытывают обычно пародисты, придумывая заголовки к своим книгам или отдельным разделам (у большинства всё вертится вокруг Пегаса и Парнаса). У Симонова это получается оригинально и естественно: «Поэтическая кастрюля», «Пятый угол», «Привидения стихов», «Шабаш», «Смешно сказать»… Да и отдельные пародии названы так, что надолго остаются в памяти: «Эстет с кастетом», «Эра НТРа», «Счастье из лохани», «По стихи», «Волосы дыбом»…

В отличие, например, от Александра Иванова, выступавшего исключительно как пародист (сочинял ещё эпиграммы), Симонов пишет и публикует стихи. Недоброжелателям Иванова не за что было зацепиться в желании отомстить пародисту – отсутствовали его оригинальные произведения. Симонов открыт для критики: вот его стихи, вот его пародии. Можно с полным основанием писать на него «шаржи». (Что, впрочем, и делается: известно около 30 пародий на него разных авторов, плюс ещё пяток эпиграмм.) Но, учитывая личность и творчество потенциальной жертвы, никто из нападавших не сказал о нём грубого или резкого слова.

По сравнению с другими поэтами у Симонова свой взгляд на творчество: он не делает из него культа. В его понимании, написание стихов – не священнодействие и не некое шаманство, а упорная работа. Как истинный пародист, он может насмешливо снизить пафосный градус:

…я сижу под развесистой клюквой
и для вас небылицы строчу…

Но было бы неверно воспринимать эти его шутейные откровения прямолинейно. Да, он писал:

Рифма яркая поманит –
Я тотчас за ней в погоню.
Я немало графоманил
И не меньше эпигонил…

Но эти признания – не о его настоящей работе, а о периоде поиска своего пути. А он у него был незаёмный, не выверенный заранее, не просчитанный, а спонтанный, импровизационный. Может быть, поэтому ему небезразличны пути, какими люди приходят в поэзию. Но как у пародиста у него на это взгляд юмористический.

Из пародии на Е. Митасова:

…Когда ж стихи писать я сел,
Всё вдруг в семье переменилось:
Отец кнутом меня огрел,
А мама в обморок свалилась.

Из пародии на В. Фёдорова:

Мне, писателю, всё по теме,
Всё поэту как дважды два:
Запоэчиваю поэмы,
Засловачиваю слова…

Из пародии на Е. Манделя:

…стихами куролесю
приняв серьёзный вид
нет вдохновенья здеся
и тама не фартит…

Пародийная фантазия Симонова свободна и неограниченна. Например, в пародии на В. Кулагина рифму у незадачливого поэта он сравнивает с норовистым конём, бодливой козой, плохо доящейся коровой. В итоге:

Что делать мне с нею, плутовкою…
Но я ведь и сам не прост.
И строчку за строчкой ловко я
Тяну, как кота за хвост.

Симонов безошибочно улавливает в стихах банальности, поэтические откровения на пустом месте и откликается на них смешно и остроумно. Любому поэту должно становиться неуютно от ощущения не столько от собственной промашки, сколько от того, что она понята пародистом и предана огласке. Например, строки С. Куняева «Ещё вчера была зима, и вот уже весна…» спародированы Симоновым так, что могут послужить для многих предупреждением от многозначительного пустословия:

Как дней несётся череда,
Как пролетает век, –
Ещё вчера была среда,
И вот уже четверг.
Не жди от осени добра,
И от зимы не жди.
Ещё вчера была жара, –
И вот уже дожди…

Эпигонство и примитивное заимствование в стихах мгновенно фиксируются Симоновым. Он улавливает скрытые заимствования в творениях своих подопечных (к примеру – пародия «Встреча» на Е. Трофимова), может расшифровать неоригинальные перепевы того, что было создано уже давненько. Парафразы из классиков в стихах Иосифа Бродского вызывают насмешливую реакцию пародиста:

Мчатся тучи, вьются тучи,
Кони чуткие храпят.
Данте, Гёте, Пушкин, Тютчев
По пятам за Бродским мчат…

…Быстро мчатся, рой за роем
Прибывает эта рать…
Мчат поэты и герои
Уши Бродскому надрать.

Обращает внимание Симонов на абсурд, маскирующийся под поэтические фантазии или озарения. На контрасте обыденного и общепринятого с тем, что заявлено в стихах, нередко строятся его пародии («Как никто» на В. Ковду, «Метаморфоза» на Е. Евтушенко), вызывая комический эффект несоответствия надуманного и реального. Поражает неожиданностью та «тропинка», что прокладывается от стихов поэтов к создаваемым пародиям. Почти всегда она нестандартна и увлекательна. За простотой её восприятия чувствуется, что пишутся пародии не поверхностно, не с лёту, что за ними порой стоит немалый труд. Если отвлечься от мгновенного ощущения импровизационной лёгкости пародий и повнимательней вникнуть в их внутреннюю суть, можно без труда обнаружить в них множество сложных компонентов – тут и скрытые цитаты, и ассоциативные намёки, и перекличка мнений, и много ещё чего, открывающееся далеко не сразу.

Есть пародисты, которые от точки до точки «шьют» пародию «из материала заказчика», как бы полностью растворяясь в нём. Симонов не принадлежит к их числу. Несомненно, что отталкивается он от написанного поэтом, но далее уже идёт своим путём: разрабатывает сюжет, поведение действующих лиц, финальный поворот. Симонову есть что сказать читателю: у него обширные знания из различных областей теории и практики, за словом в карман он не лезет. У него случаются сверхточные пародийные попадания, сконцентрированные буквально в одной-двух строчках. Они проистекают не из описок и оговорок, а из личной и поэтической биографии пародируемого. Например, надо знать об эпатажных устремлениях Андрея Вознесенского, об этапах его творчества, чтобы в одной строке вместить и его стихотворную и человеческую популярность: «Я в трусы на рассвете оденусь…» Собственно говоря, одну эту фразу можно считать развёрнутой пародией, к ней можно уже ничего не добавлять.

Пародия настоящего мастера от пародии случайного автора или графомана отличается непредсказуемостью развития сюжета, неожиданностью вывода, таящегося в самом конце. Читатель вряд ли способен предположить, чем закончатся многие пародии Симонова или его сатирические стихи. Завершающая (порой парадоксальная) мысль таится едва ли не в последней строчке. Ударные концовки – одна из самых ярких примет настоящей пародии; любой пародист просто обязан владеть этим приёмом, если хочет, чтобы пародия выглядела энергичной и свежей, чтобы обращала на себя внимание читателя, а тем более – слушателя. Симонов умело пользуется неожиданным завершением пародии. Оно у него не натужное, не вымученное; он старается найти непредугадываемый поворот, но делает это, в отличие, например, от издевательской манеры А. Иванова, на доброй юмористической основе.

Пародия не должна быть объёмной, многословной, утомляющей читателя, усыпляющей его внимание. Симонов любит (и в стихах и в пародиях) концентрированное выражение мысли и чувства, у него нет лишних слов, он не растекается мыслью по древу. Заметна его любовь к короткой, легко произносимой, накрепко зарифмованной фразе. В пародии на Виктора Бокова сразу же ощущается чёткое присутствие двух авторов – и Бокова, и Симонова:

…Страсть и я имею
К вилам и лопате,
И летать умею
С печи на полати.

Однако любовь к укороченной фразе иногда играет злую шутку: порой, следуя за нею, пародист не вписывается в предложенную в эпиграфе (цитате из пародируемого произведения) авторскую стилистику. В этом случае пародия или трансформируется в реплику по поводу написанного (как в пародии «Похищенный» на И. Ляпина), или просто не удаётся (как в пародии «Сизая тоска» на Ю. Мориц).

Реплика в пародии, конечно, имеет полное право на существование. Порой поэты составляют такие стихи, что серьёзно их пародировать просто невозможно. Заслуживают они всего-навсего саркастической усмешки. Этим довольно широко пользуется Симонов (на В. Мощанского, В. Фирсова, С. Леонтьеву, Е. Евтушенко). Его реплики динамичны, конкретны, ехидны. Некоторые из них опираются на авторские строки, другие просто содержат мнение пародиста. Одни из них могут быть лаконичными (короче эпиграфов), другие – развёрнутыми и продолжительными (последние – например, на Новеллу Матвееву – от этого только проигрывают).

Размытая грань между репликой и пародией может привести к стилистическому диссонансу пародии и эпиграфа. Это нарушение пародийных канонов не всегда воспринимается со знаком минус. Взять пародию «Метаморфоза» на Евгения Евтушенко. В эпиграфе заявлен отрывок из стихотворения «Я хотел бы…», а пародия выполнена в стилистике стихотворения «А снег повалится, повалится…». У них и ритм разный и настроение, но поскольку оба принадлежат одному автору, то и разнобой оказывается вполне уместен. Есть, однако, и иные примеры, когда разностильность вызывает недоумение (на В. Важдаева, А. Гринеса и др.).

Пародийная практика Симонова распространяется на всевозможные виды поэзии – эпиграммы, баллады, сонеты, сказки, песни, рубаи… Этот универсализм происходит не только от следования за структурой первоисточников, которые приходиться пересмеивать, но и от непоказной начитанности пародиста. Симонов внимательный читатель: в стихах поэтов зачастую видит то, что не видят другие. В разных стихотворениях он подмечает сходные мотивы, перекликающиеся мысли и образы, общие ошибки и неточности. Так появляются пародии с общим эпиграфом из строк нескольких поэтов. Переосмысливая их, пародист создаёт единый закольцованный текст с двойным и тройным эффектом: обнаруживает погрешность индивидуальную и прогнозирует за ней погрешность тенденциозную. Такие «многофигурные» пародии могут оставаться простыми шутками («Два медведя», «Притоки»), а могут задевать «тонкие» лирические струны невзыскательных поэтов и поэтесс («Шабаш», «Три пугала»).

Благодаря имитационным способностям Симонов легко повторяет своеобразный говор поэтов, утрирует их оговорки, неверные ударения, грамматические оплошности, подсмеивается над косноязычием, экзотическими сравнениями, эпатажными выражениями. Может так

«прицепиться» к поэтическому вывиху, что сразу станет ясно, что лучше бы автор его не совершал. Нарочито не дописал Ю. Балинов слово в строчке «Разбился о родную зе…» и получил от Симонова по полной программе:

…В ум не лезет ничего,
Месяц светит на тропу.
Я чешу рукою го…
А она, наверно, пу…

Имитационный приём достаточно заразителен. Когда сатирик ощущает в себе способность похоже воспроизводить чужой текст со всеми его характерными особенностями, его начинает тянуть к пародиям цикловым. В них центральный сюжет отходит на второй план и становится как бы фоном, на котором разворачиваются варианты его интерпретации разными известными авторами. Тут уже отпадает потребность в эпиграфах, а от пародиста требуется воссоздание в предложенных сюжетных рамках узнаваемого почерка каждого из персонажей цикла. Чтобы создать интересный рассказ на какую-то (сплошь и рядом случайную) тему от лица разных авторов, надо знать, как и что они писали, чем стали известны и каково их место в поэзии.

К созданию цикловых пародий сатирик, как правило, подходит уже набравшись пародийного опыта, приобретя навыки «вещания» иными голосами. «Аранжировка» различных тем неплохо удаётся Симонову. Для него не составляет особого труда говорить от имени отечественных и зарубежных поэтов (иногда не самых знаменитых и популярных). Он хорошо ориентируется в хронологических и географических литературных потоках и похоже воспроизводит стиль пародируемых авторов даже из далёких веков (будь то Гомер, Данте или Хайям).

В выборе тем цикловых пародий Симонов следует в русле устоявшихся традиций. Он пишет о Колобке, Репке, Теремке, Сереньком козлике, Попе и его собаке – о сюжетах, уже использованных десятками пародистов. Но персонажей для пародирования он выбирает своих и заставляет их вести себя по-своему. У него, например, поэты оправдывают попа, который вовсе не убивал собаку, а репку, оказывается, и тянуть-то некому, а колобок пекла вовсе и не бабка, а муза некой поэтессы… В цикловых пародиях Симонов не столько копирует известных поэтов, сколько вступает с ними в своеобразное соревнование. Он не только разрабатывает известные сюжеты, но и выдумывает свои. И тут ему не откажешь в выборе острых, животрепещущих проблем: «Классика и трезвость», «Финты и выкрутасы болельщиков с Парнаса»… В последнем, кстати, можно познакомиться с мудрыми мыслями, высказанными от имени персонажей нестандартных – например Марциала.

В работе Симонова заметны многие достижения, но не обходится и без недостатков. Неудачи случаются, когда пародист цепляется к какой-то детали и пытается по максимуму выжать из неё и сюжет и юмористическую окраску. Пародия становится тавтологичной, унылой, не трогает читателя («Левая пародия» на Н. Сычаева, уже упомянутая «Сизая тоска» на Ю. Мориц). Такое пародирование приводит к перебору однотипных слов, не дающих пищи ни уму ни сердцу, как это, например, случилось в пародии на В. Половинкина:

…Отбросив сладких снов оковы,
Чуть свет я вышел из избы
И долго в лесе пустяковом
Искал никчемные грибы.
Я их искал, судите сами,
Как ищут рифмы для стихов –
Под ерундовыми кустами,
Под зарослями пустяков.

Такие пародии вроде бы призваны демонстрировать оригинальные и остроумные находки, но в конечном итоге оборачиваются неловкими выдумками («Вундеркинд» на И. Чурдалёва).

Пожалуй, можно отметить чрезмерное увлечение Симонова эпиграфами. Причём зачастую они состоят не из логически завершённых фраз, а из отдельных строчек, обрывков, за которыми нельзя распознать автора и понять его мысль. Такие эпиграфы мало что говорят читателю, но призваны как бы подтвердить правоту пародиста в выборе темы: это не я выдумал, это я опирался на сказанное поэтом. Наверно, пародист должен больше доверять читателю, он и без особенных подсказок сможет понять, откуда ноги растут. Тем более что Симонов вполне доказал, что и без детализированного эпиграфа может писать и весело, и интересно: масса пародий из разных циклов созданы им без предварительного цитирования, и созданы хорошо.

Известен факт: пародия, написанная на слабые стихи (какой бы она ни была), таит в своей глубине такую же слабость. Желательно избегать пародий на стихи графоманов; считается, что не каждый пишущий достоин пародии, её ещё надо заслужить. Пародии на никому неизвестных авторов воспринимаются читателями без особого интереса, как факт поэтического междусобойчика. Желательно и сатирический разговор вести на профессиональном уровне.

У пародии за историю её существования случались разные периоды – и популярности, и забвения. Но всегда она была интересна людям, небезразличным к литературе. Пародии Симонова сегодня востребованы, его имя известно, на его выступления с интересом собираются люди, его работа просто необходима авторам, чтобы со стороны взглянуть на себя и своё творчество.

Сейчас в сатире Симонов не только лидер, но почти уже классик. Неплохо было бы, чтобы на фоне своего успеха он стремился к расширению творческих горизонтов. Он мог бы более пристально присматриваться к работе широко известных авторов и одаривать их своими пародийными комментариями – у него это хорошо получается. Может быть, ему стоило бы освоить популярный жанр эпиграмм: у него достаточно опыта не только по ироническому отношению к написанному и опубликованному, но и по критическому восприятию создателей нетленных произведений. В любом случае хотелось бы пожелать Симонову успехов в уникальных жанрах литературной сатиры.

Стихи по кругу

Марина КУЛАКОВА

* * *

Мне нравится, что снег ещё идёт.
И время отметает варианты.
По всей земле рассыпаны таланты.
Их никогда никто не соберёт.

Их никогда никто не соберёт,
Не подберёт, не купит, не оценит.
И ничего в их судьбах не изменит
Мерцающий огнями Новый год.

Таланты что – ? – космическая пыль,
Искрение неясного значенья,
Упавшее в полынь
или в ковыль...
Умение – как будто – без ученья...

Откуда? Как? – Неведомо. Привет
Иных миров, былых цивилизаций,
Живой любви неугасимый свет
В полубреду дешёвых декораций.

По всей земле, я говорю – по всей,
А думаю, конечно, о России.
Я здесь живу. Быть может, не впервые.
И потому я
думаю о ней.
Поскольку просто чувствовать её
Становится порою нестерпимо.
Живем ли мы? «Года проходят мимо...»
Иль мы растим – так больно и незримо –
Как вариант – спасение своё?..

Мне нравится, что снег ещё идёт.
И жизнь идёт. Возможны варианты.
Ночной пейзаж – «Россия и таланты» –
Особенно красив

под Новый Год.

Пётр РОДИН

Воскресенское, Нижегородская область

* * *

Солнце лось унёс в рогах,
Спит Ветлуга.
У меня как на руках
Вся округа.
На ладонях блик реки,
Меч осоки,
Метят пальцы тальники
Горьким соком.
И тревожный дальний звук
Мне в ладони,
И упругий свист пичуг
Вечер гонит.
Травы начали цвести
Под горою,
Их бы запах унести
Мне с собою.
Календарь листаю – клён,
Что ж в июле
Ты так в осень-то влюблён,
Не в мою ли?
Лист увял да пожелтел
На припёке.
Всем настанет свой предел,
Выйдут сроки.
Тихо плещется река –
Дни считает.
Дни – мои, свои – века
Отмечает…
У Ветлуги шепотком,
Виновато
Я спросил: «Как ты потом, –
Без меня-то?

Собаке

Первым я сегодня руку,
Сам, Атас, тебе подам.
Предстоящую разлуку
Мы разделим пополам.
Смотришь ты по-человечьи,
На зрачок плывёт слеза.
Сам я думаю о вечном,
Глядя в карие глаза.
Кровь не греет нас с тобою.
Старый ты, седой и я.
Помотало, друг, судьбою
По дорогам бытия.

Не грусти, что тают силы,
На судьбу нам грех ворчать.
Ни к чему, дружище милый,
Нам сердца ожесточать.
Было всё: любовь и драки,
И знамёна и кресты,
Друг мой, преданней собаки,
Как сейчас, быть может, – ты.

Валерий СКОБЛО
Санкт-Петербург

* * *

Отодвигает в угол, сбрасывает с доски
Чья-то рука наши нехитрые планы...
Но ведь и голос чей-то: «Не помирай с тоски, –
Шепчет, – новые строй Монбланы».

Просто уж и не знаю, в чем здесь... какой урок,
Можно извлечь, вылезая из-под обломков
Собственной жизни... Уставившись в потолок,
Крохи надежды как сохранить для потомков?

Если потерпишь, слезы втекут назад,
Высохнут быстро, как на припеке лужи.
Голос утешит: «Чего тебе киснуть, брат?
Будет ведь хуже... Ты уж поверь мне – хуже.»

Если отвлечься... Промельк какой-то, блик...
Словно от крыльев чьих-то в воздухе дуновенье.
Прежде чем рухнуть, жизнь вдруг сверкнет на миг,
Снова наполнится смыслом... Пусть на одно мгновенье.

Смешной стишок

Я – жалкая, подлая тварь.
Молчу, но я знаю об этом.
Такой вот премудрый пескарь –
Я в теме... владею предметом.

Я мерзок бываю порой,
Труслив, слаб и телом, и духом...
– Закрой эту тему... закрой, –
Твердит голосок мне над ухом.

Но издавна образ возник...
Что в местности некой гористой
Есть город... и в нем мой двойник
С душою прекрасной и чистой.

Там стены и башенный мост,
За стенами замки и шпили,
И стража вступает на пост,
Чужие чтоб там не ходили.

Как грустен прекрасный двойник...
Победа ему – не победа.
И мне бы к нему хоть на миг,
Чтоб важное что-то поведал.

Печален ли он от того,
Что знает, что есть я такое? –
Не ведаю... Облик его
На миг не дает мне покоя.

И как-то тянусь я к нему,
Мне знак подающему с башен.
...Мне верится, я потому
Чуть менее жалок и страшен.

* * *

В толстой «Книге жалоб и замечаний»
Не оставил автографа – я не вру.
А ведь мог бы – и про холодный чайник,
И про грубую старшую медсестру.

Предложений нет у меня к Минздраву,
К мирозданию в целом претензий нет.
Да имел бы их, по какому праву
Положительный мог ожидать ответ?

Михаил СВЕТЛАНИН
Екатеринбург

* * *

Уступая разрухе, в дали колоннад
И вождей с поржавевшими спинами,
По окраине южной лачужки стоят
Переулочками тополиными,
Мокнет осень богатая в дни октября
Разоренная позже. Овал фонаря,
Зарешеченный ржавчиной, этот
Охранительный ангел ночной мошкары
Льет во тьму теплый свет от
Смертной стужи промозглой октябрьской поры,
Просветляя извечных здесь луж зеркала
Тротуаров худых, тая в складках стекла.
Днем погаснет. Светила скупого венца
Не боясь, облака без пощады

Соберутся кропить прошлых лет образца
Рыжеватые кровли, фасады
И плащи, и помятые шляпы из фетра
На прохожих седых в переулочках ретро.
Обветшалый, затерянный, глохнущий мир.
Во дворах возле самого леса
Сторож верный хранит отсыревший эфир –
Тишина, благодати завеса.
День. В объятьях багряной своей красоты
Спеет в гроздьях рябина. Так, кажется, ты
Слышишь ясно сквозь осени морось и хлад,
Оставляя ступени разбитых порталов,
Старомодных духов разлитой аромат
В недрах этих пустых, постаревших кварталов,
Или, кажется, детство, сняв стеклышки с глаз,
В городах сиротеть все не бросило нас.

Элегия

Деревья старых парков городских,
С годами лучше понимаешь их,
Хотя б от части.
Их, окружённых сорною травой,
Забытых всеми (может быть и мной)
Во дни ненастья.
А статуи тех парков, средь их бед
Печать хранящие упрямо столько лет
Античных вкусов.
Ты поневоле им рукой махнёшь,
Когда усталый или пьян бредёшь
В избытке чувств.
И как-нибудь, когда не будешь злой,
Когда, вдохнувши пыли золотой
С листов осенних,
Вдруг остановишься и встанешь в полный рост,
Тебе покажется, что ты велик и прост
В своём забвенье,
Как этот парк. Ты так же одичал,
Ты позабыл историю начал
Своих тропинок,
И над тобой лишь синий небосклон
Один, да звёзд сиянье… Так и он
Глядит с картинок
Художника, чья акварель одна,
Чья кисть способны оправдать сполна
Дерев невзрачность,
Глядит, насквозь пронизан синевой,
Храня лучам, для их игры живой,
Свою прозрачность,
Как ты хранишь тут, в городской глуши
Живую тайну ветреной души…

ВЕНОК БОРИСУ КОРНИЛОВУ

Олег РЯБОВ

* * *

…где моя непонятная родина…
Борис Корнилов

В Семенове с сосулек капало,
А ночью снова холодало:
Зима своей мохнатой лапою
Из леса стужу нагоняла.
С утра затапливались печки,
Дымки над трубами торчали,
И чудилось, что бесконечна
Зима с морозными ночами.

Но вот на мартовское солнышко
Выходит греться кот – он жмурится,
И бирюзой небесный колокол
Накрыл и двор, и нашу улицу.
Когда журчит из-под сугроба
Ручей, захлёбываясь в промоинах,
Зима не кажется суровой
Старухой, а вполне спокойной.

Зима свои права законные
И знает, и умело пользуется –
И если оттепель за окнами,
То это лишь капель и скользко,
А не весна. Пускай сосульки,
Пускай ручей журчит приватно…
В Семенове умрёшь со скуки,
Но это – Родина! Понятно?

Николай СИМОНОВ

Соловей

…Вдруг ударил золотистый вдалеке,
Видно, злой и молодой, и непослушный,
Ей запел на соловьином языке…
Борис Корнилов

Ночь на Керженце. Тихо.
Тьма над лесом густа.
– Чу, – зовёт соловьиху
Соловей из куста.

Засвистал и защёлкал,
Зазвенел, забурлил, –
Над берёзкой, над ёлкой
Чудо-песни разлил.

С залихватскою силой
Трели сыплет с ветвей…
Не смогу, как Корнилов.
Извини, соловей.

Владимир МАХИН

В Семенове

Усталость тихая, вечерняя
Зовёт из гула голосов
В Нижегородскую губернию
И в синь семёновских лесов.

Борис Корнилов.

В тот вечер метелило дерзко.
Застенчива стайка девчат.
В холодной гостинице сельской
Корнилова строки звучат.

Взволнованные «Соловьихой»,
с поэзией породнены,
притихшие школьницы стихо-
творением покорены.

И словом поэта согреты,
где чудо – основа основ,
вдруг встретились с солнечным летом
в семеновской сини лесов...

Анатолий ГРИНЕС

Борису Корнилову

«У меня к тебе дела такого рода».
Остальные меркнут, все до одного –
Знаменитому поэту из народа
Поклониться в день рождения его.

Полной мерой
он хватил добра и лиха.
Инквизиции лютей
партийный сброд.

Но воспетая поэтом соловьиха,
Как и прежде, ростит деток и поет.

И, предчувствием свидания томима,
Ждет ответной трели –
только позови.
И другая, в модных джинсах, Серафима
В ночь уходит, пропадая от любви.

…Монументом он вернулся в град Семенов –
Землякам – земляк
и свой среди своих.
Помнит Русь своих поэтов поименно.
Убиенных помнит дольше, чем живых.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Надежда Преподобная

Владимир Седов

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2.
Тел. (831) 412-16-04
Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru
Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и краткой биографической справкой. Неотредактированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Подписано к печати 04.02.2019.
Выпущено в свет 25.02.2019.
Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Усл.-печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии
АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13